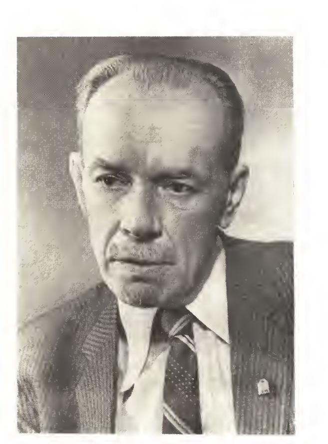
Сергей Баруздин

САМО СОБОЙ

Постановлением Совета Министров РСФСР
писателю Баруздину Сергею Алексеевичу
за книгу «Само собой»
присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького
1983 года.



Сергей Баруздин

САМО СОБОЙ

Повести

Москва
«Советская Россия»
1985

Р2
Б24

Художник **Л. Ф. Шканов**

Б $\frac{4702010200-158}{М-105(03)85}$ инф.—85

САМО СОБОЙ...

Из жизни Алексея Горскова

I

Искусство не только реальность, а и сплав идеала с реальностью. Или: искусство — слияние правды окружающей жизни с идеальным.

Человек видит в искусстве то, что хочет.

Безнравственного искусства быть не может. Оно — зов нравственных и гражданских идей.

Художник — капля воды из моря общества.

Реализм — не низложение, не ниспровержение отставшего, умирающего. Ниспровержение не может быть идеей. Реализм — утверждение.

Идея не телеграфный столб, то есть отредактированная сосна. Идея — сама сосна.

В настоящем искусстве я себя познаю, себя узнаю. Познать себя — одна из самых прекрасных возможностей человеческого бытия.

Искусство старого живо до тех пор, пока оно обновляется новым мышлением.

Абстракцию нельзя ничем оживить.

Человек выражает в искусстве себя помимо своей воли. И в жизни так.

Можно нарисовать луч солнца и не увидеть радугу. Хуже: нарисовать радугу и не увидеть солнца.

Произведение искусства само по себе никакой цены не имеет.

Только когда искусство сталкивается с человеком, который им пользуется, оно приобретает цену. Если человек ничего не может прочесть в искусстве, это — не искусство.

Сотворчество мое воображение — я рисую в чужом «свое».

Из Гоголя:

— Где нашли такие типы?

— В себе.

«Избранное» не для избранных, а для всех. «Полное собрание» — для избранных.

Что значит сказать свое слово в искусстве?

Имею ли я право?

Борисов-Мусатов отличался от Репина не почерком, а мировоззрением. Как и Толстой — от Достоевского.

Начиная борьбу со злом, начни с себя.

В пятнадцать лет он плакал, читая Шиллера, Блока, Пушкина...

В двадцать мечтал о службе в Красной Армии, а попал в Академию художеств.

А потом — год 1940-й и год 1941-й...

Тогда на фронте было не до живописи.

Без биографии нет человека, а художника — тем более.

II

Боже! не слишком ли он умный? Все это и не совсем так.

Это — цитаты из монографии о нем, вроде бы признанном сейчас художнике. А если бы он писал сам?.. Впрочем, так написать он, наверное, не смог бы.

Милая женщина, даже дама, весьма образованная, но уж больно, ему казалось, молодая, часто и помногу говорила с ним, время от времени что-то незаметно записывая в маленький блокнот, и вот появилась монография. Даже Гоголя, Христа и Пилата использовала. Толстого и Достоевского. Шиллера вспомнила, Блока... К слову, почему здесь Борисов-Мусатов рядом с Репиным? Книга вышла к юбилею, да еще шестидесятилетнему. Издана вроде бы неплохо. Репродукции, конечно, отвратительны.

На обложке монографии выходные данные и фамилия — Е. М. Кайдарова. А в конце — Кайдарова Евгения Михайловна.

Ее зовут Евгения Михайловна.

И она снится ему по ночам — умная, легкая, обворожительно простая. Хотя виделись они раз пять-шесть, не больше.

Сейчас 1977 год. Юбилейный. Ему скоро будет шестьдесят, как Октябрю. Много? Мало? Ничего не сказал автору будущей монографии о том, что он — ровесник Октября. Впрочем, она знает. Старый?

Что же с ним происходит?

Ведь, казалось бы, жизнь прожита, а его постоянно тревожит и зовет эта женщина!..

Любовь? В шестьдесят?

А ведь до юбилея дожить надо. И конечно, удрать от него! Некоторые этого не поймут. Но так будет лучше! Персональная выставка — потом! Потом! Потом!

Так и порешили!

С детьми советоваться! Глупо! Катюше — тридцать пять. Сходится, расходится. Косте — двадцать. Ничего не создал и, главное, не стремится. В армии и то не служил...

А когда мать умирала... Дети не лучшим образом суетились вокруг себя...

Телефон бы Евгении Михайловны узнать. Встречались не раз, не записал. Надо позвонить в издательство. И адрес, и телефон должны там быть.

А пожалуй, мысли его об искусстве она изложила правильно.

Не так уж глупо!

И она снится, снится ему.

Со своими задумчивыми глазами, с ясным лицом, с веснушками на коже, со светлыми льняными волосами, со своим запахом...

Она многое поняла в нем.

Интеллигентна.

Не так уж много сейчас интеллигентных людей! Хотя сегодня легко быть интеллигентным. Внешне, по крайней мере. И есть тут противоречие. В его годы, кажется, все было не так.

Вот и опять он ворчит.

И дети его, и даже обаятельная Евгения Михайловна — все под эту старую гребенку!..

А новая?

Где эта новая гребенка?..

Но в Евгении Михайловне не просто интеллигентность. Есть в ней что-то другое, завораживающее.

Он никогда не думал, что так может случиться.

Или с Верой у них было не то?

Нет, с Верой, хотелось думать, все было настоящее, но, наверное, по-другому.

И все-таки чего же им не хватало?

Может, духовной близости?

Она была стойкая. А он?

Когда он слушал теперь так редко исполняемый «Интернационал», плакал. И когда видел по телевизору детей, тоже часто плакал. Так и при Вере было, даже когда она тяжело умирала.

А вот то, что в двадцать мечтал о Красной Армии, Евгения Михайловна правильно написала. Хотя, кажется, не очень поняла того простого, что без биографии вообще нет ничего... Все остальное — верно. За малыми исключениями. Сталинскую премию получил третьей степени, а сейчас в монографии — Государственная без степени. А она все равно — третья степень. Все титулы — прекрасно, но работать надо. А попытаться что-то создать еще.

Об этом Евгения Михайловна написала. С его слов.

Но «Алексей Горсков» — хорошо! Звучит!

И работать, работать!

Надо! Надо! Надо! И не так, как прежде!..

III

Алеша Горсков родился в 1917 году, в Петрограде.

В 1940 году ему было двадцать три.

Да, в пятнадцать он страдал, читая Шиллера. И не только Шиллера, а Пушкина, Блока...

И в двадцать три только казался себе взрослым, а был глуп и восторжен и не по возрасту наивен.

Хотя, впрочем, во всем ли?

Сейчас он накануне шестидесятилетия.

За спиной — война.

За спиной — семья. Вера, ушедшая из жизни.

Впереди — персональная выставка к юбилею, от которого он хочет удрать.

Алексей Михайлович Горсков — действительный член, лауреат, народный художник...

Монография — чепуха, думает он. А вот автор монографии?.. Умница! Найти ее обязательно — и побыстрее! Или он полный дурак? Да еще в таком-то возрасте! После Веры... Пожалуй, он разыщет Евгению Михайловну!.. Это не будет неприлично? Ну, пошло, что ли?

IV

Алеша читал маме стихи:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье...

У мамы были странные отношения с отцом. Какие-то, казалось Алеше, приземленные, бескрылые. Говорят, разные люди быстрее сходятся, и они сошлись, и жизнь прожили, и сына вырастили, но больше ничего не было.

Мама любила стихи, но ничего в них не понимала.

Ей нравилась музыка стиха, и только.

— Это — ты? — спросила она.

Мама плохо запоминала строчки.

— Пушкин, мама,— сказал он.

— Я так и знала. Только думала... Художеств я не понимаю, а стихи люблю. И папа любил. А стихи складные. Считала, о Верочке их написал...

Алеша охотно читал мемуары. Керн, например. Воспоминания о Некрасове. И еще — Жемчужников, Мещерский, Фет. Книга Кондратьева о графе Алексее Константиновиче Толстом. Работа Пыпиной «Любовь в жизни Чернышевского».

Маме очень нравилась Анна Петровна Керн.

Ленинград.

1940 год.

Всюду, даже из окна видно, рекламы. Многие из них сделаны студентами Академии художеств.

Огромные рекламы на все стены старых домов:

Бульонов разных есть мильон,
Но лучший в кубиках бульон.

Это Алеша малевал с товарищами.

На завтрак, на обед, на ужин
Необходим бекон и нужен.
Снабдить питательным беконом
В соленом виде и копченом
Всегда готов и даже рад,
С приветом — мясокомбинат!

Нарисовал он это здорово!

И — деньги получили! Да еще какие — по сотне! Правда, с вычетами чуть меньше, но все равно по сотне.

Женя Болотин писал стихотворные тексты. О Жене вообще сказки рассказывали: будто он и в Москве стихотворные рекламы сочиняет. О джеме, о бульонных кубиках, о чае, шампанском, о крабах, об икре.

Мама ничего не знала об Алешиной «левой» работе. Зато

хорошо знала его друзей и товарищей. И Веру, Верочку — полуштатную библиотекаршу из Академии художеств. Маме даже казалось, что она может Алеше «составить партию»...

Мама была очень довольна, что ее единственный сын попал в Академию художеств. В знаменитую Российскую Академию. Туда, на Университетскую набережную, дом 17, где учились когда-то Иванов, Брюллов, Суриков, Репин, Серов, Левицкий, Боровиковский, Кипренский...

Да, он был принят в эту Академию. Там отличные люди и ребята прекрасные. Взять хотя бы Сашку Невзорова и Женьку Болотина. И конечно, Веру, хотя после гибели ее отца не хочется сейчас что-то говорить маме несерьезное о ней.

«Мама! Милая моя Мария Илларионовна! Помолчи!» — вот что бы сказал Алеша, но он не мог этого произнести.

— А Верочка? — спросила мама.

Он промолчал.

— Она тебе нравится?

— Хочу любить,— ответил он, стараясь изобразить устало-демоническую улыбку на лице.

— Что это значит?

— А ничего...

— Может, тебе хватит опыта отца? — крикнула мама, но тут же виновата осеклась.— А он твою Веру, между прочим, любил... И она...

Тут ему было трудно что-то сказать.

— По-моему, у тебя какие-то неуспехи в Академии,— спрашивала мама.

— Почему?

— А откуда эти дикие деньги, которые нам с отцом и не снились? Пятьдесят рублей, сто, наконец? Ты что, подрабатываешь не честно?

— Честно. Не волнуйся!

— Ох, зачем эта проклятая финская война? И ты хочешь по-прежнему в красноармейцы?

Алеша краснел от волнения:

— Мамочка! Война не бессмысленна. А если будет другая, сложнее? Ну, пусть не будет. А вдруг? От Ленинграда мы отодвинули. Западная Украина и Западная Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония. А за меня не волнуйся. У меня с Сашкой Невзоровым и Женей Болотиным — огромный заказ. Для ВСХВ в Москве. Будем жить!

Ему было двадцать три, и он практически бросил Академию, о чем Мария Илларионовна не догадывалась.

Он с детства рисовал. Иногда получалось. Чаще — нет. Когда пришел в Академию, то поначалу просто растерялся. Академия, ее

традиции, ее имена. Преподаватели сверхгениальные! Появились заработки — торговая реклама, акварели в торговом порту, картины, вроде «Каторжный труд лесорубов в царской России», и лозунги, панно, портреты стахановцев к праздникам... Нужно, но зачем же маме об этом говорить? Мама — вечный бухгалтер, покойный отец — хозяйственник. В анкете, поступая в Академию, он писал — «из мещан», отвечая на вопрос: «сословие». Правда, в 1917 году, когда Алеша родился, сословия вроде бы были отменены... Позже, после войны, напишет: «Сын сов. служащих». Еще позже: «Сын служащих». А еще и еще позже ему уже не придется заполнять анкетную графу: «сословие».

Мама — старенькая. Ей больше сорока. Сорок четыре. Отец, погибший на Карельском перешейке, был еще старше — под пятьдесят.

А вот то, что отец поддерживал его в мысли уйти в Красную Армию, Алеша хорошо помнит. Об Академии художеств отец, кроме «поздравляю», не сказал ничего. Радовалась мама. Отец — больше за нее. А сам ушел на финскую войну добровольцем.

Академия дала Алеше безмерно много.

Она научила его главному: писать по всем законам живописи.

Он хорошо теперь знал традиции русского искусства.

Без формы нет искусства, без рисунка нет живописи.

И казалось, понял, как уйти от штудирования античных статуй к работе над непосредственным изучением натуры.

Это шло в Академии еще от Брюллова, который первым из русских художников поставил выше всего натуру.

Копирование оригиналов — рисунков и эстампов, сделанных знаменитыми мастерами прошлого? Срисовывание античных гипсовых голов и статуй? Изучение пропорций идеально сложенных людей?

К двадцати трем годам он все это прошел.

Он даже впитал в себя умение увидеть и передать в рисунке лучшие, идеальные черты физического строения человека.

В «Каторжном труде лесорубов...» — первой своей картине — он попытался что-то выразить в этом плане.

Но тут и был тупик.

Владея техникой живописи, зная правила композиции, умея хорошо передать форму, Горсков не мог, не умел выразить в своих работах того главного, что дает картине жизнь. Ему часто казалось, что не хватает какого-то основного, последнего, и всего лишь одного-единственного мазка, который вдохнет жизнь в его картину.

Он отчаянно и смятенно метался, то набрасываясь на книги по искусству, то вдруг, запершись в своей комнате, которая одновременно служила ему и мастерской, начинал лихорадочно и беспорядочно писать... Потом неожиданно отключался от всего

этого и, словио терзаиий ие было, становился покорио смирным, на удивление всем ласковым и покладистым, и все свое время лихо рисовал плакаты, пропагаидирующие иовейшие достижеиия современиой пищевой промышлениости или бытового обслуживаиия...

Занятия в Академии превращались в бессмыслицу, в повтореиие пройденных азов, и что толку, что его «Каторжный труд лесорубов...» даже купили?

V

С Верой они познакомились случайно. Во время учебной тревоги. Были носилки, и был ои. Его уложили иа эти носилки. На Петроградской стороие.

На улице Лахтинской. На захудалой какой-то улочке попался! Он возмущался.

А оиа, худенькая дуриушка, командовала. Эксперимент закончился благополучио. При его-то робости!

Ои увлекся Верой, как мальчишка, с первого взгляда. Первая девушка, с которой ои познакомился всерьез. Первая жеищина, которую узиал.

Тогда они долго бродили по городу.

Вышли к Неве.

И даже поцеловались на иабережной. Второй раз — на улице Воинова, около Дома писателей.

Потом была еще встреча. У «Европейской», а точнее — у Русского музея.

Кажется, оиа назначила, а может, и ои. Сейчас не помиит...

Ои привез ее домой. На Марата.

Ои любил свою улицу, улицу Марата, тихо жившую своей тайпой жизиью недалеко от шумного парадного проспекта 25-го Октября, бывшего Невского. Любил свой темный большой дом с его гулкими большими подъездами и широкими мраморпыми лестницами. Совсем рядом с домом — красивая церковь девятнадцатого века, выстроеиная по проекту архитектора Мельпикова и недавно превращенная в Музей Арктики. Недалеко была Пушкинская улица, уютиая и какая-то домашияя, с малоизвестным памятником Пушкиιу. Ои наизусть знал все надписи иа пем. «Александръ Сергеевичъ Пушкиибъ» — вязью. Даты рождения и смерти. Скульптор Алексаидр Опекушии. Отлито на заводе А. Мараи в 1884 году. И строки из «Памятиика» и «Медиого всадника». И «воздвигиутъ Стъ. Петербургскимъ Общественимъ Управлениемъ».

Мама, Мария Илларионовна, и баб-Маня, мать отца, приняли их хорошо.

Суетились как могли и не знали, что с Верой делать: где посадить, чем угостить...

Вера рассказывала, что работает в Ленсовете машинисткой (курсы окончила), а по совместительству — библиотекарем (подменным) в Российской Академии художеств, куда он собирается поступать. Мама, две младших сестры и совсем маленький брат... Только в Ленсовет далеко ездить.

Баб-Маня поражалась:

— Неужто так?

Мама, Мария Илларионовна, говорила:

— Вы, Верочка,— прелесть!

Это было в тридцать седьмом. Они встречались и в тридцать восьмом, и в тридцать девятом. Стали близки, но о свадьбе разговора не было.

Отец молчал, мама курила.

Алеша уже учился в Академии и видел Веру ежедневно. Вечером дожидался ее после работы. Приходил специально, поскольку лекции часто заканчивались раньше.

А потом — финская.

Город, привыкший к учебным тревогам, стал рядом с войной. Раненые. Маскировочные шторы. Нет очередей, но в магазинах продукты выдаются по норме: в одни руки — 500 граммов масла, 1 килограмм хлеба, крупы — по 1 килограмму, сахар — 1 килограмм. Патрули. А там, на «линии Маннергейма»,— отец...

Это — рядом: слышны выстрелы, взрывы. По ночам особенно хорошо слышны.

У Веры сестренка болела, а потом и у младшего брата — свинка... Ленсовет бросила, поскольку в Академии теперь постоянная работа. Интереснее.

Алеша проводил отца в армию. Вера обиделась, что он не сказал ей об этом.

— Как же так?

— Не знаю...

— Ты обо мне забыл?

— Не знаю...

Уход отца отодвинул в сторону все, в том числе и Веру. Три года Академии и первые сомнения угнетали его, и он не мог ни с кем поделиться ими. Ни с мамой, ни с баб-Маней, ни тем более с Верой. Или эта война перевернула в нем все? Он не видел Веру с неделю, и вот они словно чужие.

— Не знаю,— сказал он.

Да что у него с Верой? Кроме встреч, поцелуев, торопливой близости?

— Почему так?

— Забыл?

А сейчас ему как-то чудно и безразлично, что он вновь встретил ее.

Странно!

А может, нет?

И он вспомнил последнюю размолвку.

Это было год или полтора назад. Кажется, два. У кинотеатра «Титан», когда они вышли оттуда. Смотрели какой-то отличный фильм с поцелуями, и он завелся.

— Хотела бы быть актрисой, как Ладынина! — сказала она, выходя из кино.

— Глупо,— пробурчал он, вспоминая Крючкова, Андреева и Алейникова.

— Что — глупо? — спросила она.

— Целоваться, как Ладынина!— выпалил он.— Сегодня со мной, завтра с актером... Кино!

— Ну и что? — сказала она.— Актер должен уметь целоваться. У Ладыниной, наверное, муж есть, а она...

Это почему-то его взорвало.

Вздор.

Но так было.

Теперь все это позади.

И Вера вновь была близкой, желанной, только не хотелось говорить с ней об Академии и о своих сомнениях. Он и сам пока плохо разбирался в своих тревожных мыслях, но чувствовал, что в его теперешней жизни должен произойти какой-то решительный поворот.

Город уже становился другим.

Они ходили по затемненным улицам и более светлым набережным. Кажется, в кино были раза три и сколько-то раз — дома, на Марата. Говорили о пустяках.

...Стоял декабрь тридцать девятого.

Мама не читала газет, а Алеша по утрам схватывал «Ленинградскую правду», быстро пробегал заголовки и информации...

«Красная Армия несет свободу и мир трудящимся Финляндии», «За родину, за Сталина — вперед!», «Каллио объявил состояние войны с Советским Союзом», «Обращение ЦК компартии Финляндии (радиоперехват. Перевод с финского) «К трудовому народу Финляндии», «Кировские дни в Ленинграде и области», «Успехи кировских многостаночников», «Доклад «100 лет работы Главной астрономической обсерватории в Пулкове» сделает профессор В. В. Шаронов», «Злостное нарушение правил светомаскировки», «Семья, родственники и друзья умершего художника Ивана Георгиевича Дроздова благодарят все организации и всех лиц, почтивших память покойного...»

Алеша не знал такого художника.

«14 декабря в 11 часов утра в клубе Невхимзавода (правый берег Невы, дом № 70) начинается слушание дела по обвинению

М. Сытдикова и П. Иванова, совершивших бандитское нападение на младшего командира Ожигова и ранивших красноармейца Шутова».

Почему-то в каждом номере уголовная хроника.

Стихи Твардовского «Кто друг, кто враг»:

Страна озер в огне горит,
Он близок, день свободы.
С народом финским говорит
Правительство народа.

Эти стихи Мария Илларионовна прочитала, они ей очень понравились. А от отца по-прежнему не было известий.

Мария Илларионовна не в меру суетилась, баб-Маня плакала, Вера твердила свое:

— Почему не сказал?

— Не знаю,— одно и то же отвечал Алеша.

В залах и коридорах Академии было удручающе скучно. Гипсы и картины мастеров сердили. Алеша с радостью вырывался после занятий на улицу.

Всюду висели афиши и объявления о докладах к шестидесятилетию Сталина. Газеты печатали статьи членов Политбюро и зарубежные приветствия.

В этот день как раз пришло извещение о гибели отца. Мария Илларионовна не плакала. Натянулась, как тетива, и страшно побледнела. Баб-Мария осела на пол, и Алеша с трудом перенес ее на диван. Прибежала Вера, словно чувствуя беду, и замерла в дверях.

Потом они ходили с ней в военкомат. Первый раз не повезло. Второй и третий походы принесли то же: отец погиб на Карельском перешейке, награжден медалью «За отвагу».

Она в военкомате была более деловита, чем он. Все узнавала, всего добивалась и этим еще больше нравилась Алеше.

Финская кончилась, и свет горел всюду, но уже не было отца.

Вера утешала, а может, и не утешала. Просто делала вид, зная все о его терзаниях, и ничего не говорила.

И домой они, на Марата, зачастили.

Вместе — на чаепития с вареньем.

Вера была умницей. Помогала маме и баб-Мане, и если не старалась быть хозяйкой в доме, то поступала так, что даже ему нравилось.

Окончание войны с Финляндией отметили все вместе.

Мама попыталась пустить чуть радостную слезу.

А потом — навзрыд.

И баб-Маня не на высоте была.

Вера куда-то увела их, вернулись они вроде успокоенные.

— Горе и победа рядом! Правда?

Так, кажется, она сказала.

А под конец выпили за отца, когда мама и бабушка уже окончательно отошли.

— Верочка, а Алеша все приносит и приносит домой какие-то дикие деньги. Он не в шайке, случайно? — спрашивала мама.— Меня это как-то смущает. Особенно после...

— Алеш, а ты, право, не в шайке? — говорила бабушка, баб-Маня.— Откуда такие деньги?

Верочка молчала.

Он смущался. В финскую он подрабатывал, и, пожалуй, не меньше, а больше. Лозунги. Плакаты. Это было нужно и необходимо. Более, чем джем, бульонные кубики, чай, котлеты, шампанское, крабы, икра.

«Помоги раненому!»

«Есть фронтовая обстановка, а дома — светомаскировка!»

«Все силы на помощь отцам и братьям, которые на фронте!»

«Ни одного обмороженного!»

«Болтун — находка для шпиона!»

Плакаты висели в городе. Другие, как говорят, шли на Карельский перешеек.

Дело было очень важное. А деньги — это понятно, хотя, как говорится, не мешали.

В Академии он бывал все реже.

И с друзьями почти не встречался.

Преподаватели журили его. Но и похваливали. Они видели его плакаты на улицах. Лекций он почти не слушал, но курсовые работы сдавал легко.

Он искал себя и не находил.

Руки ждали работы, но не было замыслов, не было идей. Может, жениться?

— Давай распишемся! — предложил он Вере.

— Ты говоришь так, словно стакан газировки предлагаешь выпить,— она обиделась.

— Нет, конечно, не то,— согласился он.

— Я чувствую, тебя что-то мучает,— сказала она.

Ему претило все бесполезное, но этого было мало. Надо было увидеть то, что необходимо.

Но он не видел этого.

В чем же смысл умения или мастерства? Гибель отца потрясла его, но он ее не видел. Это была далеко, на Карельском перешейке...

Его потрясла баб-Маня, сползающая на пол, и мать с неестественной белизной лица, и застывшая в дверях Вера. Он искал что-то тут, а видел ремесленный «Каторжный труд лесорубов...». Ведь, боже, не жил он в царской России, не знал ее!

Нет, что-то должно в его жизни произойти, что-то кардинально измениться, иначе ремесло — одно ремесло.

Он боялся чистого листа бумаги, чистого холста, поверхность которых надо раскрыть живописью.

А у Женьки Болотина в Академии шли дела совсем не худо. Он и рисовал, и стенгазеты со своими стихами выпускал на удивление всем. Саша Невзоров отлично справлялся с «левой» работой и сдавал зачеты и экзамены.

Он же, увы!..

Ждал, что Вера поймет сама и скажет ему об этом. Ведь должна она знать и сказать что-то.

Но она больше ничего не говорила.

Дома Мария Илларионовна спрашивала Веру:

— А как там Алеша у вас в Академии? Не на последнем месте? Я, конечно, не очень понимаю его художеств, но...

Баб-Маня интересовалась:

— Скажи, скажи, Верусик, как он там, наш, не очень плох?

— Да что вы! — восклицала Вера.— Их у нас так много! Все разные! Творческие индивидуальности. Ну, а Алешу, по-моему, очень высоко ценят... Правильно, Алеша?

Он, весь напружинившись, вяло отвечал:

— Не знаю...

И поражался, глядя на Веру.

Любит он ее или нет?

А может, все же любит?

VI

В июле 1940 года они шли с Верой по проспекту 25-го Октября, потом — возле Марсова поля и дальше — Медного всадника.

Алеша молчал.

Город после ночного дождя лежал в ясной солнечной дымке. Серебрился. Зеленели парки и газоны. На газонах застенчиво красовались цветы. Анютины глазки и снова анютины глазки. По Неве спешили речные трамвайчики, плыли буксиры с баржами. За рекой дымили заводские трубы, виднелись башни портовых кранов.

Вера, стараясь быть веселой, явно что-то хандрила.

Он, чудак, чувствовал это и тоже хандрил.

«Не заводись!» — сказал он сам себе и попытался отвлечься:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Город готовился к празднику Дня Военно-Морского Флота. После окончания финской войны это был грандиозный праздник. Уже стояли корабли на Неве. Иллюминация. На кораблях — свет. И на улицах — свет...

— Это кто? — спросила Вера.

— Блок,— сказал он.

— Тот, что «Двенадцать»?

— Это не из «Двенадцати»...

Теперь он, кажется, решил, что ему делать. Да, решил, и решил окончательно. И, вспомнив об этом, он воспрянул духом. На душе сразу стало необыкновенно легко.

Да, послезавтра он пойдет в военкомат. Туда, куда ходил вместе с Верой, чтобы узнать о судьбе отца. И Саша Невзоров, и Женя Болотин пойдут с ним. Они не так запустили Академию, как он... Но повестки тоже получили.

Он ничего не сказал о своих планах Вере.

— Признаюсь, Блока плохо знаю,— произнесла она.

— Ты как моя мама,— улыбнулся он.

— Почему? Мария Илларионовна — чудесная женщина, и бабушка твоя...

— Не об этом я,— сказал Алеша.— В стихах плохо понимает...

— Ты что-то сегодня мудришь?

Нет, все-таки Верочка — чудо!

— А ты знаешь,— сказала она,— я, кажется, очень люблю тебя. У меня был до тебя один человек. Не хитрю, не скрываю. Но ты!.. Глупый ты мой, никем не признанный...

Он был счастлив, а сказал, кажется, чушь:

— Откуда ты взяла?

— А отовсюду: твои картины в порту, лозунги и плакаты. И — Академия. Ты ведь не такой, как все... Вот так. А я — семь классов. Зачем я тебе такая?.. А может быть, именно это и нужно? Для кого художник? Не для себя же!..

А в городе словно был праздник света. И никаких штор на окнах домов. И никаких учебных тревог.

День сегодня был солнечный, ясный. Сквозь ажурные решетки Летнего сада на фоне зелени ярко выделялись скульптуры. На улицах шумели поливальные машины. Звенели трамваи. Бойко гудели автомобили и автобусы. Бесшумно ползали троллейбусы. Провода светились в солнечных лучах. Пахло бензином и почему-то свежей краской.

Он повел Веру к себе домой.

Путь был неблизкий, но для молодых ног — ничего. И они уже освоили его. Ходили только пешком. Несколько раз Алеша проводил Веру мимо своего любимого Пушкина и уже потом в обход, через Кузнечный, на Марата.

— Ты у меня дома не был... Мы с тобой еще сходим! Ладно? Надо же...

Она оборвала разговор.

— Куда, на твою Лахтинскую?

— Почему бы и нет? — сказала она.— Ведь мы там с тобой познакомились — на носилках!..

Обратно он проводил ее до дома, до ее дома — на Лахтинской.

Настал вечер. Вспыхнули огни на улицах и в витринах магазинов. Засветились окна домов, трамваев, автобусов и троллейбусов. На Неве замелькали огоньки кораблей и буксиров. В ярких лучах света зашагали над рекой мосты.

Шли опять по празднично, необычно празднично освещенному Ленинграду. Обнимались, иногда целовались, не обращая внимания на прохожих.

Она счастливо и легко поддавалась его поцелуям — в губы, в лицо, в глаза — и только без конца повторяла:

— Ну, хватит, Алеш, хватит! Милый мой! Серенький мой, хватит! Ладно?!

У дома своего спросила:

— А что у тебя было раньше?

— Что — раньше?

— Ну, до меня. Я ведь, Алеш, о тебе ничего не знаю...

— Дай поцелую!

Он стал совсем смелым.

— Но тут — народ...

— К черту народ! Я хочу — тебя! Всю — такую!..

Вера, кажется, растерялась, и ему понравилось это, что она растерялась. Он знал, чего хочет сейчас, и не знал, что ему нужно от нее вообще. Но он, приняв ее заново, вроде бы ревновал к кому-то... И не потому, что она призналась, что у нее кто-то был до него...

Жениться?

Этого теперь он не мог предложить.

Жениться и уехать, все бросить?

А как бы хотелось!

Страшный эгоист ты, Алеша!

— Алеш! Хватит!

Он вновь ее целовал.

— Подожди, подожди! Ты и на вопрос мой не ответил...

— На какой?

— Ну, подожди же! Я спросила, а что у тебя было раньше...

— Увлечения?

— Не о том я, Алеш...

— А?

— Ты — художник, знаю! В Академии все запустил, знаю. Деньги зарабатываешь такие, что никому не снятся, знаю. И бросишь Академию... Мама твоя волнуется, бабушка... Папа погиб...

Он опять промолчал.

Они чуть не поссорились.

Но положение спасла Вера. Посмотрела на него снисходительно-ласково и припала губами к его щеке.

А он ей так и не сказал про военкомат.

VII

В День Военно-Морского Флота всюду висели плакаты:

«Все — на флот!»

«Молодежь — на флот!»

Это была традиция.

И прежде — в День авиации:

«Все — в авиацию!»

«Молодежь — на самолет!»

День авиации еще не наступил. День Военно-Морского Флота был вчера, а сегодня...

Сегодня — Витебский вокзал.

Утро хмурое. Над городом пелена тумана. Асфальт блестит. Моросит мелкий, занудный дождь. Впрочем, не дождь даже, а какая-то мокрая пыль.

Улицы полупусты. Только на вокзале, как всегда, людно. Все куда-то спешат, торопятся. Другие дремлют на длинных деревянных лавках, будто пришли сюда просто отдохнуть, посидеть. Между ногами суетятся дети. У касс длинные очереди.

Хриплый динамик вздрагивает, что-то объявляют, но что — понять невозможно, и снова сплошной треск и шум.

Под козырьком платформы тоже мокро, но хотя бы нет дождя. Здесь людей больше. Они не бегут, не спешат. Все толкутся у вагонов.

Их команда — восемь человек.

Трое — из Академии. Недоучившиеся студенты. Он, Саша Невзоров и Женя Болотин. Остальные — кандидат каких-то наук, преподаватель текстильного института, инженер, историк и инженер-гидравлик. Все старше. Года на два, на три, но это было заметно.

Длинный, в очках, инженер-гидравлик спросил:

— Отчислили?

— Откуда?

— Из Академии художеств,— пояснил он.

— Откуда вы знаете?! — возмутился Женя Болотин.

— Так, догадываюсь,— сказал инженер-гидравлик.

— А может, мы — добровольцы? — парировал Саша.

Алеша не знал, что сказать.

— Моя фамилия Кривицкий,— представился инженер-гидравлик.— Проля! Не удивляйтесь! Такое дурацкое имя! Спасибо папе с мамой!

— А почему женского рода? — спросил Женька.— Как это? Ты же! Вы, простите, му...

— Революция — женского рода, а мои родители — старой революционной закалки... Так и получилось, что я — Пролетарская революция.

Их провожал какой-то военный из военкомата с медалью «За боевые заслуги». Такая награда в те годы — большая редкость. И посему это обстоятельство придавало проводам особую торжественность. Из восьмерых выбрал почему-то Невзорова и вручил ему какие-то документы. Долго объяснял. Может, потому, что Сашу никто не провожал. Провожающих и тех, кого провожали, военный, казалось, стеснялся.

На вокзал они приехали с мамой загодя. Нашли третий вагон, около него и стояли. Сейчас собралась вся команда — восемь.

Мама сразу же отметила:

— Смотри: на каком уровне вас провожают!..

Дома мама обещала не плакать. Поэтому он и взял ее с собой на вокзал. Иначе вообще не хотел. А тут не мог отказать, хотя бы ради отца.

Баб-Маня вела себя дома совсем плохо.

Всю ночь листала Евангелие, искала что-то, утром перед отходом сказала:

— Нашла, Алешенька, нашла! Вот слушай: «И в свой дом, здоров и невредим, он зашел»! Пусть так будет! Это про тебя!

— Почему про меня? — спросил Алеша.

— Чтоб вернулся...

— Не война же сейчас...

— Война не война, а в солдаты, в красноармейцы...

Баб-Маня долго плакала. И не по нему, как он понял сейчас на вокзале, а по сыну — его отцу, о котором он и помнил, конечно, и горевал после его гибели на Карельском перешейке, но баб-Маня — мать ему. И как она все перенесла!..

В суете вокзала он думал о многом. Но суета есть суета. Рядом мать. Рядом друзья по Академии... Рядом незнакомые члены команды. Кривицкий этот, как его, Проля — любопытен как тип. Их родственники. У Женьки Болотина — трое провожающих.

Третий вагон.

«Ленинград — Киев» — написано.

Значит, они едут на Украину.

Военный из военкомата продолжает что-то говорить Саше Невзорову.

Потом Саша:

— Ребята, чемоданчики занесите в вагон! Есть время еще... До отхода поезда полчаса.

Все занесли чемоданы.

Вагон был старый. Типичный пригородный. В таких в Гатчину ездили, в Петергоф, в Лугу, где когда-то они очень давно жили на даче.

В вагоне сидели штатские веселые люди и пели.

...Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет...

А рядом:

...Моя золотая, моя дорогая,
Моя молодая тайга!

И еще:

...Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Алеша думал, как это все здорово! Они едут в Красную Армию! Счастливые люди!

— Давай сюда! — приглашал Женька Болотин.

— Подожди,— говорил Саша Невзоров.— Ведь нас сейчас не трое, а восемь... Надо, чтоб вместе. Эти полки занимай и эти... Чтоб все вместе. Вот, кстати, и они.

Разместились по соседству. Проля Кривицкий боролся за верхнее место. Он был в очках, и боязнь, что он упадет с третьей, верхней полки, всех смущала, но ему уступили. Преподаватель текстильного института готов был лечь хоть на пол.

Чемоданчики у команды малые, потертые, чахлые.

Историк вроде бы ни на что не претендовал, но свой самый большой чемодан устраивал по-особому.

Преподаватель текстильного института вдруг решил представиться:

— Шумов, Сережа...— И сразу же спросил:— А еще война, ребята, будет? Как вы думаете?..

Они долго задерживались в вагоне, и потому Алеша волновался, как там мама...

Сашка Невзоров подгонял:

— Иди скорей! Мама же ждет!.. А мы тут разберемся...

Мария Илларионовна печально и одиноко ждала его.

Где-то дальше, у вагонов, духовой оркестр из пяти человек играл «Амурские волны». Оркестр был военный, и рядом с ними стояли военные, видимо отъезжающие, как и они, но каких-то высоких чинов.

— Устроился? — спросила мама.

— Да...

— А Верочка пришла,— сказала мама.— Ты ей ничего не сообщил, а она пришла...

— Ты сказала?

— А как же?

Оркестр по соседству продолжал греметь, и суетились рядом Саша, Женя, Проля, другие люди из их комаиды, и скромно стоял рядом воеиный из военкомата с медалью «За боевые заслуги»...

Подошла Вера:

— Здравствуй, Алеш! Счастливого тебе пути!

Оказывается, она пряталась где-то в сторонке.

— Не сказал?

— А зачем?

Сейчас ои, конечно, глупость сморозил.

— Спасибо, что пришла...

— А как я могла иначе?

Рядом стоял военный из военкомата с медалью «За боевые заслуги».

Алеша посмотрел на него еще раз и понял, что он старше их, пожалуй, старше, чем кандидат наук, преподаватель текстильиого института, инженер историк... Ему под тридцать. И медаль, видно, не за финскую. Потускнела. Или из героев-пограничников, или Хасан, Халхин-Гол?..

— А ты мие так и не сказала, почему к себе домой ие пускала.

— Я? Времеии ие было, не сердись, Алеш! У тебя, а ие у меия,— ответила Вера.— Если бы ты знал, сколько раз я хотела с тобой серьезно поговорить. И у тебя спросить.

— О чем, Верочка?

Сейчас он был в таком состояиии, что чувствовал себя виноватым перед всеми — перед баб-Маией, которая цитировала ему на прощание Еваигелие, перед отцом, который погиб, перед матерью, которая провожает его и, слава богу, держится, ие плачет, перед своими товарищами по комаиде, перед этим человеком из военкомата, перед воеиным оркестром, провожающим других, настоящих военных, перед ней, Верой, Верочкой...

Какой же ои идиот!

— А я тебе тоже не ответил на твой вопрос,— сказал он Верочке.— Глупо! Ужасно! Я понял, что спрашивала ты ие о том...

— Алеш!

— Поверь, Верочка, я вовсе... Просто — дурак. Да еще с претеизиями. Вот и все! Рисовал с детства. Все хвалили. В Академию — запросто. А до этого — школа, после которой не зиал, что делать. Кировский завод. Учеиик слесаря. И — порт. Не ругай. За картины мои и плакаты. Это — не заработок, и поверь, все пережито... Хуже, лучше, а пережито... Понимаешь? Не просто.

Рядом стояла мама. Может, она слышала их разговор, а может, и ие слышала, поскольку суета и оркестр...

— Понимаю,— сказала Вера.

Помолчала.

Потом добавила:

— Люблю тебя...

Подошла Мария Илларионовна:

— Простите, вот тут товарищ...

Рядом с ней стоял военный из военкомата с медалью.

— Мы с вами знакомы, Алексей, по военкомату,— сказал он.— И с девушкой вашей... Здравствуйте, к сожалению, не успел поздороваться,— обратился он к Вере.— А мы разыскиваем могилу вашего отца. Я вот уже и Марии Илларионовне говорил. Так что не волнуйтесь. Служите спокойно.

Рядом оказался Женька:

— А война, как вы думаете, будет?

Ох, не к месту.

Мария Илларионовна вздрогнула.

Верочка поддержала ее за локоть.

Они прощались.

Поезд тронулся.

Скрипнули старые, повидавшие жизнь вагоны. Застучали колеса. Паровоз тяжело выпускал пары. И почему-то долго гудел, будто просил освободить ему дорогу. Перрон тронулся вслед вагонам. Провожающие продолжали махать.

Ночью Алеше снился сон.

Играет военный оркестр. «Линия Маннергейма». Надолбы. И не мороз, как было тогда, а жаркое июльское лето. В дотах и дзотах ползают муравьи. И рядом — Выборг, который ликует в честь освобождения. Финны, шюцкоровцы в форме, пленные, жмутся к стенкам красивых разрушенных домов.

Оркестр играет что-то грустное, но потом переходит на «Интернационал»:

Это есть наш последний
И решительный бой...

Отца несут на высоко поднятых руках мимо надолб, разрушенных дотов и дзотов, несут здоровые и раненые красноармейцы, среди них обмороженные в этой войне, несут в красном гробу с еловыми ветками. И на ветках — шишки.

Во главе процессии — красная подушечка.

На ней медаль — «За отвагу».

Подушечку несет военный из военкомата с медалью «За боевые заслуги». Это — не за финскую, а за Хасан или за Халхин-Гол.

Рядом идет отец Веры с орденом Красного Знамени и мама.

Отец Веры говорит Марии Илларионовне:

«Мы найдем могилу вашего мужа и его отца. Так что не волнуйтесь!»

Военный из военкомата чуть оборачивается и подтверждает: «Найдем! И могилу отца вашей девушки найдем. Он погиб под Гродно. Найдем».

Медаль его блестит в лучах июльского солнца. И медаль отца на красной подушечке, которую он несет, тоже блестит. Пожалуй, даже слишком — режет глаза.

А оркестр уже играет «Амурские волны» и «Марш энтузиастов».

И только баб-Маня почему-то говорит:

«И в свой дом, здоров и невредим, он зашел»...

VIII

Спали они плохо.

Поезд сильно трясло.

Какие-то бесконечные остановки. Малые станции и полустанки. Разъезды и переезды.

Старый вагон вздрагивал, скрипел, его заносило то влево, то вправо, дергало то назад, то вперед.

За окном пробегали скошенные поля, леса и перелески, реки и озера, деревеньки, приютившиеся по косогорам и в ложбинах, с облезлыми, полуразрушенными церквами. Мелькали станции, полустанки и разъезды, захламленные, какие-то неприбранные, наводящие тоску. И так от самого Ленинграда. По редким асфальтовым дорогам ползли машины и тракторы, а по грунтовым — телеги и стада.

Перед Витебском их обогнал военный эшелон с танками на платформах и веселыми обветренными танкистами в теплушках. У некоторых на груди белели медали.

«За финскую»,— отметил про себя Алеша.

До Киева ехали сутки с ночью.

Потом — пересадка.

Саша командовал. Поняли главное: у него — предписание. Еще более поняли, что он старший, когда хотелось есть. Пока были свои, домашние запасы, с этой его ролью никто не считался. Когда запасы пошли на убыль, оказалось, что Невзоров — маг и волшебник.

После Киева пересадки стали чаще. Ждали очередного поезда. Часы, а иногда и больше.

Пейзаж пошел повеселее. Больше зелени. Много белых хат и аккуратных домиков. На прудах, озерах и вдоль рек — птицы.

Стада бродили по полям тучные, не то что в России. И машины чаще на дорогах, и люди по-праздничному одетые в национальные костюмы. Промелькнуло несколько свадебных шествий с гармошками, баянами, а одно даже с духовым оркестром.

Саша был на высоте:

— Ребята, жратва обеспечена! Секунду — внимание! Вот!..

И появлялись сало, и хлеб, и сахар, и соленые огурцы, и чуть ржавая селедка — вкусная, на редкость вкусная в дороге.

За кипятком Саша направлял Пролю. Пролетарскую революцию Кривицкого. Отчества его, правда, никто пока не знал. Проля исправно выполнял все по части кипятка. И горячего, как говорили, ибо иногда кипяток становился единственным горячим блюдом.

Острили на тему — гидравлик.

Пролино превосходство было в имени, связанном с революцией, и в родителях его, давших ему такое имя.

В долгом пути с трясками и бесконечными пересадками перезнакомились. Каждому и дело нашлось. О биографиях не говорили. Какие там биографии, когда они — мамины, папины, бабушкины, дедушкины!

Говорили о прежних занятиях. О том, как и где работал и что зарабатывал.

Тут выяснилось, что скромный кандидат каких-то наук Ваня со странной фамилией Дурнусов — самый материально обеспеченный член команды. Он защитил диссертацию, а это, оказывается, что-то дает, и он... В общем, страдает от обеспеченности. Ему стыдно... Ему двадцать восемь...

— Ребята, я старше вас, но...

Оказывается, именно он, этот гениальный человек, принес в вагон две бутылки портвейна. Бутылки давно распили, а инициатива кандидата наук Дурнусова осталась в доброй памяти.

Где-то при очередной пересадке Женька Болотин спросил:

— А на чем вы, простите, погорели?

— Я никогда в жизни не горел,— непонимающе и удивленно признался Дурнусов.

Это было странно. Мы недоучки, пусть и мнящие о себе, а тут новобранец — кандидат наук!

Мы и он!

Он оказался отличным парнем.

Кандидат наук!

По рыбному хозяйству...

И опять поезд и пересадки.

Инженер Слава Холопов оказался с Кировского.

Конечно, он не знал и не может знать его, но ведь Алеша на Кировском работал...

Самой странной личностью оказался историк — Костя Петров.

Шиллер когда-то волновал Алешу, но, когда в поезде он спросил Костю после его «Петершулле» о стихах, тот застеснялся и ничего не мог сказать.

Костя Петров оказался простым парнем. Значит, и среди историков есть свои ребята.

А команда у них — неплохая.

Отличная команда.

И значки «ГТО», «ГСО», а у Женьки Болотина и детский «БГТО» плюс ко взрослым.

У Алеши есть и «Ворошиловский стрелок». У других нет, а у него есть.

Едет команда в составе восьми человек куда-то к месту службы.

Куда?

Никто не знает.

Маму он обнял на вокзале как-то неловко, за спину.

Веру даже не поцеловал как следует.

Не решился.

Военный из военкомата крепко пожал ему руку.

IX

96-я горнострелковая дивизия.

141-й артиллерийский полк.

Алеша даже не слышал такого прежде и не думал, что такое может быть.

«Горнострелковая дивизия»!

Проезжая Львов, они смотрели на этот город как на диковинный.

На перроне мальчишка лет десяти торговал папиросами «Норд».

Саша пытался устыдить его:

— Ты что, мальчик? Учиться надо, а ты...

За мальчишку сразу же вступилась какая-то потертая дама:

— А вы побеспокойтесь,— как вас, товарищ? — чтобы папиросы были в магазине!

— Между прочим, мадам,— выкрутился Сашка,— папиросы «Норд» — советские. Не знаю, чем у вас раньше торговали...

Проехали и город Станислав.

Ощущение заграницы, пусть бывшей, польской, вчерашней,— никуда от него не деться!

Горсков почему-то неотвязно думал о красках. О тех, которых боялся в Академии, да и раньше, наверно... О тех, которые так просто ложились, когда он с ребятами рисовал рекламы.

Но все это — зыбкие воспоминания.

Вчера, позавчера, а точнее — сто лет назад.

А сейчас — 96-я горнострелковая дивизия, 141-й артполк.

В картах они, все восемь из команды, плохо разбирались. Их познания были на школьном уровне — контурные карты, хотя и они когда-то доставались с огромным трудом. Глобусы — не карты, но и их не было.

А тут городок Долина. Видимо, недалеко от Станислава.

Тут — дивизия и полк.

— Можно было приехать и позже, товарищи инженеры, доктора

и академики,— бросил им какой-то военный, который потом оказался начальником клуба.

Их ждали и не ждали. Так можно было понять.

— Вас, академиков, трое? Прошу в клуб! Остальные по особому распоряжению... Возможно, в учебную батарею, раз вы — необученные... Или повыше — в полковую школу. При самом штабе! Всем — обмундироваться! А в клуб к нам заходите!

Долина — маленький, зеленый, уютный и какой-то очень домашний городок. Белые мазанки, немощеные улицы, куры, гуси, небольшой костел или просто часовенка рядом с пустырем. Окна заросли сиренью, акацией. На палисадниках, сделанных из прутьев, сохнут кувшины и крынки. В середине городка — площадь с огромным раскидистым дубом.

Тут же несколько больших кленов с крупными пятипалыми листьями, чуть-чуть уже задетыми приближающейся осенью, а точней, уходящим летом. Под дубом розовый поросенок смешно выискивает желуди.

Их военный городок рядом с Долиной. Зелень здесь вытоптана. И все по-военному. И песочек посыпан между строениями, а у клуба — асфальтированная дорожка.

Строения — казармы, дома начальства с семьями, плацы с препятствиями, склады и орудия под навесами, конюшни. У конюшен нет ни песка, ни дорожек... Один взбитый чернозем.

Они прибыли в Долину первого августа 1940 года.

Было жарко и сухо. Терпко пахло солдатским и лошадиным потом.

Историк Костя Петров, Константин Михайлович, учившийся когда-то в Москве в «Петернаульшуле», все время шумно восхищался лошадьми.

И он, Алеша Горсков, восхищался. Но, признаться, немного побаивался этих лошадей.

Команду в восемь душ из Ленинграда переодели. Всех в одну форму — под ноль! — подстригли.

— Кость, а война с немцами будет? — этот вопрос почему-то чаще всего адресовали Косте.

— Не думаю,— говорил историк.— Там такая компартия! Тельман! А песни? Эйслер! Брехт! Эрнст Буш! И договор, наконец! С Германией! А не с кем-то! Молотов в Берлин ездил. Риббентроп — в Москву...

— О договоре не трепись! — рубил Саша.— Это дипломатия чистой воды. Может, нам выгодно, но все равно... Немцы уж пол-Европы захватили, а ты «не думаю».

...С лошадьми они уже познакомились. Драили и чистили конюшни. Лошади с непривычки брыкались. Может, потому, что они, тогда новобранцы, приехавшие из Ленинграда, еще были в штат-

ском. Своих, старослужащих, лошади совершенно не трогали. А к новичкам относились настороженно.

Алеша, Саша и Женя пробыли в клубе полдня.

Но вдруг их неожиданно попросили оттуда.

Начальник клуба был доволен ими, но ничего не мог поделать, чтобы оставить их здесь.

— Я говорил: учебная батарея! Раз вы необученные... Начальству видней!

Их вернули из клуба в казарму — чистить конюшни, а потом вместе со всеми, такими же штатскими, как и их ленинградская команда, повели в город, в баню.

— Смирно! — крикнул старшина.— Ш-ша-гом арш! — И добавил совсем по-мирному: — Пошли, ребята!

На улицах города люди попадались редко. Но все-таки на них смотрели. Даже из окон. Смотрели со страхом, некоторые с удивлением, а может быть, и с любопытством: ведь они — советские.

Алеша и ленинградцы были одеты как-то еще прилично. Остальные новобранцы (откуда они? Никто пока не знал!) — ужасно. Было ощущение, что, уходя в Красную Армию, они натянули на себя самое худшее...

В Ленинграде Алеша ходил с отцом в Щербаковские бани.

Женька Болотин тоже вспомнил Щербаковские бани:

— Отец там любил пиво попить. И бани, конечно, классные!

Саша Невзоров говорил уже скромнее:

— А я в Щербаковских ни разу не был... Зато был на улице Некрасова в Бассейнах. Там тоже неплохо. Говорят, раньше буржуи мылись.

Все они, конечно, сникли, попав в армию. Но Сашу как-то особенно было жаль. В дороге он главный — со всеми предписаниями и документами. Сам военный из военкомата в Ленинграде так решил. А тут...

— Буржуи и в Сандуновских мылись, и в Центральных в Москве,— азартно продолжал банную тему историк Костя.— Я с отцом туда ходил, когда жил в Москве, но Сандуновские, ясно, лучше, чем Центральные! Там, ну, как в Елисеевском!

Историка Петрова, Костю, Константина Михайловича, тут же в бане быстро разоблачили:

— По части «Петерпаульшуле» ты все придумал. Какая «Петерпаульшуле» после революции?..

— А у меня там отец учился. Правда! — пытался оправдаться Костя.— А я в немецкую группу ходил. А потом в двадцать девятую школу. Она в Старосадском... Как хотите, проверьте!..

Но эта баня — в зарубежном (бывшем зарубежном!) городе Долина — очень интересно.

В бане их остригли. И не только головы. Остригли все. А па-

рикмахер каждый сам себе. Потом они мылись и парились... И свою прежнюю гражданскую одежду уже больше не видели. Ее сложили в мешки с бирками.

Старшина батареи ругался, запихивая в очередной мешок старое барахло.

К одежде ленинградцев он относился спокойнее:

— У вас хоть одежда приличная!

Старшина выделялся по-прежнему, он запарился, да и хлопот у него хоть отбавляй!

Как зовут его, никто не знал, хотя Алешу очень подмывало спросить его, но он не решился.

«Товарищ старшина» и «товарищ старшина» — и так ладно.

Обмундирование старое, стираное-перестираное, ношеное-переношеное. Выданная одежда оказалась не по размеру. А нижнее белье... Оно или лопалось на тебе, или болталось, как на огородном пугале.

Старшина предусмотрительно принес иголки и нитки. Кто умел, тот что-то подшивал.

В казармы возвращались уже в форме. Чисты.

Старшина, кажется, доволен.

— Сорок минут отдыха, а потом — обед,— сказал он негромко, распуская строй перед казармой.

Они завалились на двухэтажные нары и сразу же уснули.

На обед их еле подняли.

После обеда опять сон — «мертвый час».

А после сна — конюшня.

Они драили их как могли.

Но лошади по-прежнему брыкались.

X

А лошади все-таки были прекрасны!

Почему-то ни в детстве, ни потом, в Академии, Алеше никогда не приходилось рисовать лошадей.

Только бронзовых гордых красавцев барона Клодта на Аничковом мосту.

Да мало ли что он раньше не рисовал.

Портреты стахановцев писал, а — Веру? Даже в голову не пришло. А сейчас, в первые дни красноармейской службы, вспомнил, пожалел. Маму не рисовал. Баб-Маню. И главное — отца. А ведь рисовал тогда других. И — аапросто, шутя. Если в присутствии Женьки Болотина, то он и дружеские хохмы в стихах писал.

Домой он еще не собрался написать. А Вере написал — кратко. Сообщил и о лошадях. Совсем как бы между прочим: «У нас тут лошади. И я рад...»

Старослужащих лошади спокойно подпускали к себе. Старослужащие — это те, кто в армии второй год. Ну, а Хохлачева — подавно. Мягкий Хохлачев, который сопровождал их в баню, на самом деле был суров.

В казарме и особенно на конюшне:

— Красноармеец Горсков! Что вы делаете! — И следовали страшные слова: — Два наряда вне очереди!

Наряды сыпались как из рога изобилия, и никому пощады не было.

Чистили лошадей...

У Алеши скребница и щетка. Оя ездовой. Он — «корень» у зарядного ящика. Это вяе конюшни, на занятиях.

А тут две лошади его. Костыль — жеребец, Лира — кобыла. Две лошади. Они его пока еще не принимают. А между ними ядо не только пройти, но и почистить их.

— Заходи! — командует старшиия Хохлачев.

И они заходят. У каждого, «академика» и не «академика», по две лошадиных персоны...

Лошади бьют задами.

— Что вы делаете! — кричал Хохлачев, уж не ему, а, кажется, Косте Петрову, но лошади не пугались его крика. Наоборот, успокаивались и переставали брыкаться...

— Милая, хорошая моя, стань спокойно! И ты, милая, хорошая...— так Алеша разговаривал со своими двумя подопечными.

Чистка каждой — полтора часа. Выскрести, помыть, шерсть привести в порядок.

Стремена чистили толченым кирпичом. Надо растолочь кирпич, а потом им выдраить стремена до блеска.

Иначе Хохлачев забракует.

И тогда снова:

— Два наряда вне очереди!

Поначалу еды хватало. Казалось, даже много. После, уже если и были наряды вне очереди, считалось счастьем попасть яа кухяю...

Они принимали зти наряды как благо.

Верховая езда каждый день.

Первый раз Алеша упал. Ушибся, но обошелся без санчасти. Другие падали хуже.

И каждый депь шагистика яа плацу.

Плац, вытоптанный сотнями солдатских сапог, пылил. Лишь по краям его росла чахлая травка, тоже насквозь пропыленная. У заборов заросли крапивы и кусты малины без ягод. Тоже все в пыли.

И опять конюшни.

Постепенно лошади стали к ним привыкать.

Алешины уже признавали его, когда он сыпал им овес в торбу — одну на двоих.

— Мне начальник клуба говорил, что вы все — художники, академики,— как-то сказал старшина Хохлачев.— А посмотрю на тебя: стараешься. Значит, понимаешь наше красноармейское дело...

Алеша был в тот день дневальным по конюшне.

Вечером он написал письмо маме и баб-Мане. Что-то еще рассказал о новой своей жизни. И второе письмо — Верочке. Тоже короткое. И с намеками, чтобы она ему писала. Но пока писем ни от кого не было. Впрочем, сам виноват: только сейчас сообщает свой адрес...

Прошли летние месяцы. Прошли осенние. Постепенно к армейской службе привыкли. И Костя Петров со своей придуманной «Петерпаульшуле» стал другим...

Освоили коновязь. Костыль и Лира Алешу признали. И Мирон, Взятка, Полуша, Споб признавали тоже. А еще ребята узнали, как даются лошадям имена. По родословной и по алфавиту. Кто мать, кто отец... Оказывается, у лошадей своя система.

Освоили команды, самые страшные:

— На вьюки!

Восемь минут.

Пушка в разборном виде грузится на лошадей.

— На колеса!

Семь минут.

Колеса — ноги. Лошадиные и их, человечьи.

Кажется, слова «колеса-ноги», а может быть, «ноги-колеса» выдумал Слава Холопов или Ваня Дурнусов...

В декабре 1940 года — поход.

Вся 96-я горнострелковая дивизия. Их — 141-й артиллерийский полк.

Боевая тревога.

Первый настоящий поход!

Почти боевой!

Куда, что, зачем? Никто не знает.

Но командиры знают, конечно.

Мороз. Страшный снег.

Места горные, точнее — холмистые.

Дороги никудышные.

Лошади скользят, вязнут в снегу. Зарядный ящик прыгает, тоже скользит, тянет назад...

А он, Алеша,— «корень» у зарядного ящика. Пожалуй, только сейчас он понял, что такое «корень», и слова старшины, бывшие ранее абстрактными, обрели свое реальное содержание...

Тем, кто с пушками, было еще трудней. Они с Женей, Сашей и Костей останавливались, чтобы помочь другим. Лошади выдыхались, а они тянули...

Снег глубокий, до полуметра. Настоящая целина.

Небо в тучах. Леса, припорошенные белым. Возвышенность и овраги, в которых легко утонуть.

Лошади падали, проваливались. Приходилось тащить их на себе.

Марш-бросок, как потом узнали, был в Каменец-Подольск. Триста километров по снегу, по холмам, по непроезжим дорогам. На ночь из двух плащ-палаток делали одну. Костров разводить не разрешали. Согревались как могли. Две бессонных ночи и третья. Потом дождь, и ночью опять холод.

Старшина Хохлачев рычал:

— Лошади набиты! Понимаете? Думайте хотя бы о лошадях! Ведь у набитой лошади шерсть сбивается, потертости, кровь... Пора уж научиться заседлывать. Не мальчики! Война же рядом!

В походе были обмороженные. Истертые до крови ноги.

Но до Каменец-Подольска все же дошли.

Их расчет без особых потерь: трое ездовых с пушкой на лошадях, трое — у зарядного ящика, который тянули Костыль с Лирой, командир, замковый и заряжающий. И шесть лошадей.

В Каменец-Подольске собрали пушку. Стрелять не пришлось.

Командир взвода Дудин похвалил:

— Молодцы, особенно — новички!

Политрук Серов поддержал:

— Ваш расчет справился...

И помкомроты Валеев:

— Толково!

XI

Декабрь.

Январь 1941-го.

Февраль, март и апрель.

Зима выдалась, как весна, мягкая, с легкими морозцами по ночам, с яркими зорями, с голубым солнечным небом днем.

В апреле лопнули почки и нежно засверкала молодая листва. Сквозь сырую черную землю пробилась травка, и пошли звенеть-зеленеть свежие ковры. Птицы прилетели рано, а может, и совсем не улетали никуда. Заголосили, запели, зачирикали, радуясь теплу. Появились аисты. Осели на сараи и конюшни, не обращая внимания на людей, и занялись своим делом — сооружением гнезд.

Закипела работа в полях и на огородах, в садах и прямо на улицах. Люди выравнивали разбитые за зиму дороги, вывозили навоз, перекапывали грядки.

Мальчишки и девчонки бегали в школу уже раздетые.

Приходили письма от мамы и от Веры. И он отвечал на них, хотя писал по-прежнему кратко.

Опять на какое-то время Алешу забрали в клуб. Ему было неловко перед Сашей и Женей, но приказ есть приказ. И конюшни было жаль, и своих лошадей — Костыля и Лиру, к которым привык. И хотя лошадей в конюшне сто двадцать, а дневальных четверо — но все равно, когда он был дневальным, там было лучше...

В клубе пришлось заниматься наглядной агитацией. Одновременно осваивать и шрифты — надо было переписывать уставы, уставы, уставы, в выдержках и подробно.

Начальник клуба с одним кубиком в петлицах, лет под тридцать, опекал Алешу всячески. Фамилия оказалась — Кучкин. Он благоволил Алеше и тем больше смущал его.

— Горсков,— говорил он, почти извиняясь,— а у нас конноспортивные соревнования... Ты знаешь. Что делать? Значки можешь? Я, сам понимаешь, без тебя пропаду... Начальство... Надо же что-то вручить победителям.

Вместе с Кучкиным делали значки для победителей конноспортивных соревнований.

Вроде получилось.

Значки делали из консервных банок, благо жесть была хорошая.

А он, Алеша, тем временем познавал службу. Стал хорошо разбираться в знаках различия: помкомроты Валеев — два кубика в петлицах. Командир батареи — три. Командир дивизиона — шпала...

Дудин — командир расчета, а так — командир взвода — лейтенант. А начальник клуба Кучкин — один кубик.

У них же, рядовых красноармейцев, в петлицах не было ничего, и потому каждый кубик — начальство.

А шпала — высшее!

Конноспортивных соревнований пока не было, хотя значки были сделаны, но к Первому мая в клубе готовился вечер с присутствием гражданского населения, и тут Алеше вместе с Кучкиным тоже пришлось поработать. Дни и ночи. Алеша не успевал не только в казарму к отбою, а иногда и поесть. Ели вместе с Кучкиным наспех, из его командирских харчей.

И еще Первого мая предстоял парад в Каменец-Подольске. И там предстояло снова рисовать плакаты и лозунги для гражданского населения.

Пришел перевод от мамы на тридцать рублей; он получил его на третьи сутки и, чтобы как-то отблагодарить начальника клуба, купил у какого-то гуцула, пусть дорого, поросенка, зажарил его, пригласив всех, кого посчитал нужным пригласить Кучкин, и с его же согласия — Невзорова, Болотина и теперь уже старых друзей — Дурнусова, Шумова, Холопова, Петрова.

Посидели, выпили, а разговор все крутился вокруг наглядной

агитации в клубе к Первому мая и той же самой агитации для гражданских лиц на параде в Каменец-Подольске.

Говорили-говорили, и все было хорошо, как вдруг в клуб ворвался Хохлачев:

— Вы что здесь делаете? Лошади без овса, конюшни не убраны, а вы тут,— он презрительно повел краем рта,— рассиживаетесь... Да еще с вами этот...

Он явно намекал на начальника клуба...

— Вам дорого это обойдется! — истерично выкрикнул прежде ласковый старшина Хохлачев.

И выскочил из клуба.

— Что-то мы не так сделали,— сказал начальник клуба Кучкин.— Или пригласить его надо было заранее!.. Не знаю, не знаю.

Алеша считал себя более виноватым, чем все. Поросенок — его. И откуда у него вдруг такая явилась прыть, чтобы придумать этого поросенка и вообще подвести всех, но Кучкина прежде всего...

На следующий день Алешу отозвали из клуба, и он отсидел пять суток на гауптвахте, на «губе»,— со снятыми обмотками и ремнем. На «губе» сидел еще один красноармеец, неизвестно за что пострадавший, и они говорили почему-то только на одну тему: «Будет война, не будет?..»

Ребята приходили на «губу», но их не пускали. А «губа» была отличная, не хуже обычной службы, только часовой стоял возле. Кормили лучше и больше, чем на воле, а тут, в Красной Армии, все время хотелось есть. Может, отсюда и родился этот проклятый поросенок, купленный на мамин перевод у скаредного гуцула?..

Но бессмысленность и бездеятельность угнетали страшно. Алеша знал, что характер у него — отвратный, говорил себе сто раз: «Не заводись!» — и опять внутренне мучился на этой «губе». Жалел товарищей, которых подвел, жалел Кучкина, жалел лошадей своих — Костыля и Лиру.

Накануне Первого мая Алеша вернулся в казарму.

На улице было жарко. Вот-вот зацветут черемуха и сирень. Из травы лукаво тянули свои головки лютики и одуванчики. Окна домов уже скрылись в листве деревьев и кустарников, по стенам вился плющ.

Скрипели журавли колодцев, гремели цепи ведер, гоготали и крикали на улицах гуси и утки, копошились в пыли куры.

Плохо смазанные телеги везли мешки с семенным зерном и рассаду, и мальчишки-возчики и солидные дядьки лихо замахивались кнутами.

И вот поход в Каменец-Подольск на парад...

Костыль и Лира, его лошади, вели себя прекрасно. И в походе, и на параде прошли отлично.

На вторые сутки вернулись в Долину. В клубе были речи, танцы

2 Заказ 1254

и его наглядная агитация. Только Кучкина не видно. Говорили, что его посадили под домашний арест. А у него семья — жена и дочка двух лет... Никто, Алеша тоже, не знал об этом.

Красноармейцы почти не танцевали. Младшие командиры решались, но робко. Местное население — девочки и девушки — веселились, ждали кавалеров. Не дождавшись их, танцевали друг с другом.

Духовой оркестр играл вальсы. Потом переходил вдруг на современное танго и утесовские, одесские мелодии. И песни из «Веселых ребят» и популярной «Моей любви».

Танцевали, шутили, смеялись, но в разговорах все так или иначе возвращались к одному:

— А как война, будет?

Вернулись в казармы поздно, после отбоя, и, только легли, задремали, дневальный крикнул:

— Подъем! Товарищ командир дивизиона!..

Все вскочили с нар — с первого и второго этажа...

— Тише, дневальный! — сказал командир дивизиона.— Зря вы их разбудили. Мне не всех нужно... Пусть ребята спят. А вот Горсков мне нужен. Болотин, Невзоров... А Кучкин здесь?

— Так точно!

Кучкин стоял за спиной дневального.

— Хорошо,— сказал командир дивизиона.— Я просил вас освободить... А теперь давайте выйдем... Спасибо, дневальный! Пусть ребята отдыхают.

Они вернулись в казарму. Долго не спали. Все обсуждали случившееся.

— А «шпала» — умница! — повторял Женька Болотин.

«Шпала» — командир дивизиона Сухов, так его была фамилия,— явно всем пришелся по душе.

За окнами стояла глубокая ночная тишина. Мерно шелестела листва деревьев, изредка пели какие-то птицы. Небо высветило звездами. Лунный свет просачивался сквозь крону деревьев, блестками падал на крышу казармы, на дорожки и тропинки вокруг. Пахло свежим лесом, травой, прелой прошлогодней листвой, лошадьми, сапожной ваксой...

Назавтра утром, третьего мая 1941 года, по всем подразделениям дивизии, полка, дивизиона, батарей была команда:

— Строиться!

Такие команды повторялись часто. К ним привыкли. А поначалу всякое случалось. И Алеша не раз попадал впросак с обмотками, когда срочно поднимали ночью, и другие ребята тоже. Чаще уже после Алеши — Проля Кривицкий и Сережа Шумов. У них с обмотками не ладилось не только в ночные подъемы, но и по утрам. Были, конечно, наряды вне очереди.

Тут команда «строиться» прозвучала как-то особо.

Кроме своих командиров, перед строем были политрук Серов и командир дивизиона Сухов.

Комбат Егозин сказал:

— С сегодняшнего утра мы — пятая батарея. Четыре орудийных расчета, взвод связи, разведка. Лейтенант Дудин и помкомроты Валеев вам доложат подробности. После обеда отбываем в новое месторасположение. Сна не будет. В пятнадцать тридцать команда: «На вьюки!» Через восемь минут: «На колеса!» Все ясно?

Грузились в эшелон. Сначала — лошадей, следом технику, позже — самих себя. Команды «На вьюки!» и «На колеса!» выполнили. На станции команды последовали уже другие: развьючить, отделить пушки от лошадей...

— Куда едем?

— Война?

В пути узнали: ближе к границе. Кажется, в Черновицы. Бывшая заграница уже не воспринималась так, как в начале службы.

Они и старослужащие наконец-то смешались и стали ровней. Командиры уже не делили их на старых и молодых, а если что-то случалось, то чаще защищали молодых...

Ехали долго. В пути кормили лошадей. Торба овса — на одну лошадь. Раньше торба шла на двоих.

Алешины Костыль и Лира признавали его теперь даже в тряском поезде. Вздрагивали, тянулись мокрыми губами к рукам. Лошади были настороженны, но спокойны. Ни одного приключения.

Местечко, куда они наконец-то приехали, называлось Куты. Где граница, никто не знал, но то, что командир их, 141-го, полка стал комендантом гарнизона, узнали сразу. Другая часть дивизии уехала куда-то в другое место. В Кутах только их полк. И дивизион, конечно.

Маленький городок. Деревянные домики. Реже — мазанки. Крыши — солома. Редко — шифер. Еще реже — железо. Людей почти не видно.

Но зелени здесь еще больше, чем в Долине. Город буквально утопал в листве кленов и грабов, ясеней и дубов, каштанов и невесть откуда выросших здесь берез. Березки были молодые, тонкоствольные, с мелкими, клейкими, блестевшими на солнце листьями.

Куты лежали будто в огромном лесу или парке. Единственная дорога — через городок, а так тропки-тропинки, скрывающиеся меж стволов деревьев и кустарников, среди могучих корней. Корни старых деревьев пробивались то тут, то там и были похожи на каких-то чудовищных змей.

Палисадники домов увиты плющом, за ними сады и огороды.

Солнце заглядывало в окна домов и отражалось десятками зайчиков на стеклах, над колодцами вдруг вспыхивали маленькие

радуги и так же быстро исчезали, когда хозяйки уходили с ведрами по домам.

В середине городка стояла крошечная, почти игрушечная часовенка с католическим крестом, внизу еще сохранилась скульптура Святой Девы, выкрашенная в яркие тона. Христос был тоже аляповато раскрашен и резко дисгармонировал с почерневшим, в трещинах, деревянным крестом.

Запомнилось, как чистили конюшни и сараи — под казармы. Строили нары, уже в три этажа. И коновязи. Спали пока на улице — было тепло. Только под утро накрывались шинелями, хотя на ночь не раздевались.

Да, по сравнению с Долиной...

Там жили как боги!

Но был июнь, хороший месяц, сады еще цвели, все зеленело вокруг, и светило раннее солнце, которое не давало спать по утрам. Ложились поздно, а в пять, шесть уже приходилось вставать. Только на Костю Петрова раннее солнце не подействовало. Спал, как суслик в норе.

Никто уже не вспоминал вчерашних ленинградских «академиков», и наглядную агитацию на территории военного городка делал кто-то другой.

Возились у коновязи. Лошади спокойно привыкали к новому месту, но все же иногда вдруг взбрыкивали.

Были учения. Опять — «На вьюки!», потом — «На колеса!».

Разработали свою систему, о которой начальство не знало.

Главное в системе — рост красноармейцев.

Те, кто ниже ростом, вроде Саши, Жени, Сережи Шумова, разбирали пушку, будущие «вьюки». Те, что покрупнее или подлиннее — Алеша, Костя, Ваня,— поднимали пушку в разобранном виде, по частям, на лошадей. Они, лошади, высокие, и с малым ростом до них не просто дотянуться.

Через Куты протекала маленькая, узенькая речушка без названия, с очень холодной водой, которая, видимо, начиналась где-то в горах.

В этой речушке купали лошадей.

И сами — закалялись, мылись.

На политзанятиях все чаще и откровеннее говорилось:

— Фашистская Германия... Адольф Гитлер... Экспансия... Мюнхенский сговор... Англо-французский блок... Поражение Франции... Предательство Петена... Козни мировой буржуазии... Польша — только начало...

Костя Петров уже не говорил ни о каком договоре с Германией.

Занятия продолжались и днем и по ночам. Если днем срывались из-за учений или боевых тревог (теперь тревоги назывались только боевые), политзанятия проводили ночью, после отбоя.

— Что-то будет,— говорил благодушный прежде Проля Кривицкий.

— Гидравлики тебе не хватает? — шутил Слава Холопов.

— Да при чем тут гидравлика? — начинал сердиться Проля.

— Текстиль теперь будет главным, а не гидравлика, так?

Это — слова Сережи Шумова.

— Текстиль не текстиль, а положение действительно серьезное. И напрасно вы зубоскалите...

Это — слова Вани Дурнусова.

— Умница! — отвечал ему Саша Невзоров.— Вот уж правда кандидат наук, профессор.

Все почему-то обращались к Алеше, к его опыту:

— У тебя же отец погиб на финской...

А Женька еще добавлял:

— И у Веры твоей — отец. Где-то здесь, под Гродно...

Получилось, что опыт его, потерявшего близкого человека еще прежде, но тоже на войне, мог в чем-то помочь. Или подсказать что-то.

Даже Хохлачев спрашивал:

— А ты, Горсков, как думаешь, война будет?

В разговорах этих, конечно, было много от ожидания, но без страха, скорей наоборот: а вдруг не будет ничего?

Двадцать первого июня, поздно вечером, снова была объявлена боевая тревога. Разбирали пушки и вьючили лошадей. Потом наоборот — развьючивали. Долго, до часа ночи, приводили в порядок конюшни.

В три Алеше предстояло заступить дневальным по казарме. До трех все равно не уснешь, и Алеша засел за письма.

Алеша написал два письма. Маме и баб-Мане и Вере.

На том и на другом письмах поставил даты: 22 июня 1941 г. Ведь двадцать второе уже наступило, а утром он опустит письма в почтовый ящик...

Зыбко дрожала темнота летней ночи. По черно-серому, невидимому, но явственно ощутимому небу время от времени пробегали светлые тени уже поднимающегося за горизонтом солнца... Эта смутная, легкая игра красок неожиданно вызвала у Алеши похожее на озноб желание сейчас же, немедленно взять в руки кисть или карандаш. Показалось, что ему открылась тайна того самого одного-единственного мазка, которого так не хватало раньше. Он судорожно нащупал в кармане маленький карандаш, вытащил блокнот и быстро сделал набросок Веры. Потом подошел ближе к свету, посмотрел на него и тут же разорвал.

Пора было идти на дежурство.

XII

Ночь. Ничто не шевельнется, не шелохнется. Чуть скрипят стволы деревьев. Каким-то внутренним чутьем ощущаешь, что скоро начнет светать. Но рассвет в здешних краях приходит не сразу, а медленно. Чуть побледнеет небо. За лесами и холмами вспыхнет нечеткая полоска зари. А потом уже начнут оживать лес и окрестные поля, громче запоют птицы и тени запляшут между стволов деревьев.

В три ночи он заступил на пост. По казарме.

Ходил босиком. Ботинки прохудились, и он подготовил их для ремонта. Точнее, оставил у нар. Зачем надевать, если здесь тепло. Утром бросит письма в полковой почтовый ящик и сразу же сдаст ботинки.

Сидел у входа в казарму. Ребята храпели и сопели. Кто-то вскрикивал. Кто-то вздрагивал.

В пять утра в казарму неожиданно вошел дежурный по полку помкомроты Валеев в сопровождении двух младших командиров.

— Тихо, тихо...

Алеша хотел доложить.

— Не надо, пусть спят,— сказал он.— Как дела? Устали?

— Ребята устали,— доложил Алеша.

— Почему без обуви? — спросил Валеев.

— Ботинки в ремонте,— признался Алеша.

— Не вовремя,— сказал Валеев.

Алеша промолчал. Ботинки, хоть и худые, были.

— Дневальный Горсков,— мягко сказал Валеев,— ну, бывай! Пока! Только неизвестно, как долго нам спать осталось... Грозой пахнет.

И они вышли.

На улице светало. Какой-то серенький день.

В шесть утра Горсков прокричал подъем.

Впервые была команда не «на физзарядку!».

Так распорядился Егозин:

— На конюшни! И — коновязь!

Не все лошади умещались в недостроенной конюшне. Многие стояли на улице.

Алеша после ухода ребят драил казарму. Ботинки надел, пусть худые, и — обмотки. Швабра хорошая. За десять — пятнадцать минут выдраит.

Где-то гремело. Словно гром. И в туманном утре — широкие всполохи.

Пятнадцати, а может, и десяти минут не прошло, как в казарму ворвался Хохлачев:

— Кончай, Горсков! Война.

Алеша бросил швабру.

— Ждали. Ну, вот и началось,— спокойно бросил Хохлачев.

Вбежал политрук Серов:

— Боевая тревога! — И добавил уже тише: — Подготовиться!

Они собрали вещи.

— Что дальше?

Заходили помкомроты Валеев, так и не снявший красную повязку дежурного по полку, и комбат Егозин, и командир взвода Дудня, и другие.

Все говорили одно:

— Полная боевая готовность. Ждите!

Женька Болотин спросил неопределенно Валеева:

— А как там?

И показал рукой куда-то в сторону границы.

Спросил не по-армейски, но Валеев ответил серьезно:

— Дивизия там уже воюет. Насмерть стоит. Наш полк — частично. Наш дивизион пока в полной боевой готовности... Будем ждать!

А здесь было на редкость тихо.

Смотрели через окно в небо. Голубое, спокойное, ясное.

По-прежнему чуть слышно дышал лес, и солнце, пробиваясь на поляны и опушки, играло в паутине. Изредка проносились бабочки и стрекозы. Кипела работа в муравейниках.

Где-то прогромыхал трактор, проскрипела телега, и опять безмолвие.

Наконец издали послышалась канонада.

Все встрепенулись:

— Гром?

— Может, и гром...

И снова удручающая тишина.

— Нет, не гроза это...

— Может, и не гроза...

Начальство приходило и уходило, а они пока оставались в казарме. Молчали и бегали к лошадям по приказу. Лошадей и в конюшне, и на коновязи оставалось все меньше. И пушек на плацу, рядом, 76-миллиметровых пушек, все меньше...

Из лошадей уже исчезли Сноб, Палуша и Взятка.

Алешины Костыль и Лира, Вани Дурнусова Мирон и Соня — остались.

Лошади вели себя беспокойно. Они настороженно поднимали уши, вздрагивали, косили дикими испуганными глазами.

— Война!

Видно, лошади тоже чувствовали это.

Алеша успел, несмотря на суету, бросить в почтовый ящик письма. Сбегал в Куты. Успел сменить ботинки и даже обмотки.

В Кутах — два километра — куда он в новых ботинках и обмотках бегал на почту, не было людей. Редкие военные части — пешие, конные, броневики, торопливо идущие на запад, в сторону границы.

А штатских никого. Словно исчезли все или скрылись по домам. Куры мелькали на улице, гуси и утки возле речки крутились, где они мыли лошадей и купались сами, а над домом почты мерно развевался красный, невыгоревший, словно вчера вывешенный, флаг. Но и тут удивительно пусто.

Пока Алеша возвращался к себе в казарму, бежал, торопился, поскольку отпустили его на «две секунды», почти возле их военного городка встретился ему на пути красноармеец. Гимнастерка потертая, и все потерто, в грязи, пыли, голова забинтованная.

— Браток, а санчасть у вас далеко?

— Не знаю,— растерялся Алеша.— А ты? Вы — откуда?

— Ладно,— сказал красноармеец,— найду. У меня, браток, знамя под этой гимнастеркой. Всех — начисто. А я — живой. Иди, иди, ты — необстрелянный. А я найду и дойду. Бывай, браток!

В казарме им выдали по пятнадцать патронов для карабина. Каждому по пятнадцать.

Их 96-я горнострелковая дивизия уже воевала. Их 141-й артиллерийский полк воевал. А их дивизион, их батальон остались здесь, в Кутах.

Как говорили, командир-интендант стал начальником гарнизона.

Почему не Сухов, уж если их дивизион остался здесь?

Ведь раньше начальником гарнизона был командир полка...

Вроде грохот вокруг стал тише. И всполохов — меньше.

Теперь на улицах города появились гражданские. У военкомата шла мобилизация. Рядом с призывниками плакали женщины и дети. Наголо остриженные, белоголовые призывники чувствовали себя неловко.

Днем и по ночам — тревоги. У себя. И в городе. Искали немецких парашютистов. Говорили: десант за десантом. Обыскивали в Кутах все — каждый домик, каждый огород... Стреляли.

Радио у них не было.

Газет не получали.

На четвертые сутки услышали выступление Молотова от 22 июня. Им прочитал его политрук Серов. Оно было серьезное и спокойное:

«Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Спрашивали себя:

— А что — Сталин?

И сами себе отвечали:

— Сталин, конечно, на посту! И уж со Сталиным, с товарищем Сталиным мы победим!

Да и вообще война скоро кончится. В гражданскую куда труднее

было, а победили. А тогда, помимо белых, сколько буржуев против нас воевало: и англичане, и чехи, и французы... Одно слово — Антанта!.. А потом — шпионы, самураи всякие и белофинны: победили! Это уже при нас. Все помнится. И Ленинград — самый фронтовой город в России. И лошадки, почти такие же, как сейчас, ползущие с ранеными по проспекту 25-го Октября... И отец, погибший там, на «линии Маннергейма»...

Правда, лошадки там были какие-то другие: приземистые, выпосливые, покрытые инеем и испариной.

А тут — красивые, грациозные, крупные.

Саша и Женя — старые друзья по Ленинграду — рядом. Каждый за эти месяцы красноармейской службы что-то открывает новое в себе и в других.

Дни и ночи тяжелые.

Все стали взрослее и серьезнее.

Костя Петров, которому уже давно забыли «Петерпаульшуле», говорил:

— Я вот все думаю. Не товарищ Сталин, а Молотов выступил... Молотов ездил в Берлин. В Москве Риббентропа встречал. Товарищ Сталин не встречал Риббентропа. И не виделся с ним... Тут что-то есть...

— Ты прав, Костя,— говорил Саша Невзоров.— Зря раньше спорил. Конечно, есть...

Шли всякие разговоры. Но это — мельком.

Остальное — серьезнее. Да и не до разговоров сейчас.

После выдачи пятнадцати боевых патронов на человека выдали каски. Вместо буденовок. Каски металлические.

Через Куты тянулись подводы и реже — машины с ранеными.

Днем и ночью искали немецкие десанты. Подозревали всех, поскольку немцы выбрасывали десантников в красноармейской форме.

Алеша все вспоминал:

«А тот раненый с перевязанной головой, который искал санчасть,— не десантник, не немец? А говорил: «Бывай, браток!..»

Рядом опять грохотало.

Шел дождь. Дул ветер. Не холодно, но в лесу промозгло.

Лес вздыхал и шумел. Скрипели стволы деревьев, шелестела листва кленов и вязов. Крупные капли падали на голову, на лицо. Под ногами качались папоротник и высокие травы, листья ландыша и лесные колокольчики.

Алеша был часовым у артиллерийских складов. Ящики со снарядами покрыты листами железа.

Караульное помещение далеко — километра полтора.

Стоять два часа.

Скорее бы смена!

Предупредили о возможном десанте. О парашютистах, которые могут быть в красноармейском обмундировании.

— Стой! Кто идет?

Назвали пароль: «Верность». Их пароль.

Горсков отозвался:

— «Сила»!

Это был его пароль, дежурного у артиллерийского склада.

Подошел разводящий с какими-то командирами. Подъехали машины «ЗИС-5».

Распломбировали склад.

Стали грузить ящики со снарядами и патронами.

Горсков не узнал поначалу одного из командиров, хотя тот и сказал:

— Службу несешь хорошо, Горсков! А тут мы с машинами... Нашумели!

Это был начальник клуба Кучкин.

Горсков давно его не видел. Три-четыре дня, а может, и неделю.

— Простите, не узнал,— сказал Алеша.

— Чего там — узнал не узнал! Как ты?

— А вы? — вырвалось у Алеши совсем не по-красноармейски. Он тайно питал к Кучкину самые нежные чувства.

— Воюем, Горсков! Война! Сам знаешь,— сказал Кучкин.— Плохо там, на передовой... Вот за снарядами и патронами приехали...

— А клуб? — Алеша явно произнес глупость.

— Какой клуб, Горсков? Командира полка сегодня похоронили. Насмерть стоим, а ты... Командира полка, понимаешь?..

Погиб командир полка, который был начальником гарнизона. Вот почему глухой грохот батарей и всполохи — все рядом! Три «ЗИС-5» погрузили. Склады опять запломбировали.

— Бывай! — сказал Кучкин.

И они уехали.

Ветер глухо завывал в лесу, раскачивая деревья и травы. Дождь усиливался какими-то порывами, и с деревьев слетали крупные капли, а то и лились струи воды.

До смены оставалось полчаса или минут двадцать. Часов у Алеши не было.

Рядом шла война. На их границе, которую он пока не видел, и на всех других. Уже погиб командир их, 141-го, полка. И конечно, не только он.

А тут они в Кутах? Как, что, почему? Почему не там?

Он не слышал о всеобщей мобилизации по многим округам, о введении военного положения чуть ли не на трети территории страны, в том числе в Ленинграде и в Москве.

А первая сводка Главного командования Красной Армии сообщала:

«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного морей и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец, первые два в 15 км и последний в 10 км от границы.

Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника».

Через неделю их дивизион выступил на соединение с войсками, которые были у границы. С их товарищами из дивизиона, из полка, которые уже воевали.

Разбирали пушки. Вьючили на лошадей.

Костыль и Лира были на высоте. Алеша справился с ними почти запросто.

Походя командир дивизиона бросил:

— Как фамилия?.. Горсков — помню!

И умчался.

Они, дивизион, выступили.

У старослужащих — сапоги кирзовые. У них — ботинки с обмотками.

Алеша поменял ботинки, но они жали. До боли!

Впрочем, какие ботинки, когда война!..

Он сменил три пары ботинок.

Дурацкая нога. Сорок пятый!

— Таких нет, Горсков, понимаешь?..

Он понимал. Нет так нет! Но ботинки у него сейчас чужие — более или менее подходящие, да жаль, что нужно обмотки мотать. А это — время! Кирзовые сапоги проще!

Через Куты шли раненые и беженцы. Уже без машин. Шли пешком. Красноармейцы с повязками и штатские с детьми. На тележках, которых Алеша никогда не видел, везли и вещи, и ребят малых, и древних старух. Шли, отступая, от немцев. Шли на восток...

В Кутах, где все было так пристойно, когда они приехали сюда,— и клуб, и танцы, и наглядная агитация! — вдруг сразу все изменилось.

Безлюдные прежде улочки, сады, огороды, дома возле речки, где они купались и мыли лошадей, ожили.

Появились странные люди, срывавшие флаги.

«Что это значит? — беспокойно думал Алеша.— Мы же освободили их».

Ругался Саша Невзоров.

Матерились другие.

И потом уже, когда их колонна вышла на окраины Кутов, благодушный Проля Кривицкий озадачил:

— Ребята, вы плакат видели? Там, в Кутах?

— Какой?

Видели многое, а плакатов вот не заметили, в том числе и тех, которые сами совсем недавно рисовали для жителей города.

— Плакат страшный,— сказал Проля.

— Почему страшный? — не поняли.

— Да потому, что на нем написано: «Геть большевиков, и войной — на Москву!»

Это сообщение всех потрясло.

— А что такое «геть»?

— «Долой» по-украински.

— А белые флаги видели? Простыни, простыни и прямо флаги — белые?

Никто не видел.

Проля заметил, а из них никто не заметил.

Их обстреляли. Кто?

Сообразили: со стороны города Куты, откуда они пришли.

Заняли круговую оборону на высоте.

Сняли с лошадей пушки, собрали... Копали позиции для пушек.

Подкапывали землю, чтобы укрыть лошадей.

Земля была сухая, песчаная, с корнями прошлогодних трав и прожилками чернозема. Саперная лопатка брала ее легко.

Со стороны Кутов действительно стреляли.

Ночью над их позициями эшелон за эшелоном проходили на восток немецкие самолеты. Шли куда-то дальше, их не бомбили.

Под утро в траншеях появился командир дивизиона Сухов:

— Где тут красноармеец Кривицкий?

Проли Кривицкого рядом не было.

— Кто ходил вчера в разведку?

Ему доложили: Горсков, Болотин, Холопов, Кривицкий...

— Кривицкий? Знаю,— отрезал командир дивизиона.— Всем благодарность! А Кривицкому — особо. За то, что он заметил в Кутах то, на что мы, к сожалению, не обратили внимания. Вот нам сейчас и аукается...

Утром перестрелка стихла.

Только немецкие самолеты эшелонами летели на восток и назад.

Лейтенант Дудин послал троих — Пролю, Сашу и его, Алешу,— разведать, что в городе.

Они сначала поползли, а потом двинулись спокойнее в сторону пшеничного поля, дабы оттуда незаметнее подойти к городу.

Не стреляли.

И вдруг — почти на выходе к городу — труп, и еще один, и уже три, четыре, пять. Изувеченные люди, а на груди каждого лежала табличка: «Активіст». На бумажке, аккуратно приколотой английской булавкой. Трое мужчин, две — женщины.

— Опять по-украински?

— Они ведь тоже, наверное, украинцы...

Растерялись. Не знали, что делать.

Даже забыли о своем задании.

Саша сказал:

— Надо похоронить. Как вы думаете?

— А закон? — спросил Проля.— Ведь это же убийство, преступление... Похоронили, а кто отвечать будет?.. Милиция с нас спросит?

И как хоронить? Пять трупов. А у них даже саперных лопат нет. Не взяли. Сумки с противогазами взяли. Чем землю копать? Но солнце, и жарко, и как бросить этих людей с табличками «Активіст»?

Решили:

— На обратном пути... А сейчас в город!..

Так сказал Саша Невзоров.

Они вышли из пшеничного поля к первым домам. В городе было все поразительно тихо и спокойно. Словно и войны нет. А кто же убил этих активистов?

Людей не видно. Даже куры не бродят вокруг домов. Гуси и утки исчезли. Коровы не мычат.

А кто же стрелял по ним, когда дивизион выходил из Кутов? А позже кто стрелял?

Может, тут немцы, десант?

Сейчас в Кутах тихо, и они спокойно прошли на главную улицу. Советских флагов действительно уже не было — ни у почты, ни у райвоенкомата, ни у других учреждений...

Поток раненых на телегах. Страшное зрелище!

По главной улице — с интервалами — ползли чахлые лошадки, очень редко — машины. И всюду перебинтованные красноармейцы...

Увидели еще раз и белые флаги: флаги, и полотенца, и простыни, вывешенные из окон домов и на палисадниках, да не как-нибудь, а на специально поднятых палках.

И плакат: «Геть большевиков, и войной — на Москву!» — заметили. Он висел на видном месте, рядом с почтой. Там, вероятно,

было какое-то советское учреждение: может, райком или райисполком...

— Проля! А ты был прав! — сказал Алеша.

Уж очень спокойно на улицах городка. И потому еще более беспокойно.

— Я, в отличие от вас, в очках, ребята,— отшутился Проля.— Лучше видно!

— Его командир дивизиона за это хвалил. И так ясно! — сказал Саша.— Лучше подумаем, что делать...

«Разведать, что в городе»,— таков был приказ Дудина.

— Может, лучше сюда было прийти в гражданском? — шепнул Проля.

Алеша и сам думал об этом, хотя никакого опыта на этот счет у них не имелось.

— Немецкие десанты в красноармейском, а мы, дураки, в своем,— подтвердил Саша.— И все же: выбираться надо. Доложим, что видели. А лопату по пути надо достать!..

Саша-умница вспомнил о том, о чем они с Пролей сейчас почти забыли.

Лопата нужна, чтобы на обратном пути как-то похоронить этих активистов.

— Ты же сам говорил, что милиция...

— Ладно, милиция... А люди лежат... И жара! Вы хоронили когда-нибудь?

Нет, Алеша никогда не хоронил.

Даже отца, погибшего на Карельском перешейке.

— А ты что — хоронил? — спросил Проля у Саши, когда они направились из Кутов в обратный путь.

— Пришлось,— сказал Невзоров.— Лучше не надо!

Выяснять подробности времени не было.

Они шли обратно.

А город был пуст.

И флагов наших — нет. Есть белые простыни, полотенца, какие-то тряпки — все белое. Чего ради? Слова «капитуляция» они еще не знали. Это слово появится как законное не скоро, потом, в сорок пятом году...

Они пришли сюда как свои...

Кто кому сдается?

Опять немецкая авиация появилась в небе. Не бомбили, а летели куда-то в глубь России, на восток... Мерно и нудно летели.

Нашей авиации нет. Обидно, горько, но нет ни одного самолета.

Поговаривали, что немцы разбили все наши самолеты на аэродромах.

Так это или не так?

На окраине Кутов появились странные парни. Те же, что встре-

чались и раньше,— в праздничной национальной одежде.

У одних — карабины.

У других — автоматы.

Судя по всему, автоматы не наши: у нас, даже в дивизии, таких автоматов не было.

Стояли, улыбались, пропуская их, трех красноармейцев, о чем-то негромко разговаривая между собой.

Так было и раз, и два, и три, пока они не подошли к последним домам и Саша снова не вспомнил:

— А лопата?

— Я сейчас,— сказал Проля.

Он побежал в какой-то домик, который не походил на русскую избу, небольшой, чисто сделанный, и крыша — шиферная...

Проли долго не было.

Беспокоиться не беспокоились. Ждали.

Проля вернулся с лопатой:

— А сволочи! Лопаты пожалели! К ним явился как человек. И в дом зашел, чтобы попросить по-людски. А они: «Нет, нет и нет!» — твердят. Вышел, сам взял. Ну и гады! Пусть подавятся из-за нее! А когда сказал: «Похоронить надо ваших же, гражданских...» — так посмотрели на меня... Их самих бы перестрелять!..

Они выходили обратно в сторону пшеничного поля. Туда, где лежали активисты.

— Сказать Дудину нечего...

— Что видели, то и скажем...

И вдруг их обстреляли.

Опять оттуда, теперь со спины.

Они не успели дойти до края пшеничного поля, как сзади раздались выстрелы. Автоматные.

Залегли в сухую обочину.

Опять растерялись.

Только Саша бросил:

— Говорил, сволочи!

— Может, немцы? — спросил Проля.

— Какие немцы?!! Посмотри!

Из укрытия они увидели ребят в светлых праздничных рубахах с автоматами. Их было трое. Они довольно профессионально перебегали от бугорка до низинки и стреляли им вслед.

— Вот они! За лопату мстят! Немцев, сволочи, ждут!— сказал Проля.

Потом пояснил:

— Когда я в дом этот за лопатой пришел, там такие были! Думал, ошибся... Сидели, улыбались!..

Они не отстреливались.

Где уж им было с карабинами да чахлым запасом патронов!

До поля, пшеничного поля, оставалось уже метров десять — восемь, не больше, когда случилось что-то непредвиденное и страшное.

Они с Сашей были чуть впереди и вдруг услышали:

— Ребята!

Проля лежал скорчившись, держась одной рукой за живот, другой — за спину. Карабин и лопата валялись рядом.

— Кажется, садануло,— тихо сказал он. И почему-то улыбнулся.

Со стороны Кутов раздалась еще одна автоматная очередь.

Они потащили Пролю в пшеницу.

— Лопатку не забудьте, ребята, карабин,— виновато приговаривал Проля.— Что ж это такое... А-аа? И очки!

— Подожди! Подожди! Молчи! Сейчас! Сейчас! — шептали они от волнения.

Алеша первым заметил у Проли кровь на гимнастерке.

Их руки тоже были в крови, в Пролиной крови.

Что делать?

Соображали плохо. Просто тащили Пролю в глубь пшеничного поля.

А вслед — опять автоматная очередь.

Рядом — трупы активистов, и по ним уже ползают мухи, зеленые, большие, и Проля все это видел.

Он стонал, но улыбался:

— Ничего, ребята, ничего... Сейчас все пройдет. Только попить бы...

Воды у них с собой не было.

Фляжек и то не взяли.

Стянули с него гимнастерку, нижнюю рубаху. Она была вся в крови. Рана впереди и сзади. Вернее, наоборот. Ведь стреляли в спину.

Сделали перевязку. Неумело, как прежде, на занятиях, сдавая нормы ГСО.

Рвали Пролину рубаху, чистые от крови куски, ими пытались перевязать.

Проля стонал и говорил уже только одно:

— Попить, ребята!.. Попить бы!..

Ох, всем бы попить! Так было душно и жарко.

Пшеница — высокая, красивая, с набухшими, тяжелыми колосьями, ни хотя бы легкого дуновения. Воздух словно тяжело замер под ярким страшным солнцем, и только мухи звенели и жужжали над трупами активистов.

Кажется, Проля уже не замечал ничего.

И не просил: «Попить!..»

Лоб его и лицо покрылись холодной испариной.

Дышал тяжело, закрыв глаза.

Без очков он казался каким-то забавным, непривычным. А очки они так и не нашли. Лопату взяли, карабин... Про очки просто забыли, хотя Проля просил. Не до этого было.

Вдруг, не открывая глаз, он засуетился, стал приподниматься.

— Ребята, не вижу вас!..

Это было четко и ясно сказано, и они стали успокаивать его, укладывать, бездумно произнося обнадеживающие слова.

Но он вроде и не слышал их:

— Не вижу, понимаете, не вижу... Я ведь без очков и так... Был ограниченно годен, но это до войны... Понимаете, а сейчас, когда такое началось... Война скоро кончится, но мы... Как же я без очков? Ведь я вас не вижу, ребята. Алеша? Ты? Саша? Ты? Я не вижу вас!.. Понимаете, как это страшно!..

— Я сейчас, Проля! Сейчас! — Саша бросился туда, где Пролю ранило.

Он исчез.

— Проля, милый, славный наш Проля,— шептал Алеша.— Сейчас будут твои очки. Ты их потерял, Сашка Невзоров найдет. Сейчас... Потерпи, сейчас!

Только исчез Саша, как со стороны Кутов снова ударила автоматная очередь.

Проля продолжал что-то говорить, Алеша вздрогнул: опять!.. За Сашу боялся и за себя: остался с Пролей один, а вдруг?..

Вернулся запыхавшийся Саша и, как ни странно, с очками.

— Нашел?!

Надели Проле очки.

— Спасибо, ребята! Спасибо! — говорил он.— Теперь я ожил. Теперь до победы с вами... Не бойтесь, это не красивые слова, но мы этих немцев...

Он открыл глаза, уже под очками, и сразу замер. В глазах, а может в стеклах, блеснуло солнце, а потом что-то голубое...

— Сними очки,— попросил Саша Алешу и заплакал.— Сними немедленно!

Алеша в испуге снял.

Его рука ощутила на лбу Проли вязко-липкий пот. Скорее выдохнул, чем сказал:

— Все?

— Да помолчи ты, Горсков! Дай в себя прийти!..

И они долго опустошенно молчали.

Потом Алеша, по совету Саши, прикрыл веки Проле Крицкому.

Интуитивно — никогда не знал, что и как делают в таких случаях! — прижал Пролины веки двумя пальцами и долго держал свои пальцы на них, пока глаза не оказались закрытыми. При этом думал он, чудак, и об отце своем, и о Верином: как это все там было?

А тут вот — он и война. Командир полка погиб. И Проля Кривицкий. И — многие, многие, многие...

Сейчас Саша был потерян и обескуражен.

Тела убитых активистов, и вот — Проля, Проля Иванович Кривицкий, который казался мудрее и разумнее их... Убит!

Это для них первая близкая смерть.

Хотя и слышали о командире полка, и знают все, что было и есть на их границе, где люди уже гибнут, и на всех фронтах войны — а сколько таких границ! — тоже воюют и гибнут, конечно,— смерть Проли Кривицкого потрясла. Был человек — и нет. Только что был! Вместе ели, вместе спали, говорили, дышали одним воздухом, и вот его нет. Он ушел навсегда. Странно и страшно!

Рядом активисты, убитые кем-то... Кто они — комсомольцы или работники советской власти? И убиты страшно... Только на их одежду посмотреть! И в Кутах — сорванные советские флаги...

Лежит рядом с активистами Проля Кривицкий, инженер-гидравлик, пришедший сюда, на Западную Украину, считая, что она наша, советская...

Его убили не немецкие десантники, а кто-то из своих.

— Что делать?

Это Саша Невзоров спрашивал Алешу.

Алеша предложил:

— Давай похороним! Лопатка же есть! А что?

Сам Саша до того, как они попали в Куты, говорил, что трупы активистов хоронить нельзя: мол, закон, милиция и так далее.

И Саша сказал:

— Давай так. Лопата есть. Проля принес. Похороним активистов, а там будем думать...

Они одной лопатой копали глубокую могилу. Прямо в пшеничном поле. Дождей, начиная со дня начала войны, не было. Земля сухая. И пшеничное поле — корни, корни, корни...

Саша брал на себя больше, но и Алеша старался:

— Глубже?

— Чуть-чуть. Иначе пятерых не похороним...

Когда яму вырыли, начали искать у убитых документы. Но ничего не нашли.

— Что будем делать с Пролей?

— Может, отнесем к нам, в часть? — неуверенно предложил Алеша.

Саша взвился:

— Горсков, не валяй дурака! Сам говорил глупости по поводу этих активистов. Куда нести Пролю? И как нести? Давай лучше подумаем...

Шесть покойников, и среди них — Проля Кривицкий.

Решили похоронить Пролю отдельно. Но когда выкопали большую могилу для пятерых активистов, передумали:

— Саш, а может, Пролю сюда же?

Невзоров не возражал. Засомневался, но возражать не стал. Сказал только:

— А как же — могила? Безымянная?

Сколько лет Алеша был знаком с Сашкой Невзоровым, а тут открытие: оказывается, Саша, помимо Академии и всего, о чем Алеша знал, всю жизнь, с детства, увлекался выжиганием по дереву. С помощью лупы выжигал на фанерках всякие рисунки и даже получал какие-то дипломы на ленинградских детских конкурсах...

— Давай и Пролю вместе с активистами,— предложил Саша.

Сняли с Проли медальон, который им недавно выдали. Взяли документы.

— Гимнастерку, медальон, документы возьмем с собой,— сказал Саша.— Вот нам бы еще дощечку какую-нибудь... Впрочем, поищем. У меня лупа есть! А сейчас — давай!..

Присыпали сухой, с комьями, с корнями пшеницы, аемлей.

Среди пшеничного поля вырос высокий бугор. Потом, в ходе войны, такие могилы будут называть братскими: и на шесть, и на шестьдесят, и на шестьсот...

Пытались найти кол или дощечку, но ни того, ни другого поблизости не оказалось: Сашина лупа оказалась бесполезной...

Закопав убитых, они по-пластунски добрались до крайних домов Кутов и искали там, на задворках, все, что им было сейчас нужно: фанерку и колышек.

Над пшеничным полем и над Кутами продолжали мирно лететь немецкие самолеты.

Но разнаряженные в национальную одежду парни с автоматами, которые стреляли по ним, которые убили Пролю, исчезли.

Саша принес фанерку. Да не одну, а две.

Алеша три колышка — на выбор.

Невзоров достал лупу и под палящим солнцем стал выжигать: «Красноармеец П. И. Кривицкий (1918—1941). И пять безвестных активистов, погибших в Кутах. Слава героям!»

XIII

В глазах у Алеши все стояли эти активисты и Кривицкий. И общая их могила. Все в трагическом цвете.

За пшеничным полем начинались заросли дикого шиповника с небольшим ручейком и лес, из которого они вышли. Теперь их путь лежал обратно.

В ручье умылись и попили.

Лес встретил их глухой прохладой, спокойствием и величаво-

стью. Ноги мягко ступали по мшистым тропинкам. Они умышленно шли не по дороге, сокращая путь.

Изредка попадались земляника и ландыши. Земляника, пахучая, отлично утоляла жажду.

Говорить не хотелось, шли молча.

Могли спасти Пролю Кривицкого.

Могли, наконец, принести его тело в часть.

Могли, могли, могли...

А его похоронили в поле с активистами, неизвестно как погибшими. Похоронили без гимнастерки и даже без нательной рубашки, которую изорвали на бинты.

Дудин взял документы Кривицкого, медальон: «Жаль парня... Сообщим родным...»

Командир батареи Егозин особенно интересовался, что в Кутах. Потом вызвал командир дивизиона Сухов.

Слушал, долго расспрашивал.

— Обстановка здесь, братцы, трудная,— сказал.— Да и украинские националисты, и влияние разное... Кого только тут не было: и венгры, и румыны, и поляки... Советская власть — без году неделя. А тут — война! Была бы возможность, наградил вас за разведку. Приказ по дивизиону отдам. А Кривицкого не забудем. Хорошо, что дощечку оставили. Вернемся, глядишь, не сотрется...

Война идет серьезная,— сказал Сухов.— Серьезнее, чем мы думали. Наши на границе потеряли больше чем две трети состава, не говоря о технике. Командир полка погиб. Шел врукопашную. Не сумели вынести. Будем отступать с боями, сохраняя живую силу и технику. Так!

Алеша пошел к своим лошадям. Костыль, рыжий его Костыль, и Лира, тоже рыжая, но с голубым оттенком, а точнее с фиолетовым, встретили его ласково — обрадовались.

Глаза их, встревоженные, непонимающие, доверчиво смотрели на Алешу.

Лошади были запущены, нечищены, и Алеша взялся за них, чтобы привести в порядок. Раньше, в конюшне, это было проще, чем сейчас — на улице, под палящим солнцем.

Над лошадьми крутились мухи, какая-то мошкара, слепни. Лошади без конца вздрагивали.

Алеша чистил их, кормил свежей травой — овса сегодня не дали! — и все вспоминал пшеничное поле, на котором они с Сашей похоронили активистов и Пролю Кривицкого...

На атой высотке, где они сейчас расположились, было две стороны. Западная, где держали лошадей, технику и где были они. Восточная сторона находилась под склонами горы. Выше, с этой правой, восточной стороны — траншеи и артиллерийские позиции. А там... Теперь-то Алеша знает, что там очень неспокойно.

Другая сторона, левее от горы, была хозвзвода. Там и кухни. Готовили еду. Завтрак, обед, ужин.

Вокруг было красиво. Горы и холмы, покрытые лесом и кустарником, буйное разнотравье, цветы — все это никак не вязалось ни с войной, ни с их пребыванием здесь. Но даже то, что они изрыли склоны траншеями и ячейками для лошадей, не испортило окружающей красоты.

Каждый в дивизионе занимался своим делом.

Алеша — лошадьми.

А позже, по просьбе командира батареи Егозина, писал портрет командира полка.

Правда, Алеша поначалу восстал:

— Не могу... Не видел! Понимаете, не видел...

— А он погиб, Горсков! Понимаешь, погиб!— Это сказал политрук Серов. И добавил:— Есть старые фотографии... Тридцатых годов. В Академии, а раньше на курсах политсостава. Тридцать четвертый. Наконец, Испания. Он там был. Подумай, Горсков! Может, и для истории это важно. Подумай!

Он за ночь нарисовал портрет командира полка. Молодой, может, моложе их, нынешних красноармейцев, человек...

Алеша рисовал его карандашом, хотя у него в чемодане были краски — масляные и акварельные. Сейчас он еще не смел взять их...

У него не оказалось ножа, чтобы отточить карандаш, но нашлись лезвия для безопасной бритвы, и он стругал карандаши лезвиями. Грифель оказался сломанным, но он все-таки зачинил карандаш.

Политрук Серов первым посмотрел его, как казалось Алеше, странный портрет.

Молодой человек в испанской форме (а он помнил испанские шапочки — и по фотографиям, и по испанским детям, которые приехали в Ленинград; тогда многие носили эти шапочки как знак международной солидарности) стоит на фоне Мадрида. Мадрид разрушен. Какие-то надписи на фоне погибающего города. Лицо у человека — русское, типично русское. Воля и сострадание. Вера и горечь поражения.

Серову понравилось.

— Ночь не спал?— спросил он.

Алеша промолчал.

— Мало понимаю в изобразительном искусстве,— сказал политрук,— но, по-моему, это то, что нужно. Сейчас, по крайней мере. Если не возражаешь, Горсков, покажу начальству. А время будет, размножим — по дивизии, по полку... Пусть люди видят командира полка таким — живым. И хорошо, что тут у тебя Испания. Просто здорово!

В двенадцать часов на следующий день тревога.

Лошадей — под уздцы. Без вьюков.

Пушки отдельно.

Костыль почему-то рассердился и приложил Алешу задней ногой...

Алеша отлетел в сторону.

Лира смотрела на него грустными глазами и вроде сочувствовала.

Их лошади — здоровые, битюги, как принято говорить, и седла у них тяжелые. С расчетом, чтобы грузить части пушек. За долгие годы службы лошади — а их было в полку тысяча голов, в дивизионе — триста пятьдесят, в батарее — сто двадцать — привыкли к своей тяжелой работе. Поэтому и седла были особые, дабы грузить на них части пушек.

А тут лошадь восстала.

Седла прежние, а лошадей впрягают в повозки. И кто-то садится на них. Не свои, а чужие. Лошади видели их, но это были не те, которых они знали каждый день, кто чистил их, ласкал, ухаживал...

Алеша не рассердился на Костыля. Уступил его комбату Егозину. Даже подсадил комбата.

Костыль вздрогнул, но седока принял.

Лира пошла вместе с Алешей к зарядному ящику.

Колонна двинулась.

Шли опять под гору и проселками...

В деревнях горели избы, хотя немцев не было.

Ни десантов, ни вообще — никаких.

Были штатские (потом Алеша будет говорить по немецкому образцу: цивильные), одетые в нечто подчеркнуто национальное. Охотничьи ружья, немецкие автоматы, гранаты...

Они не стреляли.

Пропускали их колонну спокойно.

Смотрели — страшно!

Лица их Алеша запомнил, кажется, на всю жизнь!

Советских флагов в деревнях, поселках и маленьких городках уже не было.

Висели какие-то непонятные, рядом с белыми, трех-четырехцветные, с коронами и другими знаками, но никто не понимал сейчас значения этих странных флагов. Больше смущали белые.

— Сдаются вроде?— сказал Костя Петров.

— Кому? — спросил Сережа Шумов.

В каком-то городке заметили еще флаги: желто-бело-голубые. По городку опять крутились штатские парни с винтовками. Алеша узнал:

— По-моему, румынские!..

Он собирал марки до войны и вспомнил цвет румынского флага. Красный-желтый-синий. А еще он как-то рисовал плакат в защиту румынских коммунистов — Георге Георгиу-Дежа и других... На плакате была и обложка книги Максима Горького «Мать» и обложка «Цемента» Федора Гладкова. Говорили, что румынские коммунисты читают в тюрьме тайно и любят именно эти советские книги. Он и нарисовал тогда этот плакат так: румынский флаг, две обложки советских книг и лозунг...

Было тихо, но вдруг появилась немецкая авиация.

Команда:

— Воздух!

Они спешились и нырнули в обочины. Впрочем, что значит — нырнули. Лошадей, повозки — все срочно загоняли в стороны от дороги, благо слева и справа лес... Чахленький, но все-таки лес.

Командир колонны — военный с четырьмя шпалами — сам давал указания. Они его не знали, но он им нравился: спокойный, деловитый.

Бросил:

— В Кутах немецкий десант! Будьте бдительны. Немцы в красноармейской форме...

Они не проходили обратно через Куты, но там остались Проля Кривицкий и пять активистов... Значит, в Кутах ждали немцев!..

Об этом они с Сашей перемолвились, когда загнали лошадей в лес и сами укрылись на обочине.

Тут пахло прелой листвой, мхами и редкой хвоей сосен. Под ногами хлюпало — по обочине струился еле заметный ручеек.

На дороге появилась стайка черных скворцов.

Сойка, крупная, с широким размахом крыльев, перемахнула с дерева на дерево.

Осторожно застрекотал кузнечик, квакнула лягушка.

Над лесной дорогой появился немецкий «костыль». Низко, его нельзя было не заметить. За ним — «кукурузник» с желтыми крыльями и черными крестами на них, пролетел еще ниже. Потом подоспели «юнкерсы».

Самолеты немецкие они знали по схемам и по контурам, изучали еще до войны. И сейчас вряд ли могли ошибиться.

«Юнкерсы», летевшие прямо над лесной дорогой, выдали серию очередей. Вернулись, и опять — серия. Где-то заржали лошади, раздались крики. Кто-то стрелял по самолетам.

Все неожиданно, как и началось, стихло.

Оказалось, у них заметные потери.

Добили трех раненых лошадей. Похоронили восемь красноармейцев.

Командир колонны и командир дивизиона Сухов торопили, когда они копали могилу в лесу.

Потом — митинг не митинг.

Речь держал Сухов.

Опустили погибших красноармейцев в могилу. Засыпали.

— Слава героям! — закончил Сухов.

Краткий салют.

— Теперь — по коням! — приказал командир колонны.

Рядом оказался Сухов.

— Как, Горсков? Привыкаешь?

Алеша промолчал.

— Слежу за тобой, — сказал Сухов.

Алеша опять промолчал.

Вторая могила — эта. А раньше Проля Кривицкий и пять активистов...

Что тут скажешь!

— Чего молчишь? — спросил Сухов.

— Да, товарищ комдив! — вспомнил Алеша. — А кто это командир колонны? С четырьмя шпалами?

— Это, Горсков, — потрясающий человек! — словно обрадовавшись, сказал Сухов. — Героический! Гражданская война, Хасан, Халхин-Гол! Он, кстати, нашего командира полка пытался вынести, но не удалось, сам в окружение попал, чудом вырвался... Огромной стойкости этот Иваницкий. Нам учиться у него надо!..

...Шли в сторону Каменец-Подольска, к старой границе. В селах убитые активисты. Уже целыми семьями. Горели их дома. По улицам ходили наглые парни с охотничьими ружьями и гранатами. Те, что ходили открыто, не стреляли. Стреляли, как правило, из-за угла. Немецких флагов не видно. Румынские и венгерские встречались все чаще.

В лесу под Каменец-Подольском соединились со своими, которые вышли сюда на сутки раньше, сильно потрепанные в боях на новой границе и по пути. Говорили, что потеряли третью часть состава, не считая техники и лошадей.

Еще вчера начало поступать пополнение из местных жителей. Их обмундировали. Новичков называли «западниками». Все они казались какими-то пришибленными. И говорили на странном языке — смесь украинского с венгерским, польским, румынским, — понять их невозможно. По-русски — почти ни слова.

Троих отправили в разведку на конях, Алешу, Костю Петрова и новобранца по фамилии Лада. Лошади чужие, но смирные: Кока, Тара и Весь.

Поехали в сторону Хотина разведать дороги.

Лада, хотя и плохо говорил, местность знал прекрасно. Поняли и то, что он комсомолец.

Ехали лесами, стараясь избегать сел, как приказано: неизвестно, кто и что сегодня в селах.

Наконец Лада произнес:

— Ось туточки незабаром мое село.

Старшим был на сей раз он, Алеша.

— Слушай, Лада! На кой нам лях это село, твое оно или не твое! Нельзя ли его обойти? И командир так приказал.

— Села не проминуты. Воно зараз по дорози, а инших шляхив немае...

Пришлось ехать дальше.

Лада объяснил, и его все поняли: здесь лучшие дороги в сторону Хотина. Это еще новая советская территория, и тут опасно, но красноармейские части пройдут. Люди, орудия, лошади и даже автомашины. Дальше, за старой границей, будет лучше. Они ездили на Советскую Украину, дружили с советскими комсомольцами... Там, конечно, все не так, как здесь. Тут пока трудно. Классовая борьба! А там, у вас, все давно решено. И тут, если бы не эта война, они тоже все скоро решили бы...

Так Алеша и Костя приблизительно поняли Ладу.

— А зовут-то тебя хоть как? — спросил Костя.

Лада опять смутился:

— Чо?

— Имя твое? — сказал Алеша. — А то мы все: Лада, Лада! А имя-то у тебя есть?

— Ивась! Ивась!

— Ласковое имя, — сказал Горсков.

Впереди засветились меж деревьями огоньки. Лес еще стоял слева и справа сплошной стеной, слева — выше, в гору, справа, — вниз, под гору. Впереди замаячили огни. Смеркалось в этих краях рано.

Но так и было рассчитано. Они проверят дорогу в сумерках, в ночь, и, переспав, — под утро. И не позже 10.00 вернутся и доложат.

Перед селом спешились.

Покурили.

Ивась не курил, но у него была махорка — истый самосад, и он угостил Алешу и Костю.

Костя затянулся первым. Он курил и до войны.

Алеша закурил в армии, в прошлом году.

Лошади отдыхали. Щипали свежую горную травку, чихали от удовольствия и преданно смотрели на своих новых седоков.

Смотрели так, как будто всю жизнь Ивась, Костя и Алеша были рядом с ними!..

Видно, хорошие люди, раз армейская лошадь, привыкшая ко всему, так сразу принимает человека...

— Поехали?

Огоньки светили впереди, и вскоре они въехали в село, которое

стояло слева от дороги, на горе. Тут оказалось довольно темно, хотя огоньки керосиновых ламп и свечек мерцали в окнах.

Было очень тихо, хотя ночь еще и не настала. В небе сквозь вершины сосен всходила луна, и свет ее уже блуждал по крышам и по оконным стеклам.

У второго крайнего дома они слезли с коней, и Ивась удалился.

Здесь словно не было войны, которая захватила сейчас всю землю. Пели ночные птицы. Вроде и соловьи. Трещали цикады. С величавым спокойствием шумел лес...

— Ивась — отличный парень! — сказал Костя. — Представляешь, как им тут нелегко...

Но куда он пропал?

Не успел подумать, прибежал Ивась, запыхавшийся, какой-то взбудораженный.

— Поехали? — спросил Алеша.

Опять оседлали коней, двинулись.

В конце села позади вдруг раздалась очередь. Думали, пулеметная... Задело Коку — лошадь Ивася. Кока споткнулся, сбросил седока и упал на дорогу.

Алеша с Костей были чуть впереди, соскочили с лошадей и схватились за карабины. Залегли, а когда к ним подбежал Ивась, начали отстреливаться.

Впереди появился парень с автоматом. Его ясно было видно в свете луны, и рядом — Кока... Лошадь корчилась на дороге, задрав голову. Парень стрельнул ей в голову и бросился вперед. На нем была белая с вышивкой одежда... Но вроде кожаная, не полотняная...

Никто из них не мог попасть в этого парня.

Трое не могли попасть в одного!

Парень мотался по дороге, бросался то влево, то вправо, наконец, скрылся за трупом Коки — конь уже не шевелился! — и стрелял оттуда.

Тара и Весь стояли рядом, испуганно похрапывая.

Костя вскочил и прогнал их в лес, с дороги.

Они робко послушались и перемахнули через обочину, шурша сухими листьями.

Вдруг Ивась поднялся во весь рост и пошел вперед.

— Ты что, Лада? — крикнул Костя.

— А ну, Ивась, назад! — приказал Алеша.

Ивась посмотрел на них, улыбнулся и, что-то сказав, спокойно двинулся дальше.

Парня с автоматом не видно. А дорога была светлая.

Ивась прошел два-три метра, дважды выстрелил и вдруг упал.

И все сразу, казалось, смолкло.

Еще, наверное, минуту Костя и Алеша лежали ошеломленные.

Тишина, тишина.

Только лошади всхрапывали в кустах.

Наконец схватились.

— Пошли! Нельзя же так?

Кто первым это сказал, неизвестно, но оба они вскочили и бросились к Ивасю.

Он был еще жив.

— То мий брат Грицько... Сволота! Хоче мени помстыти, що я до комсомолу пишов, а зараз до Червоной Армии... Коня жалко... Добрый кинь був...— шептал он.

Изо рта у него, из ушей шла кровь.

Они похоронили Ивася в кустах, где стояли Тара и Весь. Саперные лопатки теперь были. Кока остался на дороге.

Взяли документы Ивася. Медальона у него не было. На могиле — теперь уже ничего не поделаешь — чернильным карандашом на сорванном куске бересты написали: «Красноармеец И. Лада. Комсомолец. 1941 г.». Даты рождения Ивася не знали.

Усталые, долго гадали, что делать дальше.

Даже поспорили.

Правым, видно, оказался Костя. Он, Алеша, потом это понял.

Оседлали коней и двинулись вперед, в сторону Хотина.

Путь шел по лесу. Выше — ниже, горы — овраги, а потом — полями и опять в лес.

Лес стоял какой-то мрачный, недоступный, а поляны, особенно на возвышенностях, смутно белели ромашками и, кажется, незабудками. На одной поляне росла дикая яблоня с крошечными зелеными плодами, на другой высился корявый дуб. Его подножие было густо устлано сжавшимися прошлогодними желудями. На третьей виднелся огромный куст шиповника, а по краям поляны бузина и волчьи ягоды.

Ни огней, ни сел по пути не встречалось.

Где-то глубокой ночью остановились, почувствовав, что очень устали и лошадям надо дать отдохнуть, немного поели, хотя есть не хотелось. Поташнивало. Особенно после того, как опускали Ивася в могилу.

Спали час-два, почти поминутно вскакивая и вздрагивая. Но все же спали.

Проснулись, когда загудело небо, и в предрассветье увидели массу немецких самолетов, идущих на восток.

Тара и Весь были настороже.

Алеша с Костей быстро собрались.

В ближнем ручье успели умыться. Стало немного легче.

Сколько оставалось еще до города Хотина, никто не знал. А именно это и необходимо им узнать.

Немецкие самолеты ушли.

Стало тихо. Совсем как до войны. Алеша вспомнил почему-то дачу под Ленинградом, куда он выезжал на лето, и все это показалось ему таким далеким и невозможным, словно однажды привиделось в странном, далеком сне.

Солнце уже давно поднялось, и даже без часов можно было понять, что сейчас семь — восемь утра, не меньше. Они вышли на опушку, к ложбине, и вдруг услышали грохот канонады и ружейные выстрелы.

Ложбина была большая, свежезеленая, поросшая по краям кустарником, за которым, кажется, угадывалась речка или ручей. В небе редкие прозрачные облака, тихо плывущие к горизонту.

Сразу же вернулись, спешились и залегли в кустах. Наверное, от волнения вдруг нестерпимо захотелось есть.

У Алеши в сумке от противогаза остался хлеб.

Пожевали.

Корочки отдали лошадям.

А внизу...

Бой — не бой?

Просто перестрелка?

Ни самолетов в воздухе, ни артиллерии на земле, кажется, не было.

Редкие вспышки взрывов.

Может, минометы?

И стрельба, винтовочная, автоматная, с перерывами...

— Посиди! Я пойду! — сказал наконец Алеша.

— Почему ты?

— Я старший, в конце концов...

Он выбрался из кустов и стал спускаться. Ложбина была не очень велика, впереди еще одинокие кусты и деревья, а дальше — поле и вдали какое-то селение или городок.

Скрываясь меж кустами, он сначала шел в полный рост, а потом перебежками, пригибаясь. Карабин держал наготове.

Стрельба усилилась, но была какая-то беспорядочная. Возле ручейка с молодым ивняком его окрикнули. Там оказались свои, красноармейцы. Их — четверо, один — тяжелораненый.

— Мать пресвятая! Помогите кто-нибудь! — кричал раненый.

— Только что ранило миной в живот, — объяснили красноармейцы.

Узнав, что Алеша — разведка, объяснили:

— Здесь венгры... Почему, черт их знает... Видно, с немцами вместе. Немцев пока не видно. Хотин километра три за селом... Там тоже венгры. Не очень много, но злые как собаки. Так что

лучше убирайся отсюда, пока цел, а своим скажи, что на Хотин, видно, придется пробиваться с боем...

Пока перестрелка поутихла, он попрощался с красноармейцами и вернулся в лес. Рассказал все Косте.

Решили немедленяо возвращаться к себе. Как-никак что-то узнали: и дороги, и обстановку.

Ехали осторожно, особенно когда подъезжали к месту гибели Ивася. Взглянули на могилу: свежая, ояа была хорошо видна с дороги.

Дальше объехали труп Коки. Над яим уже кружилась стая мух и деловито хлопотал ворон.

Подул небольшой ветерок, и лес словно запел. Протяжно вели мелодию дубы и грабы, ясени и горные сосны, зашелестела в движениях неслышимого таяца листва. Будто тихие, приглушенные звуки огромного органа зазвучали в ушах.

— Слышишь?— спросил Алеша.

— Слышу,— сказал Костя.— Словно Ивася отпевают.

Теперь самое главное — миновать село.

Кажется, прорвались.

XIV

Он видел Ивася совсем яе таким, каким его положили в могилу, а красивым и статным, застенчивым и смелым.

И пейзаж на месте гибели Ивася виделся ему не мрачным, а светлым, словно происходило все не в горах и в лесу, а на ясной поляне, в расцвете доброго летнего дня.

Ему не было стыдно за портрет командира полка. Это вам не «Каторжный труд...»! Сюда вложено нечто большее, чем умение. Здесь есть идущее из тайных глубин сердца чувство, а не просто фотографическое сходство.

Портрет был помещен в армейской газете и размножен политотделом армии листовкой.

Ивась виделся Алеше живым, как и командир полка. Только более сильным, чем в жизни, будто Алеше удалось слить в нерасторжимое единство четкий, чекапно-красивый рисуяок и ясяую, прозрачную светосилу цвета.

Алеша мысленно писал портрет Ивася...

Поздно вечером 96-я горнострелковая дивизия, в то́м числе и их 141-й артиллерийский полк, двинулась в направлении Хотина.

Впереди шла разведка, которой командовал Дудин, а практически руководил Иваницкий.

Ехали верхом. Алеша яа своем Костыле, а Костя на какой-то чужой лошадке по кличке Зима.

Было приятно сознавать, что колонна идет по дороге, разведанной ими.

Двигались медленно, но к утру все же достигли Ивасева села. Тут опять тихо. Словно вымерло все; хотя дымились трубы у печек, выставленных прямо на улице, но возле них никого видно не было.

В селе не остановились, и, наверное, правильно сделали, а пошли вперед, к опушке леса.

Лес уже не пел. Солнечные лучи проникали сквозь паутину ветвей и ярко светились в утренней росе и смоле сосен. Пели невидимые птицы, жужжали пчелы, вилась мелкая мошкара. Где-то стучал дятел, а вдали куковала кукушка. Эхо разносило по горам эти звуки, и они пропадали за горами в низинах или дальних лесах.

«Красота,— подумал Алеша,— но какая-то беспокойная, страшная красота».

Дудин торопил, Ивашицкий, наоборот, придерживал ход колонны.

Алеша почти не слышал их разговоров, но невольно подумал, какие они, видно, разные и похожие. Вот хотя бы карандашом набросать!

Он вспоминал Академию все чаще и чаще. Теперь он думал о ней уже без горечи и грусти. Лишь порой его охватывало мучительное сожаление о своей, той юношески категоричной самонадеянности, которая давала право так наивно и несправедливо судить о людях, его окружавших. Эта глупая самонадеянность позволяла не видеть и не принимать ложности собственных поступков и суждений. Первые дни войны уже многому научили Алешу. И он все больше вспоминал Академию с благодарностью за то, что она успела ему дать.

И все-таки...

Там учили прекрасной натуре, но студенты со своим жизненным опытом еще не были готовы к открытию прекрасного в этой натуре.

Нет, он правильно выбрал свой путь в сороковом, а не в сорок первом, когда уже ничего нельзя было выбирать. Когда всех их выбрала жизнь и повела по своим дорогам.

Милая, добрая, умная Академия!

Спасибо тебе за все!

Академичность — это прекрасно, но жизнь... Даже в финскую войну ничего в Академии не изменилось, кроме дежурств, маскировочных штор...

Раньше он не думал об этом, но вот...

Активисты! Пять первых, убитых в пшенице! Грицько — брат Ивася. Наглые парни и девки, срывающие красные флаги. Что-то ждущие. Немцев? Стреляющие из-за угла в красноармейцев и

уничтожающие всех, кто за советскую власть, поджигающие их дома с детьми и матерями, которые даже еще не успели понять, что такое эта новая власть. Но их уже уничтожают...

Разные люди рядом с ним, где-то в середине колонны или в конце ее. Хорошо, что там? Менее опасно. А может, и нет, но все равно — хорошо, что они там, а не здесь, в разведке.

Их разведка, а за ней и колонна, остановилась у опушки леса.

Дудин спросил у Алеши:

— Горсков, показывай, тут?

— Здесь,— сказал Алеша. И добавил: — Дальше пока не надо... Там эти венгры... Были.

— Ладно, будем живы, не помрем,— сказал Дудин.

В ложбине сейчас — тишина. Как в Ивасевом селе, хотя тут эта тишина казалась странной. Ведь только вчера...

Дудин о чем-то говорил с Иваницким, потом выслал вперед еще одну разведку. Трех человек без лошадей.

Алешу и Костю не послали.

Обидно, конечно!..

Но приказ есть приказ.

Через час те трое вернулись.

И сразу же команда:

— К бою!

Их разведка, усиленная еще ротой красноармейцев, которую возглавлял Валеев, получила по пятнадцать патронов, по одной лимонке и пошла в ложбину.

Алеша второй раз видел эту ложбину, а теперь как бы и в первый... Ручеек с молодым ивняком они прошли стороной, и он не мог знать, как там красноармейцы, живы — не живы, похоронили ли своего товарища, кричавшего «Мать пресвятая!»?

Но воронки, неглубокие, и траншеи, тоже мелкие, и трупы наших бойцов они видели. Не много, но все же...

Они уже почти вплотную приблизились к селу и вышли на дорогу, которая продолжала их лесной путь. Тихо — ни канонады, ни даже выстрелов.

Вошли в село.

Дорога — та же, проселочная, но сухая. Дождей в последние дни не было, видно, и здесь.

Село цело, кроме двух-трех сожженных домов.

На одном, самом лучшем,— флаг со свастикой.

Но ни души. Ни военной, ни гражданской.

— Сейчас,— сказал Валеев и соскочил с лошади.

За ним побежал красноармеец, которого Алеша не знал. Судя по всему, из новобранцев, «западников», как и Ивась...

У Валеева — автомат в руках, немецкий, трофейный, у красно-

армейца — карабин, который он держал как-то очень неловко-бережно.

При подходе к дому Валеев словно не обратил внимания на венгерский флаг, а сопровождавший его «западник», положив карабин на травку, подошел к флагу, аккуратно сорвал, бросил под ноги и вытер о него сапоги.

Валеев обернулся, похоже — возмутившись, почему его сопровождающий задерживается, но, увидев, вдруг улыбнулся и сказал:

— Ну, давай, Тронько!

И рванул дверь в избу.

Красноармейцы смотрели на все это с улицы, поскольку дом стоял в глубине сада.

Минута-две прошли спокойно.

И вот раздались выстрелы — сначала в доме, потом и на улице.

Они соскочили с коней, бросились к дому и в стороны, где тоже стреляли.

Из дома выскочил Валеев:

— В ружье!

Из окон свистели пули.

Они залегли в саду у изгороди.

— Их там немного,— говорил Валеев.— Сейчас...

И правда, скоро все кончилось.

Они вошли в дом. Пять человек в незнакомой форме. Все убиты. Один наш — в красноармейской. Видно, не убит, а зарезан ножом. Это тот красноармеец, что вошел в дом вместе с Валеевым. В соседней комнате перепуганные хозяева — две женщины и мальчишка. Прижались к стенке печки. Половики, рушники, скатерти, фотографии на стенах — какие-то старые офицеры с усиками в парадных костюмах. Это все увидели мельком...

Валеев выскочил назад, и Алеша с двумя красноармейцами побежал за ним.

В селе снова стало тихо.

Докладывали Валееву:

— Одного штатского с автоматом прихватили, но он удрал... Автомат бросил. Немолодой мужик...

— Шесть венгров...

— Двенадцать... Сначала вроде сдавались, а потом стрелять... Уничтожили.

— Два венгра...

— Немцев нет?— спросил Валеев.

Как все доложили, немцев вроде не было.

— Флаг их со свастикой сняли,— сказал кто-то.— Сожгли!

Подсчитали наши потери: четверо убитых и один раненый.

Легко раненный. В руку. Перевязали. Рука левая. Стрелять может и вообще шутит. Молодец!

— Убитых собрать сюда,— сказал Валеев.— Немедленно!

Красноармейцы побежали выполнять приказание.

— А теперь ты, Горсков! И вы! Пошли заберем Тронько.

Они вошли в дом.

Хозяева по-прежнему жались к печи.

— Эх, вы!— остановился на минуту перед ними Валеев.— Живите, живите!.. Потом поймете!

Валеев, Алеша и еще два красноармейца вынесли труп Тронько и аккуратно положили его рядом с черешней, ближе к ограде.

— А теперь копать могилу,— сказал Валеев.— Лопаты у них есть,— и он показал на дом, изрешеченный пулями.

А сам достал платок и, пока сюда подносили других убитых, прикрыл этим не очень свежим платком шею Тронько, там, где его ударили ножом.

Могилу для пятерых копали долго.

По очереди.

Рядом с черешней.

Земля была вроде и не такая сухая, как на пшеничном поле, но корни, корни... А землю, видно, здесь хорошо поливали. Война не война, а хозяева знали дело. И флаг венгерский наверняка сами вывесили. А может, сами и сшили. И не потому, что поставили венгров на постой. А кстати, поставили или сами с охотой пустили?

Когда все было готово и пять трупов опустили в глубокую могилу, Валеев сказал:

— Товарищи красноармейцы! Бойцы! Идет война, пожалуй, самая тяжелая из всех... Мы сегодня хороним наших товарищей. Это красноармейцы — Юсупов из Узбекистана, Алексеев из Вологды, Краснов из Москвы, Заботин из Курска и Тронько... Тронько из этих мест, добровольно вступивший в Красную Армию... Ему стукнуло только семнадцать лет... Все — комсомольцы. Поклянемся же над их могилой, что мы отстоим нашу Родину. За победу!

Прозвучал салют.

И в путь.

У Хотина — старая граница.

За ней — в каждом селе, в каждом городке — толпы людей. Красные флаги на всех домах.

Женщины плакали. Совали вареники, черешню, яблоки.

— На кого же вы нас покидаете?

— Родимые!

— Как же мы?

И так всюду, всюду, всюду...

А природа вокруг, словно нарочно, сверкала яркими красками

и свежей зеленью, голубым небом и горячим солнцем. Так и хотелось свалиться на землю, растянуться, аакинуть голову, смотреть в бездонное чистое небо и забыть обо всем — о войне, об отступлении, о рядом крадущейся смерти...

И снова вспомнилась Академия. Университетская набережная. Ленинград. Рядом в саду памятник «Румянцева победа». С каким благоговением он входил в Академию! «Построено в 1766—1788 гг. Архитекторы А. Ф. Кокорин и В. Деламот». Рафазлевский и Тициановский залы. Яркие краски росписей. Битвы и страсти. Когда-то так изобразят и эту войну. Какие же нужны краски для нее! Какие таланты!

И там в академической тишине ученые работы Репина и Кипренского.

XV

И вдруг — неожиданность.

Ему и Косте Петрову присваивают звание «старший сержант». Они стали командирами орудий.

Алеша не очень понимал: чем?

Если война скоро кончится, а она должна окончиться скоро нашей победой, то разве Костя останется в Красной Армии? Он же — историк, типично мирный человек и не собирается всю жизнь посвятить службе в армии. Отслужили, победили, но ведь у каждого свои дела — там, аа пределами армии.

— Ты что, собираешься всю жизнь быть красноармейцем?— как-то спросил Алеша Костю.

— А почему бы и нет?!

— Давай, давай,— не нашелся что ответить Алеша.

Слухи слухами, но они оправдались.

После Хотина, который прошли относительно спокойно (три-четыре перестрелки), и Каменец-Подольска, который обошли где-то слева, командир расчета лейтенант Дудин объявил о присвоении званий.

— Старший сержант Горсков!

— Старший сержант Петров!

Шла, как говорили командиры, маневренная война. И Дудин так говорил.

Марши по тридцать — сорок километров в сутки. Марши с остановками и боями. То — авиация немцев, то — артобстрел, то — парашютисты немецкие — в нашей форме, в своей... И штатские, свои вроде бы,— разные... Теперь они поняли, что такое новая и старая граница. Там люди — Ивась и активисты. Но там и брат Ивася — Грицько... Хорошо, что они вышли оттуда, хо[illegible]т и потеряли многих!

Здесь украинские женщины плакали.

Алеше говорили:

— Худой-то какой, тощий, высокий...

Плакали потому, что верили в советскую власть, и вот она уходила.

Обстановка была беспокойная.

Все по дорогам двигалось. Беженцы и солдаты. Наступающие на запад части и отступающие на восток. Очень много раненых на подводах.

Только потом он поймет, что и в этой страшной сумятице первых дней войны все было разумно: выводили красноармейские части из боев, чтобы сохранить их, чтобы воевать дальше.

Они выходили из бесконечных немецких мешков трудно, с изнуряющими боями, но, несмотря на огромные потери и нечеловеческую измотанность, все сумели оставаться действующими.

В каком-то селе его, Алешу, послали в разведку.

Зеленое поле. Небольшая балка с леском. Склон покатый, песчаный, узкой полоской тянется к крайним хатам.

Горсков осторожно облазил лесок. Никого.

В небе промчались три «мессера», дав наугад по одной очереди.

Он добрался до маленькой высотки, что была рядом с их расположением. За ним остались огневые позиции. Где противник — впереди, сбоку, и может, и позади огневых позиций,— говорить глупо. Стреляли отовсюду.

Карабин заряжен. Плюс еще — патроны в подсумке. Саперная лопатка — окопался на высотке, на сопке, как ее назвать? Окопался хорошо.

Внутренне был сосредоточен.

Мычал мотив песни:

Эх, комроты,
Даешь пулеметы!
Даешь батареи,
Чтоб было веселее!

Странная, довоенная песня, и слова ее он, конечно, помнил совсем неточно, но бубнил почти без слов...

И, уже сделав маленький окопчик себе и скрывшись в нем, он вспомнил другую:

Белоруссия родная,
Украина золотая,
Ваше счастье...

И тут случилось нечто ужасное.

Он, видимо, задремал, да что там — «видимо», просто уснул!

Его разбудил в окопчике старшина, новый после Хохлачева, старшина Дей-Неженко...

Он забрал у Алеши карабин, снял подсумок и сказал:

— Пошли!

Алеша, обезоруженный, шел за старшиной и молчал, не зная, что ему сказать. Уж очень несимпатичен был ему этот старшина батареи Дей-Неженко!..

Не стреляли.

Слава богу, как говорится. Значит, ничего страшного не случилось.

Дей-Неженко бросил по пути:

— Вам еще звания новые дают... Хороши такие старшие сержанты!

Он, Алеша, чувствовал свою вину и молчал.

Дей-Неженко привел Алешу в часть, что-то говорил и суетился, как показалось ему, и наконец привел Алешу в окоп, где находились лейтенант Дудин, помкомроты Валеев и Сухов.

Алеша совсем скис.

«Расстрел или штрафбат?» — подумал.

— Отдай ему карабин! — сказал лейтенант Дудин.— И подсумок с патронами. Хвалим тебя за службу, но иди! И ты, Горсков, тоже свободен.

Потом опять начались бои — тяжелые, трудные, с отступлениями.

Дудин кричал:

— Ни шагу назад!

Оказывается, лейтенант Дудин мог быть и таким.

Впереди шла пехота. Она, отступая с боями, несла самые большие потери. Они — за пехотой. Потому и вступали в бой. Маневренная война! А немцы и их союзники — венгры, румыны, а потом, как узнали, и хорваты, и итальянцы, и австрийцы, и испанцы — оказывались рядом.

Они отходили через болота, через сопки и крутые склоны.

Алеша еще с детства, как помнил себя, никогда не мог съехать с крутой горы на санках или на лыжах, а тут пришлось выдавать такие виражи! Хорошо, что лошади были умницы!

Тащили на себе и с собой, спускаясь осторожно! Пушки 76-миллиметровые — тащили.

Теперь, как выяснилось, никакой 96-й горнострелковой дивизии уже не было. Остался 141-й артиллерийский полк, в который вошли все, кто остался из дивизии, и командиром полка стал Иваницкий.

В небе висели немецкие «костыли». Кружили немецкие «кукурузники» с желтыми крыльями. Появлялись «юнкерсы».

И опять — болота, гать.

Высотки и довольно внушительные горы.

Страшное ощущение от спуска не проходило. Долго. Но вот — вдруг прошло.

Появилось ощущение безумной храбрости и даже безрассудства.

Алеша спускал с горы Костыля и Лиру, а с другой — свой зарядный ящик с другими лошадьми и чувствовал при этом какой-то азарт.

Стреляли отовсюду. С неба, с земли. В селах и поселках с деревьев и из домов. Стреляли то спереди, то сзади...

У Алеши лопнула гимнастерка на спине. На штанах продрались коленки.

Бабы в селах плакали, когда видели их таких...

И снова бой. Теперь уже с немцами после отхода из Хотина.

Фруктовые сады. Яблони. Абрикосы. Все в зелени. Черешни усыпаны бело-алым бисером. Ягоды крупные, спелые.

Но бой есть бой.

Немцы — рядом. И красноармейцы били по ним почти без особой наводки.

Командир батареи Егозин только успевал давать команды: «Огонь! Огонь!» Еще раз — «Огонь!».

Немцы шли двумя колоннами.

Мотоциклисты — первая.

Бронемашины — вторая.

По первой стреляли из автоматов, пулеметов, карабинов.

По второй — из пушек.

Загорелся первый немецкий бронетранспортер, потом — второй, третий, четвертый...

Егозин и Дудин были в восторге, а когда увидели, что и мотоциклисты замешкались, поняли: победа!

Одну пушку разбило.

— Вперед! — крикнул кому-то Егозин, как когда-то Дудин, и сам подался вперед, увлекая за собой красноармейцев. Их было не много, но они бросились вперед с карабинами и редкими автоматами.

Бой кончился.

И долго, взбудораженные, после того как немцы отступили, приходили в себя.

Прозвучала команда:

— Строиться!

На улице села построились, и вперед, рядом с Егозиным, Дудиным, Валеевым, Серовым, вышел сам Иваницкий.

— Товарищи красноармейцы! Командиры! — сказал он. — Вы сейчас проявили величайшее мужество! Спасибо всем вам, кто остался жив! Но в этом бою мы потеряли многих наших товарищей.

Двадцать семь человек... Их вынесли с поля, и мы похороним их по достоинству, как положено. Но скажу и другое. Одного из них мы оставили на поле боя. Его убили не немцы, а застрелил я. Он оказался трусом и ничтожным человеком. Сам побежал назад и других повел за собой. Это — Дей-Неженко. Не будем сегодня говорить о нем... А вам всем еще раз — спасибо! Раненых мы отправим в госпиталь... Все!

Рыли братскую могилу. Хоронили.

Среди убитых был и Ваня Дурнусов.

Слава Хохлов, оказалось, ранен — тяжело или легко, никто не знал. Его отправили в госпиталь.

Редеет ленинградская команда... Проля Кривицкий, Ваня Дурнусов — насовсем. Слава — в госпитале.

В селе тихо.

Только выстрелы похоронного салюта разбудили и встревожили птиц. Галки и вороны шумно и беспорядочно взметнулись в небо.

На могиле поставили фанерный обелиск с красной звездочкой и с фамилиями погибших.

Первая ночь была относительно спокойная.

Спали не раздеваясь. Спали на улице — благо тепло. Командиры, да и то не все, в домах. Дудин спал вместе со взводом.

Лошадей поставили в сады, рядом с домами. Напоили, накормили, чуть-чуть почистили.

Костыль и Лира, когда Алеша подошел к ним, благодарно потянулись мордами навстречу.

Из Ленинграда писем не было. Ни из дома, ни от Веры. Писали, не писали?! Может, и писали? Но где сейчас они могут его найти?

Вечером лейтенант Дудин собрал свой взвод.

Удивительно тихо. В садах осторожно перекликались птицы. Словно и не было никакой войны.

Дудин загадочно улыбался. Видно, настроение у него прекрасное.

— Рассаживайтесь, ребята,— сказал он мягко.— Есть важное сообщение. Очень важное!

Они расселись на траве под фруктовыми деревьями.

Расстегнули ремни и верхние пуговицы у гимнастерок, но разматывать обмотки никто не решился. И, хотя расслабились, оружие держали рядом, под рукой.

— Так вот, вчера, третьего июля, в Москве по радио выступил товарищ Сталин,— как-то особенно торжественно начал лейтенант.— Я сейчас зачитаю вам его речь... Слушайте!..

«Товарищи! Граждане!

Братья и сестры!

Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня,— продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы...»

Дудин читал, чуть картавя.

Уже начало этой речи было необычно. И все — необычно.

Алеша помнил, как они изучали марксизм-ленинизм в Академии. Изучали Маркса, Энгельса, больше изучали Ленина, изучали Сталина.

«Вопросы ленинизма» — это, конечно, здорово! И когда писали и произносили, что «Сталин — это Ленин сегодня», то в этом был особый смысл, о чем не писали, не говорили по радио, но о чем говорили между собой они, студенты: Сталин популяризирует, объясняет Ленина применительно к новым условиям. Через Сталина многие из них познавали Ленина.

Сейчас его вчерашняя речь звучала особо. Алеша хорошо помнил все выступления Сталина прежде, но таких слов, такого спокойного, рассудительного, человеческого тона, кажется, не было...

А лейтенант Дудин продолжал читать речь Сталина:

— «...То же самое можно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма...»

Дудин не успел дочитать эту фразу, когда в небе появились осветительные ракеты и командир взвода, сунув речь Сталина в карман, выкрикнул:

— Ребята! В ружье!

Через несколько минут опять команда Дудина:

— К расчету!

Они выкатили пушки, свои 76-миллиметровки, прямо на улицу. Лошадей не было указаний трогать, и пушки развернули так: на запад и чуть на юго-запад.

Наладили оптику.

Алеша не командовал, но ребята знали дело. И оптика в порядке, и снаряды подтащили на руках. И все на главной улице села.

Стреляли с земли; в небе, темном по-южному, было тихо.

Звезды. Большая Медведица. Малая. Еще какие-то известные, но вспомнить их названия было некогда.

— Полная боевая готовность! — бросил лейтенант Дудин и исчез.

Они ждали. В полной боевой готовности. Взвод, расчет, потерявший пять человек за первые дни войны и пока полностью не укомплектованный — всего четырнадцать красноармейцев.

Но все готово.

Вернулся Дудин. Стрельба — ружейная, автоматная, пулеметная — не прекращалась.

— Ребята, десант! С танкетками и мотоциклистами с воздуха! Немцы — переодеты! Так что держитесь! Будем бить прямой наводкой!

Тянулись секунды, а может, даже минуты.

В небе вспыхивали ракеты — зеленые, белые, красные, но, судя по всему, не наши, вражеские.

По команде Дудина произвели три первых выстрела. Прямо с сельской улицы куда-то вперед. В ту сторону, откуда они вошли в село. И где шел страшный бой...

Но выстрелы выстрелами, а уже через несколько минут впереди заурчали немецкие танкетки и мотоциклы.

Немцы, судя по всему, прорвались в село.

— Прямой наводкой! — кричал Дудин.

И они стреляли прямой наводкой в темноту, но, видимо, точно.

Дудин командовал.

Они стреляли.

Сейчас поняли — пехоты рядом нет, им предстоит отстаивать это село от немецкого десанта.

Бой еще не кончился, когда лейтенант неожиданно тихо, но так, что его все хорошо услышали, приказал:

— Теперь, ребята, все! Пушки оставляйте — и вперед! Карабины!

Они пошли за Дудиным вперед по сельской улице.

Немецкие танкетки и мотоциклы продолжали тарахтеть. Хорошо слышно, но ничего не видно.

— За Родину! За Сталина! — вдруг крикнул лейтенант, и они рванулись за ним вперед.

Пробежали горевшую танкетку, пробежали мимо трех мотоциклов и трупов, валявшихся рядом, и снова:

— За Родину! За Сталина!

Бой был коротким.

На границе села добили последних немцев. Почему-то танкеток здесь уже не было, а четыре мотоцикла, по два немца в каждом,— добили.

Дудин приказал забрать у немцев документы.

В горячке бои не поняли, что двое ребят из их взвода ранены. Перевязывали тут же — теперь у них были примитивные пакеты с бинтами и марлями, которые выдали еще в Хотине.

Вернулись в село, довольные, разгоряченные.

Костя Петров по пути спросил:

— А как же речь Сталина? Не дослушали...

Еще раз перебинтовали раненых. К счастью, все ранения оказались легкими. У одного — ключица, у другого — нога. Ранения неглубокие, касательные. Гимнастерки и штаны придется постирать да чуть почистить.

Взвод вернулся на прежнее место, в сад, где Дудин начал читать им речь Сталина, и никто не знал, что делать. Спать, не спать! Дудина не было.

Расположились прямо на теплой земле.

Дудин появился как-то неожиданно:

— Спите?

И, хотя было темно, все заметили, что правая рука лейтенанта перевязана.

— Мы не дочитали речь товарища Сталина,— сказал Дудин.— Как, продолжим?

Он достал карманный фонарик:

— Кто мне посветит? Вы, старший сержант Горсков?

Алеша вскочил и взял у Дудина фонарик.

Не выдержал, спросил:

— Товарищ лейтенант! А вы ранены? Мы не знали...

— Чепуха!— сказал Дудин.— Мы сейчас подсчитали: десант полностью уничтожен. И это заслуга нашей батареи и нашего взвода. Восемьдесят три немца. Четыре танкетки. Двенадцать мотоциклов. Пленных не было. Все убиты. Спасибо вам и красноармейцам других взводов. Может, вы и считали, что мы — главные, но и другие были... А то, что считали, что мы — главные, правильно. Это обеспечило нам успех.

Ребята молчали. Молчали, не понимая, как же командир взвода, командир их батареи лейтенант Дудин был ранен в этом бою, и никто этого не заметил.

Алеша светил Дудину, а тот, непривычно, левой рукой достав из кармана листок, сказал:

— Итак, дальше. Речь товарища Сталина. Продолжаю.— И он читал: — «Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск...»

Лейтенант держал правую руку на перевязи, и в свете фонарика, которым светил Алеша, было видно, что бинты, наложенные на

кисть руки, промокают, становятся красными. Лоб его был покрыт испариной, но читал он вдохновенно, как должно было читать такую речь.

Алеша светил Дудину, но меньше смотрел на него, а больше думал о самой речи.

Какие слова!

Все неясное встает на свои места.

Ведь о советско-германском пакте в свое время чего только не говорили. В потоке правильных, разумных вещей были и всякие небылицы. Имел свое мнение на этот счет и Алеша. Но сейчас он вдруг неожиданно понял, как поверхностны и далеко от истины находились все его суждения...

Но вдруг лейтенант внезапно прервал чтение. Из его рук выскользнула и мягко опустилась на землю газета. Несколько мгновений Дудин невидящими глазами смотрел перед собой, потом упал. Алеша выронил фонарик. Все вскочили, подбежали к командиру.

Его лицо в бликах щедро светящей луны было призрачно белым.

— Ничего, ничего! Сейчас все пройдет! — с трудом повторял он.— Черт те что!

Судя по всему, Дудин сердился на себя. Его раздражала собственная беспомощность, да еще на виду у своих подчиненных.

— Да, ребята,— его голос неожиданно обрел уверенность.— Я вам неправду рассказал о Дей-Неженко. Его труп мы, конечно, не оставили — похоронили. Только не в братской могиле: таким, как он, вместе с героями лежать нельзя. Похоронили отдельно. Так приказал командир дивизиона. Родителям же сообщили как положено: погиб, мол, в боях за Советскую Родину. Они-то не виноваты, что он так...

Кто-то сбегал в полковую медсанчать, и оттуда прибежала девушка-санинструктор, маленькая, круглая как колобок.

Она захлопотала вокруг командира взвода.

Перевязала руку, сунула ему под нос вату с нашатырем.

— Он потерял много крови,— объяснила она солдатам.

Дудин признал ее:

— Моя спасительница! Катя, Катюша... Это она меня перевязала во время боя. Я сейчас, Катя-Катюша, встану...

— Никак нельзя, товарищ лейтенант! — вскрикнула Катя-Катюша.— И не помышляйте!

Командир взвода опять закрыл глаза.

А санинструктор командовала:

— Ребята! Лошадь с пролеткой или лучше с телегой. Отвезем к нам. Хоть и близко, но метров восемьсот... Так что быстро!

Алеша бросился к Лире — она стояла ближе да и была по-

спокойнее Костыля. Впряг ее в крестьянскую телегу, что полегче, и подогнал к палисаднику. Набросал сена, на котором только что лежали, слушая речь Сталина, и на котором собирались спать, если ночь выдастся спокойной...

Ребята перенесли Дудина на телегу. Катя-Катюша вскочила на край, а Алеша взял повод и под уздцы повел Лиру к дороге.

— Ты уж поосторожнее, художник! — крикнула Катя-Катюша.

— Я и так...— сказал Алеша.

«А почему «художник»?— подумал.— И вообще, откуда тут она?»

Санинструктор показывала, куда ехать.

Оказалось, медсанчасть располагается в другом конце села, действительно около километра — село длинное!— в домах и в трех больших палатках.

При подъезде к палаткам Катя-Катюша соскочила с телеги и, бросив: «Подожди!» — убежала.

Вернулась с санитарами, двумя пожилыми мужчинами, лет под сорок, и с носилками.

Дудин был опять в беспамятстве, и они легко перенесли его на носилки.

Командовала Катя-Катюша.

Санитары взяли носилки и понесли их не в палатки, а в один из домов.

— Подожди!— крикнула она Алеше.

Он ждал.

Ласкал Лиру. Хвалил за то, что так спокойно довезла Дудина до медсанчасти. Дал ей кусочек сахара. Хорошо, оказался в кармане. Отвел вместе с телегой в сторону от белых палаток, распустил, дал пощипать травку. Трава сейчас самая хорошая, не тронутая еще летним зноем.

Он впервые попал в медсанчасть и с любопытством наблюдал, что делается вокруг. И в палатках, и в домах шла какая-то непонятная ему жизнь, и, хотя многие бегали, торопились, не чувствовалось суеты. У палаток сидели на траве перевязанные раненые. Кого-то носили и переносили на носилках санитары. Какие-то солидные мужчины и женщины выходили из палаток, что-то обсуждали и жадно курили...

Алеша тоже аакурил.

Прошел час, не меньше, как они привезли Дудина, но о нем никто не вспоминал. «Подожди!» — сказала Катя-Катюша, но, может, она забыла?..

Но откуда она знает, что Алеша художник?

Вот уж, право, наваждение!

Наконец появилась Катя-Катюша. Он заметил ее, выбегающую

из одного дома, но она в темноте, конечно, не видела его и сначала побежала к тому месту, куда они привезли Дудина. Но Алеша уже успел отогнать Лиру с телегой.

Он вышел навстречу:

— Ты! А я жду!

— Слава богу,— буркнула она. И вдруг чуть-чуть перешла на иной тон: — Ищешь вас, мужиков! Ай-яй-яй! Куда ты спрятался, художник?..

Опять — «художник»!

Что Алеше сказать?..

— Как там лейтенант?— спросил он.— Жив?

— Жив? Жив и тебя переживет, и меня, если потребуется,— бросила Катя-Катюша.— Просил тебя дочитать речь Сталина до конца... Какая речь! Мы еще вчера по радио слушали. Потрясающе!

И она замолчала.

— Он будет жить?— снова спросил Алеша.

— Будет, конечно, будет!— воскликнула Катя-Катюша.— А как же иначе? Я его перевязывала в том бою. Хотела госпитализировать. Но он — ни в какую! Вот и результат: потеря крови, обмороки, пульс — пятьдесят. Но говорит: будем живы — не помрем...

— Подожди!— сказал Алеша и добавил: — Подождите! А как же речь Сталина? У меня нет ее. Она у Дудина была...

Катя-Катюша вроде смутилась:

— Как? А он сказал...

— Да нет же у меня, поверь... Поверьте...

Он не знал, как обращаться к ней.

Катя-Катюша. Почти Вера рядом.

Он думал о Вере, видя Катю-Катюшу.

Не пишет! Не пишет! Не пишет!

А Катя?..

Ее слово «художник»...

Откуда оно?

— Я — сейчас,— сказала Катя-Катюша.

Даже Лира, спокойно щипавшая ночную травку, посмотрела на убегающую девушку, как показалось Алеше, осуждающе.

Снова Кати-Катюши долго не было.

По времени, а не по часам. Какие часы у Алеши! В последнем бою была возможность взять часы — трофейные — у убитых немцев. Часы тикали на покойниках, когда они брали их документы, но снять часы с убитой руки никто не решался.

Луна светила вовсю.

Небо было бархатное, словно замешенное на густой краске, с десятками жемчужных звезд. Можно смотреть в это небо до бесконечности, до изнеможения и забыться, ничего не видя и не слыша вокруг.

Белые палатки и белые дома кружились в лунных отсветах. Этот невидимый, волшебно-таинственный хоровод, казалось, сопровождался неслышимой музыкой, в которой присутствовал один неясный, словно стремящийся прервать, уничтожить мелодию гармонии и покоя, мотив...

Вот бы написать такую ночь!

А почему только это?

А почему не этих людей, выходящих покурить из палаток? Мужчин и женщин в белом поверх военной формы?

Темное южное небо. Луна, звезды. Некогда смотреть на небо, но сегодня спокойная ночь...

Все это жизнь, жизнь, жизнь...

А Катя-Катюша, оказывается, перевязывала лейтенанта Дудина, когда они и не заметили, что он ранен.

Дудин осудил Дей-Неженко, но и он же похоронил его, как и других, честно погибших.

Странно, что сегодня в небе нет немецкой авиации.

И на земле — тишина.

Здесь, в медсанчасти, это особенно важно. Тут оперируют, режут, спасают...

Так думал Алеша, ожидая, что его вот-вот позовут.

Позвать мог один человек — любопытная девушка, санинструктор Катя-Катюша, но ее пока не было.

То ли от нечего делать, то ли еще почему, но к нему привязалась песня, опять-таки довоенная, и он тихо бубнил ее:

Расцветали яблони и груши.
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша...

Хотел было прервать это наваждение, но оно продолжалось:

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет!..

Он бубнил мотив этой песни, лаская Лиру, когда опять появилась запыхавшаяся Катя-Катюша:

— Прости, задержала! У нас ЧП было. Умер командир шестой батареи...

Алеша молчал.

Потом спросил:

— А как наш лейтенант?

Катя-Катюша бодро ответила:

— У Дудина все в порядке. Утром — вернется. Но сейчас, право, очень просил тебя дочитать речь Сталина. Вот она!..

Катя-Катюша передала ему текст речи Сталина, уже чуть измятый, с пятнами крови лейтенанта Дудина, помогла запрячь Лиру в телегу и, когда он взял вожжи, вдруг сказала:

— Не забывай, художник! Ладно?

Алеша опять смутился.

— Откуда ты взяла, что я художник?

— Ты меня не знаешь, а я тебя — еще с Долины, Горсков.

Вот уж о чем Алеша не догадывался!

Ударил Лиру, развернулся и, не попрощавшись с Катей-Катюшей, уже безо всякой осторожности погнал обратно к себе.

У палисадника его встретил Костя Петров:

— А мы тебя давно ждем! Ну, как Дудин?

Он рассказал о Дудине. Распрягли вместе Лиру. Отпустили пастись на привязи. Телегу отогнали в сторону.

— А ребята ждут!— сказал Костя.

— Не спят?— спросил Алеша.

— Не валяй дурака!— резко бросил Костя.— Речь Сталина не дочитали...

Ребята действительно не спали, хотя сена натаскали и, видно, поужинали.

— Пожуй,— сказал Костя, давая ему котелок.— Мы поели, тебе оставили.

Он быстро поел что-то холодное и начал читать продолжение речи Сталина. Светил ему фонариком Костя Петров.

— «...В силу навязанной нам войны,— читал Алеша взволнованно и торжественно,— наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом — германским фашизмом...

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину,— создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота!

Все силы народа — на разгром врага!

Вперед, за нашу победу!»

Текст сталинской речи был напечатан какой-то местной типографией в виде листовки — на двух сторонах. А может, и не местной, а армейской. Отпечатан плохо. Алеша читал с трудом. И фотография Сталина на трибуне рядом с микрофонами выглядела бледно. Трудно понять, то ли это нынешний Сталин, выступающий

по Московскому радио 3 июля, то ли ранняя фотография: Сталин, делающий доклад на Восемнадцатом съезде партии.

Когда он кончил читать, ребята молчали, но по глазам было видно, что речь их взволновала.

— А теперь, ребята, спать,— дал команду Алеша.

Он сказал «ребята», как говорил Дудин.

Но речь Сталина...

Война будет долгой, теперь это ясно, но каждое слово, каждая фраза, даже написание букв — где с большой, а где — с маленькой,— за всем этим огромный смысл. Все учтено, до мелочей, которых, может, сегодня они не понимают, но это — на всю войну. И, по существу, ни одного восклицательного знака! Даже там, где можно ставить несколько. Все в строку. Через точку. И за каждой строкой — мысль... И ничто не забыто. Ни Красная Армия и Красный Флот, ни причины отступления, ни задачи тех, кто остается там. Что увозить, что уничтожать, что делать... Партизанские отряды... Шпионы и паникеры... Телефонная и телеграфная связь... Дезертиры и противовоздушная оборона... Угон подвижного состава и ценное имущество... Взрыв мостов, дорог и уничтожение хлеба, горючего, когда их нельзя вывезти... Народное ополчение, Москва, Ленинград и декларация правительства США об оказании военной помощи России...

Все удивительно, все на своих местах, включая написание заглавных и рядовых букв.

О, великий русский язык!

Забытое, далекое, тысячу раз стертое казенными словами в речах и докладах, в газетах и по радио, вдруг возникло в этой речи в новом свете, а во многом и заново восстановилось.

Все знали, что Сталин говорит по-русски с сильным грузинским акцентом. Но Сталина до войны больше читали, чем слушали. Слушали члены Политбюро, реже те, кто присутствовал на съездах и совещаниях, где выступал Сталин. Народ же чаще читал Сталина в газетах — радио в предвоенные годы только входило в жизнь и было далеко не у всех.

Так знал Сталина и Алеша Горсков — неудавшийся художник, бывший студент Российской Академии художеств, красноармеец с 1940 года, а ныне уже и старший сержант 141-го артиллерийского полка несуществующей теперь 96-й горнострелковой дивизии...

Красноармейцы улеглись спать.

Алеше не спалось.

О Дудине думал. О Кате-Катюше. О речи Сталина.

Почему-то задело только сейчас вспомнившееся: «партия Ленина — Сталина...».

Может, Сталин пропустил, когда ему готовили эту речь?

Нет, видимо, так нужно было сказать.

«Партия Ленина — Сталина» — за этим стоит нечто особо значимое. «Отечественная», как сказал товарищ Сталин.

XVI

Вера не писала. И странно, но он не думал о ней сейчас. Вернее, хотел думать, но перед глазами стояла Катя. Катя-Катюша.

Вспоминал Веру, а видел Катю. Даже лицо Верино ушло куда-то из памяти, растаяло, словно в дымке тумана.

А Катя...

Он хотел вырваться в медсанчасть, чтобы хоть издали увидеть Катю, но быстро настал вечер. Поздно!

Несмотря на тишину, они выставили дежурного.

Так было положено, и, хотя никто не подсказывал этого, Алеша и Костя решили сами.

Дежурных распределили с утра. По часу — каждый. Сменяющийся будит заступающего. Ибо знает, кто вместо него заступает на пост.

Странное ощущение — жить без начальства.

Они с Костей старшие сейчас, но остались без старшины и без командира взвода Дудина.

К ним заходили в ту ночь, проверяли — и дежурный по батарее, и дежурный по дивизиону, и даже дежурный по полку, вместе с которым был Иваницкий.

Иваницкий похвалил, когда узнал, что они читали выступление товарища Сталина.

— Мы еще не раз будем изучать его!— сказал Иваницкий.— К слову, товарищ Серов,— обратился он к сопровождавшему его политруку.— Обеспечить такое же чтение во всех подразделениях. В каждом взводе, батарее, дивизионе! Не забудьте хозчасть и медсанчасть! Особенно — новобранцев из западных областей и молдаван!

Алеша с Костей еще не спали.

Пост у них был выставлен. Дежурный точно рапортовал, когда подходило начальство, а сейчас, как в случае с дежурным по полку, да еще самим майором Иваницким, громко кричал:

— Кто идет?

Светлело быстро, как всегда на юге. Очень давно, в тридцатом году, папа с мамой возили Алешу в Евпаторию лечить ревматизм. С тех пор он запомнил южные вечера и ночи.

Костя уснул. Алеша подошел к дежурному.

У того были часы — немецкая штамповка.

— Пять утра,— сказал дежурный.

Алеша проверил лошадей, которые стояли за домом, привязанные к наспех сооруженной коновязи. Лошади полудремали.

— Отдыхайте, отдыхайте,— приговаривал Алеша, гладя добрые, ласковые лошадиные морды.— Еще повоюем...

И вдруг ему почему-то пришла в голову мысль — сходить в медсанчасть. Сейчас, именно сейчас, на брезжущем рассвете, пока такая ночь, что и не поймешь, то ли война кончилась, то ли вот-вот начнется что-то новое, более страшное... И он решился. Прошел мимо дежурного, сказал:

— В медсанчасть. Командира взвода проведать, лейтенанта Дудина. В случае чего, я — там.

Может, и Катю-Катюшу встретит? В медсанчасти. Почему-то очень хотелось!

Улица в предрассветной мгле слева и справа была заполнена: лежали красноармейцы, пофыркивали лошади, стояли повозки, и походные кухни, и пушки, притираясь ближе к палисадникам.

В медсанчасти, когда он пришел, трещал движок, как при кино в клубе, и у палаток дремали перевязанные раненые. В двух палатках горел свет. Он с трудом нашел дом, куда положили Дудина, и открыл дверь.

Суровый, полусонный санитар вышел к нему, спросил:

— Что нужно?

— Я хотел узнать, как лейтенант Дудин?

— Спят они, спят,— буркнул санитар.— Нашел время...

Потом, чуть смилостивившись, переспросил:

— Кто, говоришь?

— Наш комвзвода, лейтенант Дудин. Мы его вчера... То есть ночью сегодня привезли...

— Подожди... Узнаю... Мы тут многих похоронили в ночь. Посмотрю, авось твой лейтенант жив... Подожди только тут, вперед — ни шагу! Заругают!

Старый санитар, лет под пятьдесят, шевеля мокрыми прокуренными рыжими усами, куда-то ушел. Осталась табуретка, на которой он, видимо, сидел, облезлая, со следами старой, темно-красной краски, и поставленный рядом с табуреткой на попа зарядный ящик, где лежала выцветшая газета, а на ней — крошки и алюминиевый котелок с такой же алюминиевой ложкой.

Алеша продолжал стоять.

Наконец снял карабин с плеча, поставил на пол. И карабин и патронташ — тяжелы. Некоторые ребята уже приобрели немецкие, довольно легкие автоматы. У некоторых трофейные отбирали, у других автоматы остались. Алеше тоже надо в каком-нибудь бою рискнуть. В конце концов, они с Костей Петровым теперь старшие сержанты.

Появился санитар. Спросил спокойно:

— Ты кто?

— Дудин,— сказал Алеша.— Я к нему. А я — красноармеец Горсков...— И, сообразив, что представляется по-старому, добавил: — Старший сержант Горсков! А что?

— Ничего, доложу,— сказал санитар.— Командир твой не спит, но просил узнать, кто пришел. Счас...— Потом обернулся, добавил: — Ты сядь на табурет, ежели устал. А то стоишь, как на посту... Смешно даже. И оружие свое не держи так... Тут тебе — медицина. Жди, счас...

Алеша не сел на табурет, но уже чувствовал себя более свободно. Значит, Дудин жив. Это было каким-то внутренним оправданием тому, что он пришел сюда.

Шел сюда к лейтенанту Дудину, а думал о санинструкторе Кате-Катюше. Тянуло к ней! Санитар пришел, сказал:

— Товарищ лейтенант Дудин просил передать, что завтра, сегодня, что ль, иль завтра, нет, сказал «завтра», вернется к вам. Пущать к нему нельзя не потому, что он плох, а потому, что рядом тяжелые раненые... И еще, как он сказал, будем живы — не помрем. Хотел повидать тебя, но завтра увидит. И, дай бог памяти, ты кто? Художник, что ли? Сказал, что Горсков — так твоя фамилия?— художник и пусть рисует, пока тихо. Вот все. Вроде ничего не забыл... Кажись, ничего...

Алеша вышел на улицу. У калитки дремали раненые.

Он походил, постоял, опять походил... Искал Катю.

Ее не было.

И пошел к себе, когда уже стало почти светло.

XVII

Они отступали с боями в сторону Днепра. Потом в районе Каховки форсировали Днепр. Отступали под бомбежками и форсировали Днепр тяжело. Хоронили убитых.

На сей счет был строгий приказ командира полка майора Иваницкого, который они узнали от нижестоящего начальства:

— Своих героев хоронить всех! На поле боя не оставлять! Не бросать! С почестями хоронить! Отступаем, но вернемся. Слава их с нами! Прошу не забывать: списки погибших. Обязательно сообщать родственникам и близким. Обязательно. Даже когда тяжелая обстановка...

Полковая колонна была странная, конечно, если посмотреть со стороны. Бывшая 96-я горнострелковая дивизия до войны, наверное, выглядела не так. Да и их 141-й артиллерийский полк. И пусть техника и внешний вид сейчас были не те, бог с ним, с внешним видом! Появилась не залихватская казенная, лозунговая, слепая уверенность: «Нам все нипочем!», «Да мы их, этих

задрипаных немцев!..» — а уверенность с отчетливым пониманием того, что война долгая, трудная, какой никто и не предвидел. И воевать, даже отступая, надо с умом... Конечно, кто-то не выдержал испытания новым мерилом. Люди, подобные, например, Дейнеженко, кричавшие больше всех до войны, оказались далеко не лучшими солдатами. Другие с честью погибли. Как командир дивизии Скворцов, как многие бойцы и командиры дивизии, которые вступили в бой там, на новой границе, 22 июня и не вернулись оттуда, как Проля Кривицкий, как Ваня Дуриусов, как Ивась Лада, как другие «западники», похороненные потом в братских могилах...

Алеша сидел на Костыле, за ним, где-то в глубине колонны,— он знал это!— Лира тащила один-единственный оставшийся чудом зарядный ящик.

Каховка! Странное ощущение!

Про Каховку знали до войны по песне Светлова:

> Каховка, Каховка!
> Родная винтовка!
> Горячая пуля, лети!

И дальше:

> И девушка наша
> В походной шинели
> Горящей Каховкой идет...

Вот она — Каховка! Неужели это в самом деле?

И колонна есть колонна. Всадники. Орудия.

Но сейчас Каховка позади...

Один зарядный ящик — все, что сохранилось.

Дальше лошади со странными беговыми дрожками, извозчичьими пролетками, колхозными подводами — примитивными, на обычных колесах, и самыми новейшими, длинными, к которым никто не привык, на резиновых шинах.

И в дрожках, и в пролетках, и на подводах — знакомых и незнакомых — было оружие: снаряды, патроны... Вся положенная в армии амуниция. И — раненые. Те, кто не попал в госпиталь, но ходить не может...

А медсанчасть с хозвзводом тянулись в конце на двух трехтонках — грузовиках «ЗИС-5».

Там, видно, была и Катя.

Катя-Катюша, которую он, Алеша, так и не повидал больше в медсанчасти, когда ходил туда под утро.

В Марфинке, куда они пришли под вечер, началась артиллерийская перестрелка. Без конца меняли огневую позицию, стреляли, но рядом стоял другой артполк. Его огонь был активнее.

Лейтенант Дудин, пытаясь выяснить обстановку, хотел с огневой позиции позвонить на наш НП. Выслали вперед взвод управления — разведку и связь. Но ничего не добились. Перешли немцы Днепр или не перешли? А может, перешли в другом месте?

Батарея и их, дудинский, расчет продолжали вести огонь за Днепр. Стояли рядом, обосновавшись в приднепровских балках.

Через Днепр переправлялись беженцы. Не те, западные, которые были в Долине и Кутах, в селе Ивася и вплоть до старой границы, а те, кто жил, как и они, при советской власти. Дети, бабы, старики шли впереди отступающих и позади них. Шли пешком, только с тележками и детскими колясками, без лошадей и подвод, оборванные, замызганные, с плачущими детьми на руках и по-взрослому серьезными малолетками рядом.

Дудин командовал расчетом, который бил по невидимым немцам. Потом вдруг крикнул:

— Отбой!

И гнал к Днепру спасать беженцев.

Беженцы переправлялись на лодках, на плотах, на бревнах, на досках, а то и вплавь: тонули, гибли, но кого-то вытаскивали на берег. Детей и женщин в первую очередь.

Алеша, Костя сами насквозь были мокрые. В воду бросались в одежде. В ботинках и обмотках. Снимать — некогда. Кто-то ревел от радости. Кто-то кричал, потеряв в Днепре близких. Немцы, слава богу, прекратили огонь. И неожиданно все стихло. Перешли немцы Днепр или не перешли? Могли перейти справа. Могли слева. Но тут, на их участке,— явно нет. Марфинка — большое село. Зелено-белое. Зелень — сады, огороды, деревья, трава. Белое — хаты.

Хаты — целые. На многих плакаты первых военных дней, распоряжения военкомата, написанные прямо на стенах лозунги. А сверху безбрежное, чистое небо, и вокруг поля, уходящие к горизонту, со стогами прошлогодней соломы и воронками от немецких авиабомб. Воронки заполнены уже водой. Тополя шелестят на улицах Марфинки, высокие, подпирающие небо, и растет вдоль дорог кустарник — то ли боярышник, то ли что-то другое с не созревшими еще беловатыми ягодами.

По канавам бродят куры и утки, лежат на солнцепеке разомлевшие собаки и кошки, вокруг конского помета крутятся жирные воробьи.

Изредка по дороге проедет скрипучая телега или проскочит мальчишка на лошади с почтальонской сумкой на боку, хотя неизвестно, кому и откуда сейчас ждать почты.

Глухо гудят пока электрические провода на почерневших столбах, и солнце высвечивает на них белые изоляторы.

Жители почти все на месте.

Встречают как родных.

Только опять:

— На кого же вы нас покидаете? Неужто не задержите и немец сюда придет? Ведь Днепр!..

Беженцы останавливались в Марфинке и уходили дальше.

141-й полк оставался. Успели снять и высушить обмундирование, пока не было никаких команд. Даже отдохнуть. Впервые за долгие дни и недели. Одежду сушили на солнышке.

Алеша разделся, как и все. Сушил одежду, как и все. Блаженствовал на солнышке, как и все.

Думал о медсанчасти. Где она сейчас? Тут же, в Марфинке? Конечно, тут. Но село большое — километра три, не меньше. И Катя-Катюша...

Он не видел ее, когда они переправлялись через Днепр. И раньше, в Каховке, не видел.

Гремела атака, и пули звенели,
И громко строчил пулемет.
И девушка наша в походной шинели
Горящей Каховкой идет...

Песню опять вспомнил и ее, Катю-Катюшу...

Жива ли она?

И вдруг неожиданно мысль: написать бы ее на фоне Каховки или на фоне Днепра... И беженцы, переправляющиеся через Днепр, и они, промокшие, только после боя, их спасающие. Или эта Марфинка с ее теперешней тишиной. И они, полураздетые, уставшие, но в общем-то сильные и даже красивые...

Но нет-нет. Это когда-то потом.

Зашел политрук Серов:

— Отдыхаете? Отдыхайте! Отдыхайте!

Костя вскочил, полуголый.

— Сиди, сиди! — сказал Серов.

Помолчал.

Один из «западников» о чем-то спросил политрука.

Алеша не расслышал, но Серов, видно, понял:

— Воевать будем! А сводки плохие, ребята! Немец прет!

И до вечера в Марфинке ничего не изменилось. Прошел слух, что где-то хоронили убитых и умерших от ран. Вроде и беженцев, которых вынесли из воды, утопших хоронили вместе — в одной братской могиле. Но это было в другой части села, далеко от их батареи и взвода. У них погибших не было.

Об этом рассказали Саша Невзоров и Женя Болотин, которых Алеша не видел еще с Каховки. У Жени было чуть задето осколком левое плечо, касательное ранение, — чепуха! Оказывается, во время переправы через Днепр.

Они рассказали и про Славу Холопова:

— Жив! Отправили в тыл!

Эта весть из медсанчасти полка. Их батарея рядом. Там Женю перевязали.

В палисаднике, где расположился взвод, на сей раз поместились все: и люди, и лошади, и единственный зарядный ящик, и странная «буржуйская» пролетка — таких не было даже в начале тридцатых годов у извозчиков в Ленинграде!

Под вечер выставили пост.

Странная штука!

Бой — нормально.

Марш — нормально.

Все нормально, когда стреляют на земле и с воздуха, все ко всему готовы и действуют безотказно. А Алеша это уже не просто видел, а понимал.

А как передышка, на час-два, на сутки — самое большее! — ворчат, матерятся... Свои — прежде всего, а не «западники» — те безотказны.

И выставить пост целая проблема.

И у них особенно: начальства нет.

Бывший, разжалованный старшина Хохлачев стал самым ленивым красноармейцем. Поначалу его жалели, но потом плюнули. И в каждой заварухе был последним. «Шкуру бережет!» — как-то бросил Костя Петров. Да и сейчас, в Марфинке:

— А почему я? — это когда его посылали на пост.

Кто-то говорил, что во время переправы через Днепр, когда все готовили плоты и плотики, работали как проклятые, чтобы лошадей и орудия переправить, Хохлачев больше суетился, чем работал.

Алеша не видел этого, но другие говорили — так.

Никогда Алеша не матерился, побаивался всякого начальства, и Хохлачев — как-никак бывший старшина, да и старше его по возрасту, а когда услышал это: «А почему я?» — сорвался.

— Ты что! — хотел сказать: «Сволочь!», но вырвалось другое, более резкое: — Б... ты несчастная! А ты слушай, что ребята говорят!

Как раз он сменил Хохлачева.

Его в три заменил Костя Петров.

Поговорили.

— Спать ведь не будешь? — спросил Костя.

Уже начало чуть-чуть светать.

— Не знаю, — сказал Алеша. — Вроде не хочется... Хохлачев этот, будь он... — Не договорил.

— Сходи ты в медсанчасть. Не валяй дурака. Пока... А то мало ли что потом...

Алеша оценил. Шутили-шутили над Костей, а ведь все понимает! Умница!

— Сходи, сходи! Вдруг встретишь...

Он не назвал имени Катя, но оба поняли.

— А не засекут?— спросил Алеша.

— Иди, иди и не морочь голову! Говорили же Болотин и Невзоров, что рядом...

И Алеша решился.

Сначала хотел отпроситься у Дудина, чо лейтенант спал. У вяза, что стоял у полувысохшего ручейка, на задворках, где мирно похрапывали их лошади — крепкие, приземистые, с коротко подстриженными гривами и хвостами. Дудин спал, чуть прикрывшись шинелью, потертой и прожженной, и только правая его рука, перевязанная чистыми бинтами, на перевязи через шею, как-то неестественно ярко белела.

Алеша похлопал Костыля и Лиру (не было ничего ни в руках, ни в карманах!), а заодно Соню и Мирона и пошел обратно к воротам.

Подумал почему-то при этом: сколько же лет лейтенанту Дудину? Не думал раньше, а сейчас увидел его спящее лицо — бог ты мой, какое молодое! И капелька слюны с левой стороны рта, на фуражку. Как у маленького... Кажется, и он, Алеша, так пускал слюну во сне — в далеком-далеком детстве. И когда-то до войны, до Академии, нарисовал спящего ребенка-голыша с такой же слюнкой на белой подушке. Себя, видно, вспомнил, и потому получилось. В школе — в восьмом или девятом классе — похвалили и отправили рисунок на какую-то районную или городскую выставку...

Он пришел в медсанчасть полка.

И здесь, как и прежде, стояли белые палатки, но никто не суетился вокруг них, и раненых рядом не было. Два шофера возились со своими «ЗИСами» и тихо переговаривались, покуривая самокрутки. Алеша подошел, покурил с ними, поболтал.

— Раненых нет, всех поубило,— сказал один шофер.

— Которые были — померли. В ночь похоронили,— добавил второй.— А ночью — никто. Отдыхают. Замордовали их, дохторов...

— Пусть спят... Нам-то что! А им — наступай, отступай — все работа!.. Я бы его, сволочь, к расстрелу, а им приказано — спасай! Дохторы!

— А шофер что, лучше?!

— Не лучше, а дохтор — это тебе не баранку крутить!

Обсудили другие новости, другие проблемы. Сейчас все были политиками. Каждый имел свою точку зрения. И Алеша снова вспомнил Дудина, когда один из шоферов спросил:

— Ты-то, хлопец, какого года рождения?

— Семнадцатого,— робко признался Алеша, но, оказалось, попал впросак.

— Не мальчик,— сказал один.

— Такие взводами и батальонами командуют,— сказал второй.

— Это нас нелегкая занесла! Шоферы, шоферы! Да еще при медсанчасти! Да я бы лучше — вперед! А тут...

Он искал Катю, а Катя нашлась сама. Выбежала не из белых санитарных палаток, а откуда-то слева, и он сразу узнал ее.

Бросил шоферов, ничего не понявших, и рванул к ней, боясь, что вдруг ошибся.

Катя в расстегнутой гимнастерке, без ремня, внезапно исчезла. Он пробежал мимо белых палаток туда, левее, где она вроде появилась, стремительно бросился дальше, вглубь, ничего не понимая, и вдруг, увидев ее, ужаснулся: Катя, подняв юбку, присела по своим делам...

Это потом — в сорок втором и особенно после сорок третьего, в сорок четвертом и сорок пятом, когда женщин на войне будет больше, все станет гораздо проще:

«Мальчики, напра...!»

«Девочки, нале...!»

А на открытых местах, в каком-нибудь безлюдном поле:

«Мальчики, стоп! Прикройте! Только, чур, спиной! Мы быстро!»

Сами «мальчики» тогда не очень стеснялись девочек, делали все, что нужно,— под колеса машин и телег, в кюветах и за любой ближней постройкой, а девочек прикрывали. И выстраивались на открытой местности — спиной к ним. Ведь женщинам на войне было тяжелее, чем мужчинам.

Но это все потом.

А тут Алеша обалдел.

Отвернулся. Шагнул назад. Но боялся потерять Катю. А вдруг это и не она? Если ошибся?

Катя сама подбежала к нему:

— Ты?

— Я, а что?— только и мог мрачно сказать он.

— Ты с ума сошел! Тоже выбрал подходящий момент!.. Тебе не стыдно?..

Но глаза ее были такие, что он тотчас забыл о неловкости и ошарашенно смотрел на нее.

Катя была явно в тысячу раз умней его.

— Нашел меня, художник? Все-таки нашел?

Он молчал.

Потом, словно вспомнив что-то, с трудом выдавил:

— Тихо сегодня...

Она ответила резко:

— Тихо бывает перед бурей... О Дудине твоем еще спроси! Жив твой Дудин и будет жить, если...

Алеша сказал еще одну явную глупость:

— Дудин спит сейчас... Я отпроситься хотел, но он спит...

— Зайди, раз уж пришел. Только не перепутай: ко мне, а не к Дудину...

Рядом с большими белыми санитарными палатками стояло странное на вид небольшое темно-зеленого цвета сооружение из двух или трех плащ-палаток.

— Влезешь?— спросила она.

Он влез, хотя это жилье явно не было рассчитано на его рост. Катя — маленькая, а он — метр восемьдесят три.

В палатке было темно и тесно, но Катя быстро что-то сообразила и зажгла свет: гильза от патрона с фитильком, опущенным в полулопнувший граненый стакан. Алеша в первый раз увидел такое сооружение для огня.

А Катя была деловита, и потому он еще больше смущался.

О чем только он не передумал, когда рвался к ней, сколько раз мысленно прорепетировал те первые, самые нужные слова, которые он скажет при встрече. И вот эта встреча случилась, а он сидел молча.

— Выпить хочешь?— спросила она.— У меня есть спирт... По глотку можно...

Он хотел сказать «хочу», ибо выпивать приходилось и в войну, и до войны, в сороковом, хотя тогда хитрили и делали это подпольно, но снова ничего не сказал.

Катя налила:

— На! Давай выпьем! Не могу только понять, что ты во мне нашел...

Сделала она это с очень уж нарочитой бравадой, и Алеша понял, что она тоже смущена и растеряна.

Он выпил. Половину или даже больше граненого стакана. Чуть не задохнулся.

Из глаз Кати посыпались слезы, она судорожно стала хватать ртом воздух.

— Ну как, художник?— наконец выдавила она.— Девяносто шесть градусов!

Он, казалось, не опьянел, но сразу осмелел:

— Какой я художник!

— Ладно, ладно, я шучу,— сказала Катя.— Кстати, это ведь я от Кучкина узнала, что ты рисуешь. Помнишь? Он начальником клуба у вас был...

— Конечно, как не помнить! Такой...

— Похоронили мы его вчера вечером. Вместе с другими. Двадцать три человека... Опять — братская.

— Как?— Алеша даже не понял.

— Вот так. Шальная мина, в живот,— пояснила Катя.— И знаешь что: очень прошу, береги себя!

Это она произнесла умоляюще, как заклинание.

...Чуть светила коптилка в крошечной палатке.

Алеша целовал Катю, она почти не противилась.

...И весь мир словно исчез, остались только он и Катя, шептавшая какие-то ласковые слова... Он почти не слышал этих слов, но потом в памяти вдруг резко обозначилось:

«Зачем я тебе, такая старая, нужна?»

«Я же, дурачок, намного тебя старше!»

Что он говорил, не помнил. Вроде оправдывался.

...Они расстались, когда было совсем светло. То ли она заторопилась, то ли он. Может, и он?

Катя оделась, привела себя в порядок и вдруг сказала:

— А ведь ты не меня любишь!

Он не понял. И ответил обиженно и явно невпопад:

— Почему? Зачем ты так?..

Она улыбнулась, и, кажется, грустно:

— Да нет, просто так... А ведь я тебя еще с Долины...

Алеша снова повторил:

— Зачем ты? Почему?

И добавил, когда она промолчала:

— Мне так хорошо с тобой. Подумаешь — четыре года! Разве об этом надо сейчас говорить!

— Не о том я,— Катя подняла глаза. Ресницы чуть горько и обиженно дрожали.— Ведь замужняя я... Была... И дочка у меня, Ксана... С мамой осталась в городе Юрьевце. Слышал такой? Дочке пятый год пошел. А Юрьевец — на Волге. Ивановская область.

Алеша ничего не понимал. Дочка. Ну и что! Юрьевец — не слышал, но Ивановскую область, конечно, знает. Не был, правда, там, но знает... Так в чем дело?

— Катюша, о чем ты? Неужели ты думаешь...— начал он.

— Береги себя,— остановила его Катя.— А я о чем? Ну, как тебе сказать... ты ласкал меня, а называл Верой, Верочкой...

Вечером пришло долгожданное письмо из Ленинграда. От мамы и баб-Маяи. О Вере в письме ни слова.

XVIII

У лошадей, старых, довоенных, красноармейских лошадей, сейчас, в войну, проявилась поразительная реакция — и привычка!— на выстрел. У сохранившихся в живых порой больше, чем у них, красноармейцев, было спокойствия, выдержки и готовности сделать все, что нужно,— без суеты и паники...

Но вот на выстрел или даже в предчувствии его лошади вздрагивали, а то и вставали на дыбы.

Ко всему они так трудно привыкали до сорок первого... А сейчас тянут на себе такое, что им, горновьючным, до войны и не снилось. А как тянут!..

Глупо сейчас думать о лошадях, когда гибнут люди, но он, Алеша, думает...

Он любит лошадей и до войны мечтал о всякого рода живности. О собаке и кошке. Об аквариуме с рыбками и клетке с птицами. О морских свинках и черепахах. Об ужах и ящерицах. У некоторых из его соучеников по школе такие животные дома водились, а у него — никого. Он не раз просил маму и папу, баб-Маню, но сам понимал: ничего не получится. Мало ли что у кого есть. У него и трехколесного велосипеда, о котором он так тогда мечтал, и даже часто, забившись куда-нибудь, где его никто не мог найти, плакал редкими слезами, не было в детстве. Не имел он потом и двухколесного, хотя у некоторых его сверстников редко по тем временам, но были.

И опять вспоминал и ругал себя.

Был у них в школе один парень в восьмом классе. Записался в конноспортивный клуб «Спартака» и, уже когда учился в девятом, стал чемпионом Ленинграда. Валя Глущенко — так его звали. И все завидовали ему, а он, Алеша, может, больше всех, но почему-то не решился тогда спросить разрешения у родителей записаться в конноспортивный клуб. Почему? На это он не мог даже сейчас, став взрослым, ответить. Родителей боялся или заранее, пусть еще неосознанно, прочил себе нелегкую судьбу художника? Кто знает... Или — одно, или — другое, или?.. А Валя Глущенко, когда Алеша уже занимался в Академии художеств, как говорили, не успев кончить Технологический институт, попал на Карельский перешеек в конную разведку... И погиб. Погиб, как там же погиб и отец. Алеша долго почему-то завидовал Вале Глущенко. И до Красной Армии — в сороковом. И в армии, когда попал в «лошадиную» 96-ю горнострелковую дивизию...

Он чувствовал себя полезным, умеющим рисовать в Долине и потом в Кутах, когда не было войны... И не один. Саша Невзоров и Женя Болотин делали то же. С до войны привыкли, с Ленинграда...

А в той же Долине — вдруг вспомнил — не художнические его способности пригодились, а почерк. Да, почерк!

Это Катя вспомнила.

Напомнила: когда они были в Марфинке...

Она не знала, хваля его, а он вспомнил.

Оказалось тогда, в Долине, что почерк у него хороший. Из клуба как «художника» выпроводили, а «почерк» — помог. Он

писал распорядок дня, каждый день с вечера — на будущий день...

Потом это повторилось в Кутах...

Там он тоже писал распорядок дня и реже лозунги, плакаты... Были в дивизии и в полку не менее способные, которые прекрасно делали такую работу...

Ах, Катя! Катя-Катюша!

Смешная, глупенькая, но какая умница!

Все, что произошло между ними, было чудо! И ее слова при этом!

Но какой же он? Идиот? Глупец? Дурак?

Он — права она! — шептал ей что-то о Вере.

А у нее дочка Ксана. И она из незнакомого города Юрьевца на Волге, на которой он тоже никогда не был...

А из памяти, среди множества других слов, сказанных Катей в ту ночь, почему-то не выходили эти: «Пожалуйста, береги себя!..» Была в них словно какая-то неведомая то ли тайна, то ли власть, делавшие Алешу и сильнее и самостоятельнее. Он стал кому-то очень нужен. И почувствовал вместе с тем свою ответственность за другого человека...

...Из Марфинки они начали отходить неожиданно, не веря, что отступают, в середине дня.

Отходили с боем.

Дудин снова командовал:

— Бронебойными!.. Огонь!

Добавлял:

— В случае чего — круговую оборону!

Его правая рука опять промокла кровью через бинты.

В перестрелке погиб Сноб... Отличный конь!

И гибли люди — молодые и совсем старички. Но их взвод пока обходило.

Отступая, они держались своим взводом.

Немцы ударили слева.

Там был лес и заросли кустарника. Или это болото перед лесом? Или кустарник растет по берегам невидимой речки?

Перед лесом и кустарником поле. Метров триста, четыреста. Немцы шли оттуда.

Во взводе осталось двадцать четыре из тридцати, когда они отступали из Марфинки.

Полк отступал, а их взвод оказался прикрывающим.

— Картечью! — кричал Дудин и стрелял левой, здоровой рукой из трофейного немецкого автомата.

Немцы на мотоциклах приближались.

— Танков нет, ребята! — опять Дудин. — Не бойтесь! Картечью! Картечью!

И давал команды.

Все — на глазок.

У Дудина и бинокля не было. А стереотруба, буссоль — все, что было прежде,— давно потерялись, вышли из строя...

Картечь помогала.

Немецкие мотоциклисты поворачивали назад и влево и вправо, но за ними шли цепи пеших.

Пока стреляли из орудий, «западники» помогали.

По команде лейтенанта бегали куда-то и на руках подносили снаряды.

Дудинский ординарец из «западников», с лошадью командира взвода, был особенно на высоте.

— Богдан! Давай! — кричал ему Дудин.— Снаряды! В пятую и шестую батарею, пока не ушли! Быстрее!

И Богдан подбрасывал снаряды, да не раз и не по одному, а по три-четыре, погрузив на лошадь, и один — в руках.

Лошадь лейтенанта звали Славкой. Алеша не знал ее до войны. И в войну только слышал имя лошади Дудина, видел ее, но, когда уходили через Днепр, понял, что Славка спасла Дудина, а он, уже на выходе из воды, спас Славку. Ее чуть не убило, но лейтенант и ординарец отбросили лошадь в сторону от летящего снаряда, прикрывшись ею... Славка была спасена чудом, и Дудин со своим ординарцем...

Было ощущение, что, кроме их взвода, в селе уже никого нет. Значит, и медсанчасть ушла, и Катя?

Ушли ли? Благополучно ли?

Немцы залегли.

Дудинский ординарец опять исчез со Славкой за снарядами, когда они еще стреляли картечью, и долго не возвращался.

— Прекратить огонь! — приказал Дудин.— Орудия — на дорогу! Будем отходить!

Минута затишья. Успели вытащить орудия. Не разбирая, впрячь в лошадей и подготовить взвод к отходу.

Алеша, Костя и еще шесть ребят заняли круговую оборону. По приказу Дудина они залегли с карабинами против теперь уже довольно чахлой, тоже залегшей немецкой цепи и отстреливались.

Хотелось пить. Было жарко. Рядом — недозрелые арбузы, огурцы. Хватали огурцы. Пить хотелось из-за жары, а может быть, еще больше от волнения. Рот пересыхал...

Полк отходит или уже отошел; они оказались последними, но немцев отбили, и Дудин спокойно выводит на дорогу взвод — людей, орудия, лошадей.

Залегшие немцы стреляют редко. И они. Четыре разбитых картечью мотоцикла и убитые немцы — рядом — это их реальная работа...

Вдруг подбежал Дудин.

— Ребята! И ты, Петров, в первую очередь! — сказал он, чуть запыхавшись. — С сей минуты ты старшина взвода! Не спорить! Не обсуждать! Мог бы быть и Горсков! Отличный красноармеец, но слишком интеллигентен! Не обижайся, Горсков! Уважаю, но... Пошли! Бросайте свои позиции! Надо выбираться!.. Будем живы, не помрем, а не помрем, так будем живы!

Они выбрались на дорогу.

Оказывается, ординарец Дудина появился только что, да не только со Славкой, а еще с одной лошадью — брошенная! — и привез десять снарядов. Их перегрузили с телеги и пролетки в единственный сохранившийся зарядный ящик и двинулись из Марфинки. Новая лошадь, имени которой не знал никто, даже Богдан, ерепенилась и всем мешала.

Только потом поняли, что у нее слишком короткие стремена. Пришлось переседлать.

Своих впереди уже не видно.

А они неожиданно подошли к полустанку.

Там были немцы.

Дудин дал команду закрепиться в малом лесочке, рядом с полем, на котором росли недозрелые арбузы и недозрелые огурцы. По-прежнему хотелось пить и людям, и лошадям, но ни арбузы, ни огурцы не утоляли жажду.

Им надо было пересечь железную дорогу, точнее, насыпь ее, но там немцы.

На пути к насыпи оказалось небольшое болото с высокими головками камыша, с осокой и буйным разнотравьем. Неведомо как возле болота выросли два подсолнуха — с ярко-желтыми головами и крупными листьями. Они были видны даже издали.

На самой насыпи вяло щетинилась чахлая травка, и среди нее, будто их кто-то случайно рассыпал, красно-малиновые и белые цветы.

Насыпь белела дробленым камнем и матово отсвечивала металлом рельсов.

Богдан обнаружил, что за полем и за болотом, перед насыпью, есть колодец. Вызвался сходить.

Вернулся, принес четыре неполных котелка воды.

Немцы не стреляли.

Хватило только по глотку.

День катился к вечеру, а жара все равно морила.

— А лошади? — спросил Дудин.

Рука у него еще была перевязана, но болела, видно, меньше. Он уже держал в ней и пистолет, и котелок, и ложку во время еды...

Алеша вызвался помочь Богдану.

Лейтенант согласился.

Каждый взял по четыре котелка, и они по-пластунски двинулись через поле к колодцу, который, на счастье, оказался у самого края насыпи.

Немцы пока молчали.

И только когда они вернулись с полуполными котелками, открыли песильный огонь по леску.

— Тоже, сволочи, пить захотели! Смотрите! — сказал Дудин, глядя в бинокль. — Не стрелять! Пусть!

Оказывается, немцы тоже рванули с котелками и с какими-то канистрами к колодцу.

Горсков и другие ребята порывались стрелять.

Но лейтенант остановил их, с каким-то пренебрежением повторяя:

— Пусть, пусть!..

Чуть-чуть напоили лошадей, включая безымянную немецкую.

Уснули.

Спали крепко час или полтора, пока не прозвучала команда:

— Подъем!

Минометный обстрел со стороны немцев и крохотные их броневички, за ними — мотоциклисты. Броневички и мотоциклисты шли не на них, а вдоль железнодорожной насыпи влево.

Горсков и его товарищи развернули два орудия и ударили по немцам. Те почему-то почти не отвечали на огонь, а стремительно уходили в сторону.

Всех радостно наполнило ощущение пусть маленькой, но победы. Горели два броневика. Бежали, падали и опять бежали немцы и уходили, уходили от боя!

Под утро взвод пересек железнодорожную насыпь левее полустанка и вышел в степь. Немцев было не видно. Только одинокие «рамы» изредка появлялись в небе, да и то... Теперь уже все знали, что «рамы» не стреляют. Надо бояться «мессеров», а они, к счастью, не появлялись.

Откуда-то со стороны неожиданно подъехал Иваницкий:

— Твой взвод, Дудин, на высоте! Немцев тряхнули! Удрали, недобитые... — И тут же добавил, то ли всерьез, то ли в шутку: — Прикурить ты им дал! Хорошо! Но слышал, что ты им и напиться дал. Так? Или, может, брешут?

— Не совсем так, товарищ комполка, — пытался возразить лейтенант.

Но Иваницкий перебил:

— Ладно, не оправдывайся, знаю! Руку свою береги, людей своих, а этих... Никакой пощады! Вот так! Бывай!

С малыми остановками они прошли за день километров тридцать — сорок. На пути оказалась вода. В деревнях им выносили холодное молоко и был даже мед: в разрушенных селениях всюду

ульи, пасека за пасекой, даже там, где почти не оставалось жителей.

Во взводе нашлись — из «западников» — специалисты по пчелам, включая Богдана, но их раз-два и обчелся. Остальные же открыто подходили к ульям, не подозревая о грозящей опасности, и пчелы жестоко мстили: целыми роями бросались на лошадей, на красноармейцев.

Богдан пытался как-то помочь этой беде, давал советы, которые в данной обстановке были совсем бесполезны, возмущался то ли пчелами, то ли товарищами по взводу, но смысл всех его слов сводился к одному: «Война! Война! Немцы проклятые! Даже пчел встревожили. Вот они и беснуются! Жалко...»

На остановках жарили блины на комбижире. Блины или оладьи? Скорей — оладьи.

И вновь пути-дороги, дороги без дорог и пути без путей...

Вперед, вперед, но, увы, не на запад...

Костя Петров стал прекрасным старшиной взвода. Не давил, не командовал, нарядами «вне очереди» не разбрасывался...

Кажется, сам страдал из-за своей власти. И часто многое пытался делать за других. Но другие, в том числе и он, Горсков, почти никогда не пользовались этой возможностью... Наоборот, старались и выручить, и поддержать Петрова, а если можно, и подменить. После Хохлачева и Дей-Неженко Петров — приобретение!

XIX

В маленьком — дворов тридцать — безлюдном, обугленном украинском селе они остановились на ночь.

Ночь выдалась тихая и темная, хотя и светила бледная луна. Мрачно торчали печные трубы и развалины стен, побитые колодцы и изрешеченные осколками тополя. Одинокая тощая кошка с горящими глазами-фонариками бродила по пепелищу и порой страшно мяукала. Слабый ветерок шелестел клочьями газет и бумаги, подгорелыми фотографиями и разносил пух разорванных подушек и перин. Треснувшие стекла в сохранившихся стенах грустно вздрагивали, готовые вот-вот рассыпаться.

Накануне боя не было, обошлось без потерь, и немецкая авиация странно бездействовала.

Ночь. Луна. Спящие красноармейцы. Похрапывают лошади, пощипывая выжженную солнцем траву.

Он вышел на пост.

Трещали цикады.

И опять в памяти Ленинград: дом на Марата, Академия художеств, Верин дом на далекой Лахтинской.

Может, просто детство? Но — нет!..

Думал, а гнал мысли об этом...

Был Верин дом, а Веры не было. «Не пишет, и ладно!»

Хотя какие письма сейчас?

Но и в суете отступления еще два письма от мамы и баб-Маяи пришли. Слава богу, живы, о нем беспокоятся. Больше о себе ничего.

Он ответил наскоро, в конце мельком, как бы попутно, спросил про Веру.

Письмо отправил на относительно большой железнодорожной станции с эшелоном тяжелораненых, уходящим в тыл. Сопровождающий санитар обещал бросить письмо в первом тихом городе...

Так что, если эшелон не разбомбят, а немцы бомбят их часто, письмо должно дойти.

И все же, все же:

...А мы живем,
Страдая и любя,
И невозможное
Становится возможным.

Художник?
Приоткрой чуть-чуть себя
И нарисуй простое —
То, что сложно.

Чьи стихи — он не знал.

Или сместилась память и стихи эти вспомнились после войны, даже много позже — лет двадцать назад?..

Но сейчас эти стихи наложились на память сорок первого.

И на те дни отступления...

А обстановка была тяжелая. Это понимали все. И красноармейцы, и командиры. Но о ситуации на фронте в целом и ситуации здесь, на юге — на их Южном фронте и на соседнем Юго-Западном,— догадывались.

Им, конечно, повезло, что был Дудин.

Отступление отступлением, но вот лейтенант сообщает:

— Ребята, а наши соседи на Юго-Западном здорово тряхнули немцев под Новоград-Волынском и Червоноармейском...

Оказалось, что и против них, и против войск Юго-Западного фронта наступает группа немецких армий «Юг». Так вот наша Пятая армия провела такие контрудары, что немцы драпанули... А их — восемь дивизий!

Это было в середине июля.

Июль выдался на редкость жаркий. Отяжелевшее от зноя небо зябко дрожало в мареве. Земля горела под ногами. Каждый день то к полудню, то к вечеру, а то и дважды гремели грозы. После грозы земля недолго парилась и, быстро высыхая, превращалась

в каменную. Высоко в небе, измученные грозой, вяло парили коршуны.

Прошел день-другой, и вновь тот же Дудин:

— Учиться воевать нам надо, ребята! А мы пока, к сожалению, не умеем! Повторяю — пока! А вот соседи наши с Юго-Западного, правда с помощью авиации, здорово дали немцам прикурить. В оборону загнали! А ведь там фашисты рвутся прямо к Киеву!..

От лейтенанта в эти дни узнали подробности.

Оказывается, с ними от самой границы воюет группа немецких армий «Центр».

От Каменец-Подольска Восемнадцатая и Девятая армии сражаются против одной армии немецкой, двух румынских и венгерского корпуса.

Теперь понятно, почему были румынские и венгерские флаги там... А они-то, чудаки, удивлялись!

И еще сказал Дудин:

— У немцев на нашем Южном и Юго-Западном огромные силы! Не берусь повторять — вдруг запамятовал! — а, кажется, только немецких дивизий тридцать восемь. В них пять танковых и пять моторизованных. И — самолеты! Что это, вы знаете? Но вот наши соседи умеют, а мы?.. Они загнали немцев в «мешок» у Бердичева и Могилева-Подольского... А мы?..

Это «а мы?» было самым страшным. Особенно когда говорил Дудин. За ним стояло не только отступление, а гибель товарищей, и тех гражданских, которые были убиты как «активисты», и тех, кто пришел из них в Красную Армию и тоже уже погиб...

...Когда-то потом, через много лет после окончания войны, Алексей Михайлович Горсков прочитает в одной книге слова немецкого генерала о тех днях. Типично деловое немецкое воспоминание оставшегося в живых:

«Постоянное увеличение сил противника, усиление его сопротивления, активизация артиллерии и авиации и наряду с этим очень заметное утомление и большие потери своих войск — все это рассеивало надежды на достижение успеха в ближайшее время... Командующий группой армий, предупреждая возможность кризиса в управлении войсками... отдал приказ приостановить наступление на рубеже Киев, Коростень и временно перейти к обороне...»

Кажется, Алексей Михайлович читал это где-то в конце пятидесятых — начале шестидесятых. И издано было в Москве. И фамилия генерала, если не изменяет память, какая-то больше итальянская, чем немецкая. Филиппини, что ли? Кажется, так. Но тогда, в сорок первом, этот Филиппини был рядом с ними...

Ну, а уж генерал Гальдер, имя которого во время войны знали все, и Алеша в том числе, написал:

«Операция группы армий «Центр» все больше теряет свою форму... На северном участке фронта группы... оказывается скованным значительно больше сил, чем это было бы желательно. Обходящий фланг 1-й танковой группы не может продвинуться на юг... Между тем ударный клин 17-й армии настолько приблизился к войскам танковой группы, что теперь уже вряд ли удастся окружить в этом районе значительные силы противника».

Это Алексей Михайлович тоже прочитает много позже окончания войны.

Но все это — потом, потом, потом...

А сейчас немцы, румыны, венгры окружали их.

Правда, венгров и румын становилось меньше, а немцев — больше.

Зеленый городок Тирасполь был удивительно красив, несмотря на военное лихолетье. Война почти не задела его, и он продолжал утопать в зелени каштанов и кленов, выбрасывая к улицам свои пышные сады и приусадебные участки. Дома и мазанки так и светились в лучах солнца. А аа городом опять сады и виноградники, взбегающие на холмы.

Четвертая румынская армия прорвала наш фронт. Их бросили и сюда. Переход в несколько сот километров. Кажется, их бывшая дивизия, ныне полк, их дивизион, их батарея, оказалась на высоте.

С румынами, оказалось, воевать проще, чем с немцами.

Правда, поначалу румыны рвались вперед.

Но после первой же штыковой атаки на поле раздались выкрики:

— Ну врем сэ лучтэм! Не предзм![1]

Потом другие:

— Тоць сыит офицерий! Ши немций![2]

Бой прекратился. Румыны сдавались в плен. Офицеры тоже.

— Блестемат сэ фис разбою агеста![3] — кричал один из них.

— Рушый ыс бэець бунь![4] — заигрывал другой.

— Ребята, умницы вы мои! Бери пленных!

Потом их хвалили. Политрук Серов. Комбат Егоэин. Помкомроты Валеев.

---

[1] — Мы не хотим воевать! Мы сдаемся! (*рум.*)
[2] — Это все — офицеры! И — немцы! (*рум.*)
[3] — Будь проклята эта война! (*рум.*)
[4] — Русские хорошие ребята! (*рум.*)

Но это все — опять раньше, до переправы через Днепр.

До гибели многих...

До того, как Катя-Катюша...

Почему их отвели за Днепр?

Значит, и переправа, и все, что было на этой относительно мирной стороне Днепра, оказалось впустую! Но ведь они и тут же воевали... И хоронили товарищей. Казалось, что авиация, артиллерия немцев и мотоциклисты даже активизировались. И снова десант!

Опять-таки много лет спустя после войны Алексей Михайлович прочитает:

«Чтобы ликвидировать угрозу окружения остальных войск Южного фронта, Ставка разрешила отвести их на тыловые оборонительные рубежи. Левофланговые дивизии 9-й армии, отсеченные от главных сил фронта, были объединены и образовали Приморскую группу войск, которая позднее была преобразована в Отдельную Приморскую армию под командованием генерал-лейтенанта Г. П. Сафонова. Одновременно Ставка усилила войска Юго-Западного направления своими резервами...»

Это уже в годы шестидесятые, когда он стал признанным другими, но еще не признанным самим собой художником...

А тогда их, отступивших, опять вернули к Днепру, к левому берегу его, и они заняли оборону.

Река дымилась, словно в тумане. Мутные, со стальным отливом воды Днепра мерно текли перед ними. Темные облака и дым пожарищ сливались воедино. Утлые лодки и лодчонки прижимались к берегу, чуть качаемые несильной волной; здесь же были разбросаны нехитрые рыбачьи снасти. Только весел нигде не было.

На откосах — задетые пулями и осколками деревья. Все израненные, они, словно спасаясь от гибели, низко припадали к реке.

Дудин говорил:

— Есть приказ самого товарища Сталина: закрепиться на этом, левом берегу Днепра и не пустить немца или удерживать его сколько можно! Так что, ребята!..

Это — уже начало августа.

Воды Днепра с лиманами и заводями были серы. Трава и деревья пожелтели от знойного лета и от войны. Гарь. Воронки. Выжженные села и перебитые, обугленные деревья были удивительно похожи друг на друга. Села почти пустынны — люди ушли на восток. Печи на месте хат, печи на улице рядом с развалившимися хатами и деревья — в садах, в дубравах, в перелесках, как и земля — песок под ногами, все — перегорело, перепахано взрывали и огнем...

И только беженцы, беженцы, беженцы, идущие из-за Днепра —

прямо, и слева, и справа, и неизвестно откуда... Страшное зрелище!

И в каждой фигуре, в каждом лице — боль, недоумение: «почему мы отступаем?..»

Сафонова Алеша увидел тогда. Мельком. Дудин показал:

— Смотри, Горсков, вперед! Видишь? Смелый командир! Он тут главный на Днепре. Говорят, сам Верховный его знает, вот и назначил... Фамилия — Сафонов.

Алеша смотрел на человека в передних траншеях у самой кромки Днепра. Вел он себя отчаянно. И больше Алеша ничего не запомнил...

А немцы вышли к Днепру на всей полосе Юго-Западного и Южного фронтов.

Их чуть сохранившийся полк, хотя он и пополнялся новенькими, продолжал отступать. От горновьючного уже почти ничего не осталось.

Огонь вели прямой наводкой.

Пушки не разбирали. На лошадей не грузили. Да и лошадей приходилось заменять. Старые, привыкшие к тяжелой поклаже лошади погибли. Брали на ходу новых, не привыкших к такой службе. Даже три немецких появились. Ганс, Фриц и Марта. Лошади хорошие, но по-русски ни бельмеса не понимают. Слушаются беспрекословно, но как какая заваруха, ничего им толком не объяснишь. Повозки тянут, телеги, зарядные ящики. Раненых и все хозяйство медсанчасти. А так дуры дурами!

Вновь отошли от Днепра. Их место заняли другие части, и они, слава богу, не видели, как немцы позже все же форсировали Днепр.

Так в двадцатых числах сентября они оказались в Северной Таврии. Тишина. Спокойствие.

Места здесь пустые, ковыльные. То тут, то там мелькает перед глазами перекати-поле.

Степь без конца и края. Редкие балочки и деревни, в которых есть хоть какая-никакая зелень.

Духота!

Воздух словно настоялся на солнце, пронизан сухим зноем. Земля — камень. Саперная лопатка с трудом вгрызается в нее.

А они готовились к наступлению.

Слава богу — к наступлению!

Что такое наступление в этих условиях, они уже знали. Теперь знали: немцы умеют воевать! Но... И они могут! Могут бить немца! Могут и обороняться, могут и наступать!

Вспомнились сталинские слова: «Не так страшен черт, как его малюют».

Они мельком виделись с Катей.

— За что ты меня любишь? Ведь я — некрасивая! — говорила она.

Алеше до войны очень нравились красивые женщины, такие, как, например, главная героиня кинофильма «Большой вальс». Но как давно это было.

А в жизни?

Вот — Катя.

Перед Катей он пытался казаться очень умным и опытным:

— А по-моему, все красивые женщины — дуры! У них все в красоту уходит! Как у женщин-спортсменок — все в спорт! А простые...

— Глупости ты говоришь, Алешенька, глупости! — отвечала Катя. — Знаешь, всякая баба хочет быть и красивой и счастливой... Я тоже очень хочу!

— Так люблю же тебя! — воскликнул Алеша.

— Знаю, любишь. Но, не сердись, разлюбишь... Ведь я не только некрасивая, но и несчастливая. Я свою судьбу знаю, художник...

— Какой я художник?!

— Ты — самый настоящий. Сердцем чувствую, понимаю, вот только... — Катя прижала руки к груди, там, где сердце, словно призывая его на помощь. — Объяснить не могу, не умею.

Он рассказывал ей о Ленинграде, в котором она не была. Рассказывал про свою улицу Марата и про Музей Арктики, про любимый памятник Пушкину и про Рафаэлевский и Тициановский залы в Академии, про росписи на их стенах.

— Кончится война, покажу тебе Ленинград, — говорил он.

— Правда, покажешь? — Катя, кажется, удивлялась.

И опять о нынешнем.

...Говорили, что Сталин сменил Буденного на Юго-Западном направлении и назначил на его место Тимошенко. Все знали Буденного, и все знали Тимошенко. Говорили и о сдаче Киева.

Может, что-то изменится?

И об этом они успели перемолвиться с Катей...

И еще — самое неожиданное! — два письма из Ленинграда.

Первое — мамино.

Второе — вдруг! — Верино:

«Алеша, здравствуй! Прости, что не отвечала тебе, хотя ты писал редко. Много работы, и учиться продолжаю. Война, конечно, мешает...

Как ты? Надеюсь, у тебя все в порядке.

Пиши мне на Лахтинскую или на адрес Ленсовета. Я теперь опять там...

Пусть у тебя все будет хорошо.

Вера».

XX

Для Алеши беда случилась в конце сентября, под Кагарлыком. Что было тогда, он узнает потом: Южный фронт, Отдельная Приморская армия, Чигирин — Вознесенск — Днестровский лиман, а еще Коблево — Свердово — Кубанка — Чеботаревка — Кагарлык... Немцы и румыны. Последних больше, но немцы в воздухе... Оборона Одессы!..

Знойно. Душно. Зелень вокруг вся выгорела, но теперь после степи все чаще попадались вязкие болота, жижа булькала под ногами, пуская пузыри.

В болотах неистово квакали лягушки и вилось комарье. Комары впивались в лица и через гимнастерки в спины, кусали ноги в обмотках, лезли в рот и глаза.

В небе ни облачка. Сизая дымка. Тяжело дышать. На лбу проступал пот. Просоленные гимнастерки хоть выжимай.

А ноги хлюпают и хлюпают по болотной жиже, а пути нет конца и края, и хочется бросить все, свалиться на землю и забыться...

Под Кагарлыком они пошли в разведку — он, Сережа Шумов и ординарец Дудина — молчаливый «западник» Богдан.

Пошли без лошадей. Какие сейчас лошади!

Обстановка была неясной, да они и привыкли к этому. Когда в разведке бывает ясно?

Но тут было все совсем непонятно.

Стреляли с воздуха и с земли.

Куда они ни пробирались, попадали впритык к румынам. Окопы и позиции были румынские. Немцев, кроме воздуха, видели дважды: на сопке возле зенитных орудий, на большаке в двух бронетранспортерах.

Конечно, уходили от тех и от других, чтобы не лезть на рожон: задание есть задание...

Вернулись поздно, практически ни с чем, но оказалось, что и Дудин, и Валеев, и Серов, и Егозин — сначала по очереди, а позже вместе слушали Сережу, Богдана и Алешу — были довольны... Видимо, даже их куцые наблюдения оказались полезны...

А после — ночь, артобстрел и отступление.

Первым погиб Сережа Шумов. Это было на Алешиных глазах. От осколка — прямо в грудь.

Глупая смерть! Смерть без боя!

Сережу оставили: надо было выводить лошадей и пушки. И телеги, пролетки, зарядные ящики.

Мы отступали.

Оборонялись, отступали, а иногда и наступали.

Но...

Сейчас мы бросаем тебя. Нам некогда тебя похоронить. Не сердись, Сережа! Прости!..

Дудин и политрук Серов, оказавшись рядом, кричали:

— Без паники!

— Отходить!

Когда уже отходили, Алеша увидел командира полка Ивашицкого. Тот, яростно жестикулируя, что-то начал кричать Дудину и Серову. Но Алеша не успел разобрать что. Ему внезапно стало нечем дышать, в груди вспыхнул нестерпимый огонь, и он, задыхаясь, не понимая, что с ним произошло, и еще не ощущая боли, упал. Он увидел себя с отцом на карусели в Парке культуры и отдыха. Отчетливо ощутил страх, который маленьким свернувшимся зверьком сидел в нем, когда он в первый раз сел на эту быстро крутящуюся карусель. Память на мгновение вырвала солнечный луч, боязливо выскользнувший из-за серых мутных облаков и упавший на далекое лицо отца. Но зверек вдруг выпрыгнул, и карусель стала медленно и неслышно рассыпаться...

Очнулся Алеша от тяжело нависшей над ним тишины. Первое, что увидел,— лежащая рядом убитая лошадь, из-под спины которой клейко расползалось большое темно-красное пятно. Костыль или Лира? Алеша равнодушно отвел от нее взгляд. Окружившие его люди, судя по движениям губ, что-то говорили. Алеша вяло удивился, почему они произносят слова без звука, но тут снова перед ним быстро-быстро завертелась карусель, Алешу охватило ощущение звеняще-зыбкого полета, и он снова потерял сознание.

Его поднимали, перекладывали, куда-то грузили, везли. Были поезда, какой-то пароход и ленинградская квартира с мамой и баб-Маней и Верой у них дома, а рядом с Верой — Катя, но уже вроде не в Ленинграде... И везде — незапомнившиеся бесчисленные люди в белых халатах...

Поначалу он не знал, что попал так далеко — в маленький абхазский приморский поселок с названием, напоминающим птичьи голоса,— Очамчире. Когда в палате открывали окна, с улицы доносился мерный успокаивающий шум моря,— Алеша знакомо и тревожно вслушивался в него, пытаясь вспомнить, что это такое, но не мог.

Он пробыл в Очамчире год восемь месяцев и двенадцать дней.

Ранение оказалось тяжелым — в правом легком засело несколько осколков. На левой руке оторвало два пальца. Да еще контузия первой степени. Алеша потерял речь и память. Ни имени своего, ни фамилии. Потом появится речь, но без памяти. И лишь много позже будут и память, и речь.

Год и восемь месяцев госпиталя...

После первой, поначалу казавшейся удачной операции, через

полтора месяца, наступило резкое ухудшение. У него то поднималась за сорок температура, то начинал трясти страшный озноб. В такие минуты вся его по-юношески тонкая, высокая фигура, с остро выпиравшими коленками, казалась особенно беззащитной. Врачи ничего не могли понять и, недолго посовещавшись, решились на повторную операцию. Когда вскрыли грудную клетку, увидели обширный гнойный абсцесс в легком. Его дали не замеченные при первой операции мелкие осколки. Но и после операции положение не улучшилось. Все так же подскакивала температура, перемежавшаяся изнуряющими ознобами. Начали бояться заражения крови. В ход были пущены все имевшиеся в арсенале средства — сульфаниламидные препараты и в большом количестве стрептоцид. Горсков почти не приходил в сознание. Его кровать уже вывезли в коридор и загородили байковым стираным-перестираным одеялом. Всем было понятно: часы лежавшего за этим страшным занавесом человека сочтены. Так продолжалось восемь дней. На девятый день температура упала, ознобы прекратились. И под вечер Алеша, на изумление подошедшего к нему врача Баграта Васильевича, довольно внятно спросил:

— Сколько я здесь лежу?

— Алеша, мальчик мой дорогой, сын мой, ты выжил! Понимаешь, мы победили! Ай, какой ты замечательный молодец! — бурно изливал свою радость Баграт Васильевич.— А скажи,— на какое-то мгновение Баграт Васильевич смутился, но потом тихо, с некоторым усилием все-таки продолжил:— Как тебя зовут?

В Алешиных глазах сначала мелькнуло удивление, затем появилось выражение жалкой растерянности и испуга.

— Не знаю...— он сделал судорожную попытку приподняться, но тут же упал.— Почему я не знаю своего имени? Где я был? — с трудом подбирая и выговаривая слова, спросил Алеша. По его худому пожелтевшему лицу потекли слезы.

— Успокойся, мой родной. Да знаешь ли, что случилось? Ты стал говорить! Говорить, понимаешь! Значит, скоро должна вернуться и память. Ты только держись, кацо! После контузии так часто бывает. А она у тебя, мой мальчик, очень-очень тяжелая... А сегодня главное — выздоравливать. У тебя есть родные?— Но тут Баграт Васильевич виновато и беспомощно осекся и сухо проговорил: — Сейчас тебя отвезут на перевязку.

После перевязочной Алешину кровать водрузили снова в палату, на старое место.

Выжил Алеша!

Выжил Горсков!

Вокруг него хлопотали врачи — Игорь Иванович, Григол Ираклиевич и особенно привязавшийся к нему Баграт Васильевич, у которого тоже был воевавший где-то на Западном фронте сын по

имени Алеша. Выхаживали раненых ласковые, заботливые сестры — Нина, Соня и Лайнэ. Грузинка, чувашка и невесть как оказавшаяся здесь эстонка.

Горсков уже все видел, слышал, понимал, понемногу, правда редко, говорил, но он не знал и не помнил себя вчерашним. Старался и никак не мог представить, что же было в той, его догоспитальной жизни?

Врачам было с ним труднее, чем с другими. Соседи по палате старались помочь ему, чем могли.

Алеша, все понимая, страдал от этого еще сильнее.

Он целыми днями лежал почти неподвижно и то безучастно смотрел в окно, то начинал жадно вслушиваться, стараясь понять, в разговоры.

А в палате острили, шутили, всерьез, и вновь — шутки, и вновь — всерьез.

Говорили о самом разном. О традициях — вспоминали часто Отечественную войну 1812-го. Суворов, Кутузов, Багратион...

Говорили о союзниках, об английских танках, которые выходят из строя до боя, об английских самолетах, не выдерживающих в бою соревнования с нашими, об оккупированной немцами Франции и об эскадрилье «Нормандия — Неман», об американской тушенке и розовой консервированной колбасе.

Другие острили:

— Второй фронт!

Их кормили этими продуктами в госпитале.

Но больше всего говорили о доме, о своих семьях. Эти разговоры особенно больно волновали Алешу, и временами ему начинало казаться, что и у него кто-то был там, очень далеко, но где и кто — он вспомнить не мог.

По ночам ему часто мерещились кошмары. Но тогда же, во сне, к нему возвращалась память. И он просыпался с улыбкой от словно пойманного во сне счастья и какие-то мгновения продолжал жить давней, самому теперь неизвестной жизнью. Но это хрупкое, манящее прошлое быстро таяло и исчезало.

Смотрел в окно.

Странно: пальмы.

Странно: огромные магнолии.

Выше мандариновые деревья и чайные плантации.

По дороге, что проходила рядом, в огромном количестве постоянно паслись вороны.

Зачем они здесь?

Разве вороны живут на Кавказе?

Здесь бы попугаям раздолье!

Но попугаев не было, а лишь вороны да южные поджарые воробьи.

Иногда по дороге гнали скот. Абхазцы в широких шляпах и с кнутами в руках.

Алеша вслушивался в разговоры, и где-то в тайниках его сознания, словно в далеком глубоком подземелье, глухо билось и никак не могло вырваться наружу что-то не имеющее для него названия, но такое жизненно важное и необходимое. Ему, словно кислорода, постоянно не хватало этого «что-то», и все происходящее вокруг, казалось, не имеет к нему никакого отношения, хотя он тоже тут, есть, существует...

Кто-то говорил, что в этом госпитале до войны был то ли дом отдыха, то ли санаторий. Алеша воспринимал эти слова как нечто удивительное, ибо кто до войны и в его-то возрасте бывал в санаториях или домах отдыха!

Большинство раненых в госпитале, не привыкших с детства к особой заботе и вниманию, стеснялись внимания врачей и сестер: «Сколько вокруг нас хлопот и забот!» А ранения свои воспринимали не как заслугу, а, скорее всего, как некий укор. И в том, что с ними случилось, винили только себя: «Сам дурак!», или «Сплошал!», или «Вот и не на фронте, а тут еще возись со мной!»

Осенью сорок второго Алеша, как выздоравливающий, начал ходить в столовую.

Бои шли на Северном Кавказе и на перевалах Главного Кавказского хребта, немцы рвались к Махачкале и Каспию, под угрозой был Туапсе, что не так уж далеко, и на море не прекращались бои,— но все это было больше известно от раненых, прибывающих в госпиталь со всех участков войны. А они поступали каждый день.

Алеша был в госпитале старожилом. От других — вчерашних и позавчерашних, месячных и трехмесячных — он узнавал многое о положении на фронте. Слышал, конечно, и о родном Ленинграде...

Раненых по-прежнему много. Но тяжелых все меньше и меньше.

Немцы хлебнули в Новороссийске. Малая земля. И в Туапсе — дважды. Керченская операция не состоялась, и тут немцы потеряли массу живой силы и техники. Так было в Харькове и Ростове.

Досталось немцам и в Нальчике, и в Орджоникидзе, и на Главном Кавказском хребте. Их «Эдельвейс» и прочие горные дивизии погорели.

А природа этих мест, благостная, спокойная, еще больше раздражает, сердит.

Как боролись за жизнь не сразу погибшие, Алеша, пожалуй, впервые понял тут, в Очамчире!..

В Очамчире он опять пробовал брать карандаш.

На краях газет. На случайно выпрошенных у сестер бланках. На любых бумажках. Бумага — дефицит и шла на закрутки.

Табак здесь, в госпитале, выдавали чаще, чем на фронте.

Горсков курил, и все вокруг курили. Для него курение — спасение. Даже врачи это ему говорили.

И врачи, и сестры, кроме эстонской Лайнэ, курили.

А он курил и экономил бумагу.

В начале сорок третьего к нему начала возвращаться память. Медленно, трудно, неожиданными толчками. Это было как тяжелые роды — когда ребенок бьется в утробе матери, стремясь вырваться из небытия. И наконец, еще не успевший войти в жизнь, но уже обессилевший от первой своей борьбы за нее, все-таки начинает жить.

Баграт Васильевич определил его в команду выздоравливающих.

А вскоре его сделали при госпитале санитаром.

Казалось, все было прекрасно.

И понимание всего, что происходит, и сообщения Советского Информбюро, и радостные, и в чем-то удручающие — немцы и после Сталинграда прут! И не сдаются, кажется! А значит, впереди... И все же главное — он жив! Жив! Жив!

Однажды его вызвал Баграт Васильевич.

— Садись, Горшков!

Он произносил Алешину фамилию как «Горшков».

Алеша сел в глубокое кресло возле могучего дубового стола, за которым восседал врач. Тот открыл ящик стола и протянул два письма. Вернее, письмо и записку.

— Больше не могу скрывать,— сказал Баграт Васильевич.— Скрывал почти год, а больше не могу. И показать не мог, не сердись. А с записочкой к тебе приезжала очень милая девушка, санинструктор. Очень рвалась к тебе, но ты тогда был еще совсем плох. Вот так... Теперь, Алеша-Алексей, считай, что окончательно здоров.

Алеша сразу узнал на треугольнике Верин почерк.

«Здравствуй, Алеша! Знаю, что не порадую тебя, но я все должна рассказать.

Первой в блокаду умерла бабушка. Это было еще в январе сорок второго. Мария Илларионовна держалась, продолжала работать. Да, бабушку вместе с другими похоронили на Пискаревке. 17 июня, когда мама возвращалась с работы, начался сильный артиллерийский обстрел. Она, видимо, не успела укрыться и погибла от снаряда. Ее тоже, как мне сказали, похоронили на Пискаревском. Я, к сожалению, узнала обо всем только в конце июня. Дом ваш разрушен. Так что неизвестно, что лучше.

Будь мужествен!

У меня в жизни произошли, кажется, большие изменения. Но об этом как-нибудь потом. Надеюсь, что у тебя все хорошо.

Вера».

И дата: 13 июля 1942 года.

Записочка была от Кати.

Алеша постеснялся читать ее в присутствии Баграта Васильевича и спросил:

— Мне можно идти?

— Иди, Горшков, иди! — сказал Баграт Васильевич.— И не отчаивайся. Война, брат!

На улице он открыл Катину записку.

Умница, Катюша!

Как ему сейчас нужна эта ее записочка!

А вокруг в это время хлестал южный тропический ливень. Потоки воды бурными реками и ручьями скатывались с гор и устремлялись к морю. Море у берега помутнело из-за песка и глины, оно бурлило и падало лохматыми волнами с белой мутью на прибрежные камни. По оконным стеклам госпиталя, запотевшим, как в мороз, катились потоки воды. Ливень с силой бил в окна, и рамы вздрагивали.

Ветер и вода несли сбитые листья, палки и коряги, лепестки цветов и клочья бумаги. Сорвалась пальмовая ветка и неуклюже понеслась по мостовой, то останавливаясь, то вновь устремляясь вниз, к морю.

На улице ни души.

Даже машин не видно и не слышно.

XXI

И вот наконец — прощай, Очамчире! Прощай, родной, проклятый, до страсти опостылевший госпиталь!

Прощайте, Игорь Иванович, Баграт Васильевич, Григол Ираклиевич!

Прощайте, Нана, Соня и Лайнэ!

Прощайте, пальмы и магнолии, чайные плантации и разросшееся кладбище!

Ограниченно годен!

Он долго добирался на перекладных до места новой службы.

ПАХ так ПАХ! Полевая армейская хлебопекарня находилась в 57-й армии, в Мартовой, восточнее Харькова, который был все еще в руках немцев.

Алеша быстро освоил новое хлебопекарное дело. Маялись только с дровами да с огромными немецкими мешками с мукой. Вместе с рядовым Хабибуллиным и шофером Самсоновым они успевали к рассвету выдать свежий хлеб, а потом переключались на скотину. При пекарне было несколько коров. Четвертого человека, полагающегося по расписанию, пока не давали.

Мартовая почти пустовала. Поступил приказ согнать сюда разбежавшийся по соседним деревням и балкам скот.

Отощавшие за зиму, полудикие коровы ловились с трудом.

Трава еще только начинала зеленеть, кормов не хватало. Рвали молодую листву, кое-где появившуюся травку, смешивали с прошлогодней соломой — все шло в дело.

Научились доить, и как-то Алеша привез в штаб армии первые два ведра молока. Коров распределили по хозчастям полков.

Через неделю приказ:

— Отправляйтесь в Чугуев. Там горят вагоны с мукой.

Выехали верхом.

Алеше досталась огромная кобыла с розовыми ноздрями.

Стоило огромных усилий оседлать ее и стронуть с места.

Солнце уже стояло высоко над головой, когда они проехали несколько полуразрушенных деревень и вышли к железнодорожной ветке.

Вдруг впереди, возле лесной балки, Хабибуллин заметил немцев.

Соскочили с лошадей, залегли.

Немцы, а их было четверо, занимались чем-то своим, не обращая ни на что внимания.

Алеша свалил свою лошадь на землю. Товарищи последовали его примеру.

— Славяне, подождите,— бросил он.— В случае чего — прикройте.

— Осторожней ты, черт! — произнес Самсонов.

Горсков вырвался из-за лошади и мелкими перебежками бросился в сторону немцев. Те, странное дело, зачем-то собирали смолу. Оружие у них висело за спинами.

Подобравшись поближе, Горсков вскочил, дал автоматную очередь в воздух и замахнулся лимонкой:

— А ну, гады, руки вверх! Хенде хох!

Немцы обескураженно обернулись. Только один попытался снять автомат, но Алеша выбил его.

— Хенде хох! Кому говорят!

Подбежали Самсонов и Хабибуллин.

Немцев обезоружили. Связали их же ремнями руки за спиной.

Алеша ликовал. Первая победа. Хотя немцы были и не из молодых, лет под сорок,— все же победа.

Пленных сдали в штаб артполка в следующей деревне. Алешу и его товарищей долго и подробно расспрашивали, как было, все записали.

Через полчаса они были в Чугуеве. Здесь творилось страшное. Горел санитарный поезд с тяжелоранеными. А рядом — на вторых путях — горел состав с мукой — нашей и немецкой.

В составе было пять вагонов.

Справились только к вечеру.

Тут же на платформах привалились к стене полуразрушенного

вокзала и уснули. От дикой усталости даже не хотелось говорить.

Через час Горсков вскочил. Пошел проверил лошадей. Они были привязаны у скверика с закопченной зеленью.

— Славнне, пора! А то к утру хлеб не успеем.

Возвращались куда быстрее. В степи стало прохладно. Небо вызвездило, как это бывает только на юге.

В Мартовой, куда они вернулись под утро, ждала новая неожиданность. Взлетел на воздух артиллерийский склад. Немногие из оставшихся в живых рассказывали противоречивое: одни — мол, диверсанты, другие — дескать, кто-то закурил на складе, чуть ли не часовой.

Погибших уже похоронили. Двенадцать человек.

ПАХ не пострадал. Только у «ЗИСа» взрывной волной выбило стекла да борт задело осколком.

Пора приниматься за тесто.

После бессонной ночи все делалось с большими усилиями. К восьми утра первые буханки были готовы. Из полков и дивизий потянулись подводы и грузовики за хлебом.

А в девять из кабинки одного грузовика выскочил молоденький, совсем мальчишечка, младший лейтенант и крикнул:

— Кто тут будет Горсков?

Алеша подбежал:

— Я, товарищ младший лейтенант!

— Приказано доставить вас в штаб армии.

Горсков немного струхнул:

— А зачем?

— Не знаю. Собирайтесь.

Штаб армии, как и прежде, находился в селе. Белый Колодезь, куда Алеша не раз привозил молоко.

И в избе, куда его провели, находился тот же майор, который когда-то распорядился передать коров хозяствам.

— А, старый знакомый! — сказал он, вставая из-за чисто выскобленного стола.— Что ж, Горсков, с тебя, как говорят, причитается. Вот только молока у тебя теперь нет. Да, признаюсь, и мы не видим. А теперь получай!

И он прикрепил к гимнастерке Горскова медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — Алеша вытянулся по стойке «смирно». «Наверное, за пленных немцев,— подумал он.— Быстро дошло». Но оказалось, нет.

— Это,— словно прочитав его мысли,— тебе за спасение эшелона с хлебом,— сказал майор.

— А я думал...— и Алеша рассказал про пленных.

— Нет, пока это до нас не дошло,— улыбнулся майор.— Тогда готовь еще одну дырку. Дойдет, обязательно дойдет.

Потом серьезно:

— Ты что ж, так и собираешься всю войну хлеб печь?

— Не знаю, товарищ майор, но... Сами понимаете, ограниченно годен.

— А что, если мы тебя к себе возьмем, в трибунал? Поначалу писарем...

XXII

Еще из Очамчире Алеша написал письмо Кате и в Ленинград, совсем короткое, Вере. Катя прислала письмо только что, в начале июля. Оказывается, у нее изменился номер полевой почты, медсанчасть влили в медсанбат 7-й гвардейской армии. Это совсем рядом, в районе Белянки, восточнее Белгорода, километров двести.

Письмо было ласковое и грустное. 141-й артполк послали на переформировку. Дудин опять ранен, тяжело, как и Алеша, в легкие. Вот и — «будем живы, не помрем». Саша Невзоров и Женя Болотин погибли. Костя Петров ранен, не тяжело. Вот так. «Береги себя, милый, родной. Если бы ты знал, как хочу тебя видеть. По ночам снишься. Боюсь, как бы тебя не покалечило. Но, видно, все ничего, раз тебя отпустили на войну, хоть и ограниченно годным».

«Поеду! — решил Алеша.— Обязательно поеду!»

Отпроситься у начальства оказалось не проблемой.

На третий день он оседлал знакомую немецкую кобылу с розовыми ноздрями. Она уже слушала его и была вынослива.

День выдался на редкость тихий и ясный. Степь дрожала в перегретом воздухе. На небе ни облачка.

Дорога шла через Белый Колодезь, правее Волчанска и дальше на Белянку.

Часов через пять езды он услышал канонаду, в небе то там, то тут возникали воздушные бои.

Горсков спешился и начал наблюдать один из таких боев. Наш «Лавочкин» заходил в хвост немецкому «Фоккевульфу-101».

Раздались еле слышные очереди, и вдруг «фоккевульф» задымил. Он пошел к линии фронта, судя по всему — к Белгороду, и потащил за собой дымный шлейф. Но вот от него отделилась чуть заметная точка и блеснул купол парашюта.

Что делать?

Алеша вскочил в седло и помчался в сторону парашютиста.

Парашют снижался медленно, а лошадь Горскова трусила довольно споро. Возле обгорелых труб, следов прежней деревни, Алеша нагнал немца, когда тот, зацепив стропами за одну из труб, свалился на бок.

— Стой! Хенде хох!— заорал Горсков, но немец и не собирался сдаваться.

Он достал пистолет и почти бесшумно выстрелил. Алеша са-

данул немца ногой по руке, но тот не выпустил пистолета. Еще раз Горсков попал немцу в подбородок. Правда, немцу мешали стропы парашюта, и он пытался их скинуть.

Еще попытка, и Алеша придавил немца. Тот выронил пистолет и обмяк.

— Шайскерл! Ихь верде михь зовизо нихьт эргебен![1] — выкрикнул он.

Алеша не понял.

— Молчи ты! — буркнул, приходя в себя.— Что делать-то с тобой?

Немец продолжал ругаться:

— Дреккерл! Ротцназе! Зо айнфах кригст ду михь нихьт![2]

Он разрезал ножом комбинезон и содрал его с фрица. Снял и ботинки.

— Вот так-то, босиком, тебе будет полегче!

Потом обыскал немца.

Нашел две книжечки.

Одна — офицерское удостоверение. С трудом перевел: «Оберлейтенант Отто Вернер и № части... Легион «Кондор».

Вторая — партийный билет.

В кармане нашел Железный крест.

— Не носил, гад, боялся, что попадешься,— сказал Горсков, пряча документы.

Тем не менее сунул ему фляжку с водкой.

— На, глотни!

Немец жадно глотнул, но тут же его лицо перекосилось.

— О, шнапс! Ихь виль кайне шнапс! Гиб мир вассер![3]

— Не понравилось, и не надо,— миролюбиво сказал Алеша.— А теперь давай собираться.

Он приподнял фрица, подволок к лошади и с трудом взгромоздил его поперек крупа.

До Белянки оставалось еще километров десять. Но чем ближе они подъезжали к селу, тем громче слышалась канонада, а потом и ружейные, автоматные и пулеметные очереди. Судя по всему, там шел бой. Пришлось взять правее.

Выехали на околицу Белянки, и действительно, село полыхало. Цепи наших отбивали очередную атаку немцев. В поле горели танки, валялись разбитые мотоциклы и бронемашины.

Горсков спросил, где штаб, но никто толком ответить не мог. То ли в Великомихайловке, то ли в Буденном, то ли в Новом Осколе, то ли в Артельном.

---

[1] — Сволочь! Все равно не дамся! (*нем.*)

[2] — Мальчишка! Сопляк! Такого, как я, просто не возьмешь. (*нем.*)

[3] — О, шнапс! Не хочу шнапса! Дай воды! (*нем.*)

— Уноси, парень, ноги, пока жив! Не видишь, что творится?

Пришлось ретироваться. А тут еще проклятый фриц.

Он нудил:

— Триякен! Триякен! Шайскерл, гиб мир цу триякен![1]

В Великомихайловке стояли тылы. Пленного никто не принял.

Повезло в Буденном.

Тут немца приняли и даже вынесли за него благодарность. Офицер оказался важной персоной.

Медсанбат, выяснилось, находится в Новом Осколе. Это и так нетрудно было обнаружить: туда по всем дорогам тянулся транспорт с ранеными.

Новый Оскол — небольшой, почти не задетый войной городок — утопал в пыльной зелени, белел палатками и халатами. Казалось, весь он превратился в госпиталь.

День уже клонился к вечеру. Горсков тщетно объехал весь городок, но Кати нигде не нашел. Было душно, словно перед грозой.

Алеша напоил лошадь, отпустил ее пастись, а сам оперся на палисадник.

И тут на улице громкий женский голос:

— Малыгина! А Малыгина!

Катина фамилия!

Катю окликала женщина-военврач.

Она выскочила из соседнего дома и растерянно уставилась на Алешу:

— Ты? Ой, даже с медалью!

Потом спохватилась и побежала куда-то с военврачом:

— Жди меня! Я скоро!

К себе, в Мартовую, добрался только к обеду. Добрался с трудом. Немцы прорвали фронт из района Харьков — Белгород. Всюду шли упорные бои.

Хабибуллин передал ему письмо:

— Тебе!

Горсков вскрыл.

«Не сердись, Алеша, не удивляйся, но я вышла замуж. Муж мой очень хороший человек, и нам бы не пережить блокаду, если бы не он. Нам, потому что у меня родилась дочка. Сейчас ей уже семь месяцев.

Всего тебе хорошего!

Вера».

Теперь он понял, почему она не писала ему. Обиды не было. Только какая-то горечь.

---

[1] — Пить! Пить! Дай, сволочь, пить! *(нем.)*

XXIII

В предрассветной мгле, в 2 часа 30 минут, 5 июля вздрогнула земля на всем огромном фронте от Чугуева до Думиничей. Орудия всех калибров и минометы ударили по немецкой обороне. И все же немцы, чуть придя в себя, пошли в наступление. Танки и самоходные орудия, бронемашины и самолеты ударили по нашей обороне. Наши отходили на пять — десять километров, но потом опять рвались вперед и восстанавливали положение.

Шла Курская битва.

Перемалывались корпуса и дивизии СС, дивизии «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», оперативная группа «Кемпф».

Бои шли и 8-го, и 9-го, и 10-го, и 11-го, и 12 июля.

Рушилась немецкая операция «Цитадель».

13 июля наши войска прорвали немецкую оборону.

5 августа были освобождены Орел и Белгород, а 23 августа — Харьков.

ПАХ двигался за наступающими частями. Работали с двойной нагрузкой. В полтора раза увеличили выпечку хлеба, а это требовало больше дров, воды, муки. Все доставали на ходу, с немалым трудом.

Под Мерефой Самсонов и Хабибуллин получили по медали «За боевые заслуги», а Горсков вторую «За отвагу». Про четырех пленных фрицев все забыли, а Алешин офицер не забылся. Так что его наградили за пленного летчика, а напарников — за хлеб.

На подступах к Харькову в дорожной суете встретил Горсков Катюшу. Но даже поговорить не удалось. Только помахали друг другу.

Город был сильно разрушен. Целые кварталы лежали в руинах. На одной из окраин тянулся длинный ров. Чуть присыпанные землей, в нем лежали сотни трупов женщин, мужчин, стариков и детей, расстрелянных немцами. Отступая, немцы не успели засыпать ров.

В Харькове Алешу вызвали в штаб 14-й гвардейской дивизии. Его принял сам командир дивизии полковник Жаров. Рядом сидел какой-то капитан.

— Грамотный? — то ли в шутку, то ли всерьез спросил полковник.

— Вроде, — неопределенно ответил Горсков.

— Художник? — поинтересовался полковник.

— Недоучившийся, — пытался отшутиться Алеша.

— Так вот, товарищ недоучившийся художник, — произнес полковник. — Поступаете в распоряжение капитана Серова. Он вам объяснит ситуацию.

— А как же мой ПАХ? — спросил Горсков.

— Не волнуйтесь, это мы оформим.

Капитан Серов объяснил ситуацию. Быть теперь Горскову писарем военного трибунала дивизии. Капитан — председатель трибунала. Дел пока не много, но одно уже есть. Старшина Волчок в боях за Харьков загубил две пушки. Утопил в реке. Заседание завтра в десять ноль-ноль.

Наутро в помещение трибунала, которое, по странности обстоятельств, находилось в детском саду — тут же Горсков и переночевал,— пришел капитан Серов.

Конвойные ввели старшину Волчка.

Было ему за сорок: лицо с широкими скулами, глаза зло блестят.

Начался допрос.

Горсков вел протокол.

— Что вы можете сказать, Волчок? — начал Серов.— Вас предупреждали, что реку надо форсировать вброд. Брод был хороший. А вас понесло в сторону, метров за двести, на мост...

— Пушки ж были несправны,— сказал Волчок.

— Я не о том. Почему вы не выполнили приказ командира? В результате утопили пушки и лошадей чуть не загубили.

— Говорю ж, несправны они были.

— Так, может, вы их специально утопили, раз были неисправны?

— Я и говорю: несправны...

— У вас есть награды? — спросил Серов.— С какого года воюете?

— С сорок першего. Наград не маю.

— Так вернемся к делу. Почему вы, Волчок, не выполнили приказ командира, а сосвоевольничали...

— Несправные це пушки.

Волчок так ничего и не мог сказать вразумительного.

Твердил одно:

— Несправные... Несправные...

Терпение иссякло даже у Горскова, написавшего протокол.

— Штрафбат. Что же еще! — сказал Серов.

Волчка увели.

— Ну-ка, покажите,— попросил Серов Горскова и взял у него протокол.— Что ж, прилично! Даже очень! Замечу вам, Алексей Михайлович, что сегодняшнее дело — цветочки. Покопайтесь вот тут,— и он указал на шкаф,— найдете много прелюбопытнейшего. На первый взгляд наша работа может показаться неблагодарной, даже неблагородной, если хотите. Но на деле это не так, конечно. Мы еще плохо занимаемся профилактикой. А ведь далеко не все, чьи дела поступают к нам, потенциально плохие люди. И само понятие трусости, например, относительно. Вот во время Курской

битвы мы задыхались от обилия дел. Увы, конечно, большинство из тех, кого мы рассматривали, погибли в штрафбатах. Но есть и такие, что получили Героя. Да и погибшие восстановили свое доброе имя. Расстрела же не было ни одного! А какая заваруха! Так что вы полистайте, Алексей Михайлович, полистайте. И на будущее — как художнику — вам полезно...

Алешу удивило, что Серов назвал его по имени-отчеству. Так его очень редко кто называл в армии, а до армии и подавно.

Он листал дела.

Чего тут только не было! И самострелы, и уклонение от боя, и нарушение приказов, и мародерство, и пьянки. По делам проходили чаще всего молодые, но встречались и старички.

Горскова поражала скрупулезность, с какой трибунал разбирал дела. Совсем не фронтовая, а скорей гражданская, мирная какая-то скрупулезность.

Расстрелы встречались редко. Чаще штрафбаты.

«...Не все потенциально плохие люди»,— вспоминал Горсков слова Серова.

XXIV

В районе Знаменка — Смела за Кировоградом 14-я гвардейская дивизия разгромила штаб 4-го воздушного флота немцев. Были захвачены большие трофеи, много пленных, и среди них один американец, майор авиационно-технической службы. Это событие моментально разнеслось по всей дивизии, вызвав массу толков и кривотолков. Обсуждали его и в трибунале.

— Будет допрос, попрошусь, Алексей Михайлович! Может, и пустят! — пообещал капитан Серов.

И действительно, их пригласили.

По этому поводу, или так совпало, Горскова экипировали в новую форму. Выдали зеленую английскую шинель, гимнастерку с брюками, и ботинки, которые оказались страшно холодными.

— Союзнички,— бросил Серов.— А с виду вроде так симпатично.

Вместо ботинок пришлось подыскать немецкие сапоги.

И вот они собрались в штабе дивизии.

Народу было много — от командира и начальника штаба до Горскова и еще каких-то рядовых.

В избу ввели американца.

— Переведи, чтоб садился,— сказал полковник.

Американский майор широко улыбался. Был он в своей форме, даже со знаками различия. Такой крепыш, лет за тридцать, без всяких следов немецкого плена. Довольно лощеный.

— Рассказывайте, как было дело! — попросил полковник через переводчика.

— Уи уэр шот даун эт Штутгарт. Эт фёст и уоэ э пизэн кэмп. Зэн ээй юзд ми зэ этэкникэл эксперт[1].

— Значит, вы воевали вместе с немцами? За что же такая честь? — спросил полковник.

— Ай уозн’т э комбэтэнт. Ай уоз динг э джермэн мэйнтэнанс джоб[2].

— Как не воевали! Ваши соотечественники, насколько мне известно, воюют против фашистской Германии,— сказал начальник штаба.— А вы?

— Ай хэд ту ду зэ джоб эгейнст май уилл[3].

— И как же к вам относились ваши хозяева? Вот и форму они вам сохранили, и знаки различия. Как вы питались? Где жили?

— Зэй тритид ми дисэнтли[4].

— Как немецкие офицеры?

— Иес[5].

— И вы не попытались бежать? Когда вы прибыли на фронт в этом новом качестве?

— Три энд э хаф манз эгоу[6].

— Времени у вас было вполне достаточно, чтобы обдумать, свою, как бы вам сказать, пикантную ситуацию. И охраны, судя по всему, у вас строгой не было,— мрачно сказал полковник.— Почему же вы не бежали к нам, например?

Американец замялся.

— Отвечайте! — попросил полковник.

— Ай фанд их таад ту анса. Пропаганде, ю си...[7]

— Значит, немцев вы не боялись, а русских боялись. Странная логика! — сказал начальник штаба.

Американец промолчал. И протянул полковнику какой-то бюллетень, достав его из-под кителя.

Бюллетень пошел по рукам.

Все говорили:

— Интересно!

— Любопытно!

— По-русски!

И еще что-то в этом духе.

Наконец бюллетень дошел до Серова и Горскова. Они начали листать его.

---

[1] — Нас подбили над Штутгартом. Сначала лагерь, а потом меня привлекли в качестве технического эксперта *(англ.)*.

[2] — Я не воевал, а обслуживал немецкую технику *(англ.)*.

[3] — Меня привлекли помимо моей воли *(англ.)*.

[4] — Относились нормально *(англ.)*.

[5] — Да *(англ.)*.

[6] — Три с половиной месяца назад *(англ.)*.

[7] — Я затрудняюсь ответить. Потом, знаете, пропаганда... *(англ.)*.

«ЗА ПОБЕДУ

Бюллетень русско-американского общества № 6. Сан-Франциско, Калифорния. Цена 5. Год изд. 1-й. Сентября 1942 года

Привет
Героям Советского Союза!

Все сильнее растет дружба между двумя народами: США и СССР.

Героическая Красная Армия с первых дней войны разбила миф о непобедимости фашистского оружия. Работы советских ученых, педагогов и деятелей искусства навсегда рассеяли и обличили фашистскую ложь о «жестоком сталинском режиме»; о «красной, коммунистической опасности», якобы против которой и повел Гитлер свой «крестовый поход». Получилось обратное: мир узнал бездушный гитлеровский режим, содрогнулся от зверств фашистов-детоубийц и преклонился перед Советской страной, воспитавшей в народе подлинный героизм, высокую культурность, гуманность и образованность.

Имена этих героев связаны с мировой славой трех величайших в истории человечества оборон: Людмила Павличенко — участница обороны Севастополя, Николай Красавченко — Москвы и Владимир Пчелинцев — Ленинграда.

Они вправе спросить, когда же союзники окажутся таковыми на деле?..»

Здесь же, на первой полосе, портреты Николая Красавченко, Людмилы Павличенко и Владимира Пчелинцева в полной боевой форме.

На второй полосе фотографии советских детей, которых истязали немцы, и две заметки:

«120 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА ПОМОЩЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. Уже бо, братие, не веселая година встала. Жены русския восплакашась, аркучи: уже нам своих малых чад не мыслию смыслити, не думою думати, ни очима соглядати. А востока бо, братие, Киев тугою, а Чернигов напастьми: ТОСКА РАЗЛИЯСЯ ПО РУССКОЙ ЗЕМЛИ, ПЕЧАЛЬ ЖИРНА ТЕЧЕ СРЕДЬ ЗЕМЛИ РУССКИЯ... (Из песни об Игоре)

Да, страшные времена переживала Русь в войне с половцами. Но с тем, что переживает теперь русский народ, не сравнится ничто. В истории человечества нет таких страниц бедствия, разорения, мук и героизма, которые вписываются теперь кровью, подвигами и жизнью всего Советского Народа.

Сотни тысяч вдов и сирот, сотни тысяч бездомных людей. Кровь и слезы... страдания детей, голод, пытки советских девушек и юношей, сожженные поля, разрушенные и разграбленные хозяйства...

Страшно делается при одной мысли о том аде, который творится на нашей земле...

Сейчас, когда пишутся эти строки, совершается небывалая в истории человечества жестокая битва...

А мы здесь, хотя и ввергнутые в войну, но вдали от фронта, все еще живем в полном достатке, в тепле и в роскоши сытой жизни... И когда мы знаем, что там, на улицах Сталинграда, бойцы Красной Армии и народ бросаются под чудовищные танки, для того чтоб своими телами преградить им дорогу, когда мы знаем, что они смертью своей спасают весь мир, одни, без помощи со стороны... то какой ничтожной становится вся та поддержка, которую мы здесь стараемся оказать.

То, что мы собираем, НЕ ДОСТАТОЧНО. Мы должны УСИЛИТЬ нашу помощь, должны УДЕСЯТЕРИТЬ нашу работу».

И дальше:

«Для увеличения сбора на помощь Родине Р. А. О. устраивает 24 октября в Иглс Холе большой вечер, чистый доход с которого пойдет в УОР ЧЕСТ ДЛЯ РОШИАН УОР РЕЛИФ. Сборы УОР ЧЕСТ производиться будут всего лишь ОДИН РАЗ В ГОД. Но этот ОДИН РАЗ должен быть УДАРНЫМ, с напряжением всех сил. Этот ОДИН РАЗ должен показать нашу сплоченность, нашу любовь к России. Выполним же наш долг перед Советским Народом».

На третьей фотографии Павличенко, Красавченко и Пчелинцев с судьей Робертом Джексоном и миссис Элеонорой Рузвельт и информация об интернациональном съезде студенческой молодежи

И еще:

«КОМПОЗИТОР ШОСТАКОВИЧ

Три месяца Шостакович провел в осадном Ленинграде, принимая участие в охране здания Консерватории.

25 октября ему исполнилось 36 лет. Весь музыкальный мир Америки достойно отпраздновал этот день.

Помимо 7-й симфонии Шостакович неутомимо создает новые марши и песни для бойцов Красной Армии и лично выступает с концертами на фронтах».

И Шостакович в форме пожарника.

Юрий Братов

ПЕСНЯ О ДЕВУШКЕ-СНАЙПЕРЕ ОРДЕНОНОСЦЕ ЛЮДМИЛЕ ПАВЛИЧЕНКО

Спустилась ночь. Все притихло в безмолвье.
За городом жуть фронтовой тишины...
Идет по тропинке, с ружьем наготове
Прекрасная девушка нашей страны.
Кусты осторожной рукой раздвигает

И взором охотника смотрит вперед.
Коль вспыхнет ракета — к аемле припадает,
Погаснет ракета — встает и идет.
И вот до предельной границы доходит:
Снарядами взрытый кустарник... бугор...
Ложитсн аа ним и винтовку наводит:
И вдаль устремлнет испытанный ваор.
Густой виноградник, как чернан стенка,
Зловеще темнеет в притихшей дали:
Так смерть караулит тебя, Павличенко,
Прекраспан девушка светлой земли.
Но страха пред смертью пе знает Людмила.
В ней кровь оскорбленнан гневом горит.
За муки детей, за родные могилы
Она в поединке с убийцами мстит...
Огромиа любовь в ней к Советской Отчизне,
К Отчизие, что счастье миллионам дала,
Училась у Сталина мудрости жизни,
В истории предков примеры брала.
И гневной рукою винтовку наводит,
И мстительным глазом на мушку берет.
От пуль Павличепко никто не уходит,
И гада за гадом без промаха бьет.
И занет: безвреден захватчик проклнтый
Лишь мертвый, и вот ес грозный ответ:
— Огонь по фашисту,— и триста девятый
Уходит с Советской земли иа тот свет.
Весь мир тебп славит, товарищ Людмила,
Ты гордость парода, ты чести пример.
Пусть вся твоя жизнь будет светло-счастливой.
Прекрасная девушка СССР.

Очерк С. Алмазова «Земля горит», в котором говорится: «Вот почему идет зов во всем мире:

Создайте второй фронт!

В защиту Бостона и Вашингтона, Нью-Йорка и Ливерпуля, в возмездие за Ковентри и Батаан, и в признательность за битвы и Ростова, и Можайска,— за все это нужен второй фронт».

Статья Ильи Эренбурга «Желания Германии», и рядом такое: «По указу из Вашингтона 7-е Ноября, день Годовщины Октябрьской Революции, будет широко отпраздновано по всей Америке, как отдавание чести Советскому Народу. К этому дню мы должны выпустить специально большой номер нашего Бюллетеня. Опять перед нами денежный вопрос. Издание Бюллетеня не стоит О-ву ни цента, но выпуск его СТОИТ ДЕНЕГ. Эти деньги должны быть собраны добровольной подпиской и пожертвованиями. Мы посылаем ТЫСЯЧУ номеров, но до сих пор всего лишь человек сто уплатили свой взнос. Остальные читают бесплатно. Так, граждане, не хорошо. Если Вы получаете Бюллетень, но не хотите получать — уведомьте об этом Контору, а уж если получаете и хотите получать, то, пожалуйста, ПРИШЛИТЕ ВАШ ВЗНОС: всего лишь

ОДИН ДОЛЛАР В ГОД. Адрес конторы: 68 Пост ст. комната 126. Редколлегия будет благодарна каждому, кто выполнит эту просьбу сразу же».

«ОЛЬГА ЛАСТОЧКИНА ПОПРАВИЛАСЬ

Привет неутомимой работнице Ольге Ласточкиной. С радостью отмечаем ее быстрое поправление. Сейчас она после госпиталя отдыхает в деревне, набирается свежих сил для дальнейшей работы на помощь Родине».

«ДНИ РУССКОГО УГОЩЕНИЯ

Женский комитет несет на своих плечах большую долю работ Общества. Много труда вкладывают наши женщины в дни русского угощения чинов армии и флота в помещении ЮСО на О'Фарел от 26-е каждого месяца является уже зафиксированным русским днем. В эти русские дни посещают тысячи военных. Их всех надо угостить. Продукты для угощения собираются от жертвователей, которыми являются также и сами члены Женкомитета. Но надо, чтобы в этих днях участвовали вообще все русские женщины нашей колонии. Каждая русская женщина должна отметить у себя в календаре 26-е число и этот день посвятить работе и пожертвованию. Это должно стать «добровольной повинностью» для всех русских женщин. Записывайтесь на помощь ЮСО у председательницы Женкомитета М. Каргиной».

«НА ПОМОЩЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Еврейское Общество Помощи Советскому Союзу устраивает грандиозный базар 18 октября в помещении Тэмпл Бат Израиль, 1839 Гэри стр. (возле фильмор). На базаре будет разыгрываться роскошное одеяло, сделанное известным художником по кустарному делу Рубиновым. Это одеяло в продолжении 3-х недель было выставлено в Сити оф Парис в отделе изящных искусств. Еврейское Общество Помощи Советскому Союзу благодарит всех друзей, посетивших прошлый концерт-бал, и приглашает всех на этот Базар, который обещает быть веселым днем развлечений. Начало в час д. и до полуночи. Весь чистый доход пойдет на покупку медицинских принадлежностей и амбуланса через Рошиан Уор Релиф. Нужда велика. Пожалуйста, приходите и приводите своих знакомых.

Еврейское Общество Помощи Сов. Союзу».

— Любопытно,— сказал капитан Серов.— Как вам, Алексей Михайлович?

— Только со вторым фронтом у них увы и по сей день,— заметил Алеша.

— Как видите, господин майор, есть у вас в Америке и другие люди! Что вы скажете? — спросил полковник.

Майор молчал.

— И это немцы у вас не отобрали? — спросил Жаров, показывая на бюллетень.

Майор молчал.

— И все же! — настоятельно повторил полковник Жаров.

Майор молчал.

— Какие у вас есть просьбы, господин майор, пожелания? Как с вами обращаются здесь? — поинтересовался начальник штаба.

Майор молчал.

— Хорошо,— сказал полковник.— А пока полетите в Москву.

Расходились все обескураженные.

— Что он — делец или придурок?

— Действительно, одиссея!

— На родине ему выдадут...

— Так и выдадут! Мемуары будет писать. Бизнес!

— Жаль, Алексей Михайлович, не наша компетенция,— признался Серов.— Не злой я человек, но такого не только в штрафбат, а к стенке поставить!

XXV

Лето было в разгаре. Стояла та пора, когда солнце еще не успело спалить зелень. Зеленели леса и поля, балки и сохранившиеся с довоенных времен нечастые лесные полосы. Крестьяне с опозданием копались в земле. Пахали на коровах, сеяли руками из лукошек.

Наши войска успешно продвигались к Днепру.

Серов показал Горскову директиву, подписанную Сталиным, в которой говорилось: «В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и придется преодолевать много водяных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных, подобных реке Десне и реке Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск».

Это было в начале сентября.

Наступали Юго-Западный, Степной, Воронежский и Центральный фронты.

Их 14-я гвардейская дивизия вышла к Днепру в районе Гуляй-Поле. Закрепились. Впереди было Запорожье, Никополь, Кривой Рог.

Как-то Горсков сказал Серову:

— Товарищ капитан, вот вы говорили о профилактике. Я изучил

все архивы. А что, если во время затишья поездить по батальонам и полкам, провести беседы. В частях много новобранцев. Может, полезно?

— Это идея, Алексей Михайлович! Я согласую с политотделом, и начинайте. Кстати, если вам удобнее, зовите меня Виктором Степановичем.

— Спасибо, Виктор Степанович!

Дела проходили самые рядовые.

Самый неприятный случай был в Гуляй-Поле.

Взяли Гуляй-Поле почти тихо. Никто не заметил на окраине в стогу сена солдата из новобранцев. А он, оказывается, перешел линию фронта, запасся продуктами и спрятался в сене, выжидая, кто кого. Так просидел больше недели, не заметив, как городок взяли свои. А может, ждал, что немцы обратно вернутся.

В трибунале вид у него был жалкий.

— Где вы доставали продукты?

— Запас.

— А воду?

— По ночам в колодце брал.

— А курица свежая откуда?

— В соседнем доме взял.

— Хозяев видели?

— Я их припугнул.

— И часто вы так припугивали жителей?

— Раз пять за эту неделю.

Солдата вывели из трибунала и поставили перед строем дивизии...

— По изменнику Родины! — скомандовал командир взвода охраны.

У трибунала была единственная машина, полуторка «ГАЗ-АА» с крытым кузовом. В ней перевозили документы.

И шофер Володя.

Через несколько дней они с Володей отправились в первый вояж — в соседний полк. Там провели беседы в трех батальонах. Слушали хорошо, не только новобранцы.

За неделю совершили еще три выезда.

Если бы не война, он начал бы писать картину. Пока всё свежо в памяти. Она называлась бы «Предатель». Стог сена и крупное лицо предателя. В нем страх и ожидание. На заднем плане наши бойцы идут в атаку. Их лиц почти не видно, только контуры, но фигуры их в едином порыве устремлены вперед.

Или так. Никаких бойцов. Пустынное поле, скирды скошенной пшеницы. В небе луч жаркого солнца. Крупно — предатель. Без всякого стога. Он прижался к земле. Глаза его бегают. На лбу капли пота.

Писать! Писать! Писать!

И все внимание к внутреннему.

И связь фигуры с пейзажем.

И транспозиция чувственного, духовного.

Теперь он аажил как бы совсем другой жизнью. Все оставалось — писание протоколов, перепечатка их в четырех экземплярах, беседы в частях, но главное был карандаш. Он видел теперь краски сжатых полей, которых не видел раньше, разрушенные и сохранившиеся деревни и городки, другими глазами видел людей в форме и гражданских...

Даже тихие ночи не валили его в сон, а тянули к раздумьям, среди которых главным оставался «Предатель».

XXVI

С Катей он переписывался часто, хотя они и находились гдето рядом.

В последнем письме написал ей: «Меня перевели на должность секретаря трибунала. Присвоили лейтенанта. Выдали аттестат. Кому его? Хочу в Юрьевец, к своей маме и дочке. Согласна?»

Долбил УПК — Уголовно-процессуальный кодекс. Особо раздел «Воинские преступления». Оказалось, что Серов имел высшее юридическое образование. Приходилось тянуться!

Все это пригодилось, когда рассматривали дело Хаима Ткача, бывшего портного, обросшего, неопрятного человека. Оказалось, что он трижды пытался бежать с поля боя. Первые два раза ему простили. Третий — привел в трибунал.

Ткач оказался фигурой совсем противоположной живому предателю и образу, задуманному Горсковым. Было в нем что-то удручающе жалкое.

— Мне не везет,— говорил Ткач на заседании трибунала.

— Хоть бы от немцев бежали, а то от итальянцев, которые сами в плен сдались и потом песни распевали на радостях,— угрюмо сказал Виктор Степанович.

— Не везет,— твердил Хаим Ткач.— Я и лекцию вот товарища лейтенанта слушал, все понял, а опять беда...

Алеша вспомнил его. На беседе в третьем батальоне Ткач действительно был и даже вопросы задавал.

А итальянцы, верно, сами драпанули в плен. С воздуха их расстреливали немецкие «мессеры», а с земли немецкие пулеметчики и служившие у них поляки.

Потом, когда одного из поляков поймали и стали спрашивать. почему он стрелял в итальянцев, он без конца бубнил:

— Вшистко едно! Вшистко едно![1]

Что же делать с Ткачом?

В сорок втором он был награжден медалью «За боевые заслуги».

Серов спросил:

— За что, Ткач?

Ткач мялся.

— Так за что?

— Френч командиру роты пошил.

— Где сейчас медаль?

— Отобрали при аресте.

— И правильно сделали,— сказал Серов.— Придется новую завоевывать. Пойдете в штрафбат.

Ткача отправили, но Виктор Степанович долго был неспокоен, переживал.

— Жалко мне этого Хаима,— признавался он.

Через неделю узнали: Ткач ходил в бой, ранен, лежит в медсанбате.

— Поехали, Алексей Михайлович,— обрадовался Серов.— Только по пути медаль его захватим.

Отправились с Володей. Медсанбат находился километрах в двенадцати.

Сразу же нашли Ткача.

Он лежал свежевыбритый, праздничный.

— Ну как, вояка? — поинтересовался Серов.

— На сей раз вроде не оплошал. Трех фрицев прикончил да еще броневичок подбил.

— Вот вам ваша медаль! Возвращаю! — сказал Серов.

— Ой, спасибо! — засуетился Ткач.— Я вам, товарищ капитан и товарищ лейтенант, если нужно, кители могу... Вот только...

— Поправляйтесь и больше от итальянцев не бегайте! — пошутил Серов.

— А все-таки в нашем деле доставлять людям радость приятно,— признался капитан, когда они вышли из палатки медсанбата.

В трибунале накопились дела.

Лейтенант из медсанбата выстрелил в майора. Ему нужна была машина для перевозки раненых.

Машинистка жила со старшим лейтенантом, но ушла к другому. Лейтенант застрелил ее.

Молодой сибиряк сошелся в селе с женщиной, заразился от нее. Узнав, вернулся и застрелил. Потом пришел к командиру и сам признался. Сказал при этом: «Я ей, стерве, морду набить хотел, а она мне: «Что получил, то и носи».

Дела, дела, дела.

---

[1] Все равно *(пол.)*.

По последнему делу разбирались долго. Дезертирство заменили самовольной отлучкой, но убийство осталось.

А тут еще одно ЧП — уникальное.

Девятнадцатилетний красноармеец из хозвзвода. Почти два года на фронте. Был ранен. Беспрекословно возил на передовую термосы с едой, патроны.

В один день приказ:

— На передовую!

Красноармеец:

— Не могу! Не могу убить человека! Я — верующий.

И так и сяк его уговаривали, а он твердит одно:

— Вера не позволяет!

Когда дело дошло до трибунала, ему зачитали статью: «Отказ действовать оружием под предлогом религиозных убеждений».

Он повторяет:

— Не могу!

Его судили открыто, перед строем.

Присудили штрафбат.

В бою красноармеец отличился.

В начале октября окончательно пожелтели поля и чахлые лесочки, пошли дожди.

Начало рано темнеть.

В трибунале работали при свечах и свете коптилок. Движка не было.

И вдруг Катя.

— Я совсем ненадолго... Просто очень соскучилась.

Проболтали час-другой, и она уже заторопилась.

— Как твои дела? — Алеша подчеркнул «твои», и она поняла.

— По-моему, попалась...

— Ну ничего! Видишь, как идут дела. Скоро и войне конец. Вот только за Днепр... А потом повезу тебя в Ленинград. Правда, погибли мои все и дом разбомбило...

Все ждали форсирования Днепра.

На прощание он сунул ей аттестат:

— Пошли маме!

XXVII

Осень окончательно вступила в свои права. Поблекли, словно смазались, краски. Все чаще шли дожди. Дороги размыло, и колонны войск шли вдоль дорог, по полям. Но и эти дороги не выдерживали, и рядом с ними прокладывались новые.

Из района Гуляй-Поле их перебросили на север. Теперь Катин медсанбат находился совсем рядом, и они виделись через день-два. Противоположный берег Днепра до реки Рось был крупным

партизанским краем. Все больше раненых партизан с того берега поступало в медсанбат. Там шли тяжелые бои.

Армия получила пополнение живой силой и техникой. Среди них английские танки «матильда» и «валентайн»: неуклюжие, тихоходные, хотя и бесшумные. Башни огромные — специально для цели.

Красноармейцы шутили:

— Вот вам и второй фронт! С таким не пропадем!

В двадцатых числах октября после мощной артподготовки началось форсирование Днепра от Черкасс до Канева. Но Горсков ничего не видел. Их трибунал находился во втором эшелоне, и они подошли к Днепру, когда через него было переброшено до десятка понтонов. Бои шли где-то далеко, на том берегу.

А тут очередное разбирательство.

Младший лейтенант до полусмерти избил рядового. Были свидетели.

Долго копались. Потерпевший молчал. Младший лейтенант твердил:

— За дело!

Наконец уцепились: женщина. Связистка. Младший лейтенант жил с ней больше месяца, а потом застал ее с рядовым.

Пришлось вытащить связистку.

— Я люблю,— призналась она.

— Кого же? — сурово спросил Серов.— Или сразу двоих?

— Обоих.

Вот те раз!

Младшего лейтенанта разжаловали, направили в другую часть. И опять в путь.

За сутки проехали более двадцати километров и остановились в каком-то лесочке. Впереди в низине лежало село с полуразрушенной церковью.

Расположились на ночлег. Серов, Истомин и Вязов разместились в палатке, которую натянули тут же под старым согнутым дубом, а Алеша, три красноармейца из охраны и Володя забрались в кузов машины. Часовых не выставляли, считая, что впереди на много километров свои.

Немцы ударили по лесочку неожиданно в три часа ночи. Сначала грянули минометы. Стреляли, судя по всему, из села. Первая же мина попала в капот машины. Она вспыхнула. Осколком задело одного из красноармейцев.

Воды не было.

Горсков бросился вынимать папки с делами. Володя перевязывал раненого.

— Идут,— бросил Серов с опушки.— Занимай круговую оборону.

В предрассветной мгле увидели немецкий бронетранспортер, за ним шесть мотоциклов с колясками. В каждом по два фрица.

Капитан посмотрел на Горскова:

— Алексей Михайлович, справитесь? Или помочь?

— Справлюсь!

Он был весь в копоти, гимнастерка без пояса порвалась.

Бронетранспортер тем временем повернул и пошел вдоль опушки, изредка постреливая, а мотоциклисты спешились, бросив машины, и поползли.

Горсков еще вытаскивал последнюю кипу папок, когда Серов, Володя и красноармейцы, включая раненого, дали первые очереди. Хорошо, что все давно обзавелись трофейными автоматами.

Бронетранспортер развернулся и опять прошел вдоль опушки в обратную сторону, дав два выстрела.

Алеша в изнеможении привалился на минуту к дереву, под которым сложил папки, но тут же встряхнулся и схватил свой автомат.

Залег, дал очередь и только тут заметил, что один из фрицев оказался в стороне.

«А что, если попробовать взять его живьем?» — мелькнуло в голове.

Он бросился чуть левее, скатился по склону вниз и навалился на немца. Немец брыкался, не выпуская автомата, но вдруг сник. Горсков ударил его коленом в пах и поволок в лес.

Остальные продолжали стрелять.

Наконец Серов бросил одну за другой две гранаты, и оставшиеся в живых три немца поползли назад, к мотоциклам. Бронетранспортер почему-то скрылся на окраине села. Фрицы вскочили в два мотоцикла и помчались назад. Четыре пустых мотоцикла продолжали тарахтеть в низинке.

— Товарищ капитан, можно? — Володя умоляюще посмотрел на Серова.

— Что можно? — не понял капитан.

— Я их пригоню сюда мигом! — сказал Володя.

Офицеры переглянулись.

— А что, пожалуй,— произнес Серов.— А то мы без транспорта остались.

Володя кубарем скатился под откос и по-пластунски пополз к первому мотоциклу.

Через минуту он уже был за рулем и гнал машину к лесу. С трудом взял горку и, довольный, выключил мотор.

И опять вниз.

Через пятнадцать минут все четыре мотоцикла были в лесочке.

— Ну, кто умеет? — спросил довольный Володя.

5 Заказ 1254

Оказалось, кроме него, никто.

— Я вас быстро обучу,— пообещал Володя.— Не пешком же нам ходить, имея такой транспорт.

Серов стал допрашивать немца. Он хорошо знал язык.

— Ир труппентейль?[1]

— Дриттэс батайон, дриттэс панцеррегимент дер зехьцентен панцердивизьон. Панцергренадир Ханс Шредер, хэрр официр[2],— пробурчал немец.

— Вэльхес кор бециунгсвайзе армее?[3]

— Цвайте панцерармее. Ди хат хир абер лэнгст цурюкгецогэн. Вир зинд блос ахтцеен фом ганцен батайон ам лебен геблибен[4].

— Вас фюрте зи хирхеер, ин диззс дорф?[5]

— Вир зинд фон ден унзриген цурюкгеблибен, хэрр официр[6].

— Кайне руссише зольдатен?[7]

— Кайне, хэрр официр. Блос паар цивилистен...[8]

— Странно,— сказал Серов.

Уже рассвело.

Они наскоро позавтракали, даже с немцем поделились.

В девять утра Горсков с Володей отправились на рекогносцировку.

— В селе будьте осторожны,— напутствовал их Виктор Степанович.— И чтоб штаб найти обязательно.

Володя завел мотоцикл.

А к вечеру Серов первым заметил, как со стороны села в их сторону направляется прямо по полю шикарный автомобиль с открытым верхом. За рулем сидел счастливый Володя, рядом не менее довольный Горсков.

Машина подъехала к леску, но подъем взять не смогла.

Володя и Горсков вышли.

— Все в порядке, товарищ капитан,— первым доложил Володя.— Махнулись! Фрицевский мотоцикл на эту колымагу. Настоящий «мерседес-бенц», тридцать девятого года выпуска!

— У кого же вы махнулись? Не у самих ли фрицев? — пошутил Серов.

— Почти,— сказал Володя.— Это целая история!

Оказалось, что штаб дивизии проходил через это село, но не

[1] — Ваша часть? *(нем.)*

[2] — Рядовой третьего батальона третьего танкового полка шестнадцатой танковой дивизии Ганс Шредер, господин офицер *(нем.)*.

[3] — Какого корпуса или армии? *(нем.)*

[4] — Вторая танковая армия. Но она отошла давно. Нас осталось из батальона восемнадцать человек *(нем.)*.

[5] — Как вы оказались в этом селе? *(нем.)*

[6] — Мы отстали от своих, господин офицер *(нем.)*.

[7] — Ни одного русского солдата? *(нем.)*.

[8] — Ни одного, господин офицер. Несколько цивильных... *(нем.)*

остановился. Сейчас он невдалеке от Канева. Там идут упорные бои. А машину они действительно выменяли у пленного немецкого генерала. Он с окруженной группой и белыми флагами ехал сдаваться в плен. Пересадили генерала в коляску мотоцикла и сказали: «Жми! Так быстрее будет!»

— Поблагодарить хоть успели? — опять пошутил Серов.

— Признаться, забыли, товарищ капитан! — сказал Володя.

XXVIII

Наступило непредвиденное затишье. Дел не было.

И неожиданное чувство какой-то печальной опустошенности вдруг охватило Горскова. Снова перед глазами встала Академия, ее узкие учебные коридоры, прохладные кабинеты для занятий живописью, рисунком, скульптурой. Яркими пятнами вспыхнули в памяти жизнерадостные краски росписей Рафаэлевского и Тициановского залов. Как в это мгновение он пожалел и осудил себя за то, что не дорожил тогда всем этим. И вот только сейчас, на этом обожженном пятачке украинской земли, он горько пожалел того прежнего Горскова за его, в общем-то, пустой снобизм, за никчемный и неумеренный нигилизм, за которым, понял сегодняшний Горсков, не стояло ничего, кроме обманчивого всемогущества молодости, отсутствия настоящей образованности, а главное — знания жизни.

Он почувствовал немотную тоску рук, соскучившихся по карандашу или кисти, до боли сжал пальцы. Многое отдал бы сейчас, чтобы встать перед полотном и сделать на нем хоть несколько мазков, ощутить таинственную силу с виду обычных красок: ведь ушли столетия и десятки поколений людей, а их жизнь, горести и радости, ненависть и любовь остались на картинах мастеров. И эти картины тревожат, заставляют остановить свой быстротечный бег каждого, кто соприкасается с ними...

Подул ветерок, и небо чуть рассветлелось. После долгих дождей подсыхали леса и поля.

Высушили у костра шинели и гимнастерки, сапоги, ботинки и обмотки.

И в путь.

Их колонна имела странный вид. Впереди «мерседес-бенц», в багажнике которого и на заднем сиденье, прикрытом плащ-палаткой, лежали папки с архивом, за ним три мотоцикла.

— Моторизованная колонна! — шутил Володя.

Мотоциклы вели три красноармейца, один с перевязанным ухом, а «мерседес», конечно, сам Володя.

Недавно Серов получил майора, а Горсков — орден Отечественной войны второй степени — за спасение архива.

Отметили эти события своей компанией. Впрочем, не только своей. Была и Катя.

После вечера отправились на сеновал. Там было хотя и прохладно, но зато уютно.

И они завалились в мягкое душистое сено.

Вскоре Катюша уснула, а Алеша не сомкнул глаз. Достал из планшетки лист ватмана и карандаш, приоткрыл дверь сарая и стал набрасывать портрет Кати. «Спящая девушка» — так назовет он эту картину.

Уже светало. Редкий снег пятнами лежал в полях. Тянуло холодом. Но Алеша не замечал ничего. Катюша спала так сладко, как спят довольные дети, и Алеша с наслаждением набрасывал штрихи. Еще и еще. И кажется, уже схвачена улыбка, и рука, подложенная под пухлую щеку, и закрытые глаза, которые и сейчас светятся сквозь веки. Шинель, прикрывавшую гимнастерку, потом, а сейчас лицо и руку.

Удивительно пахло сеном. В запахе его, казалось, было все — и вчерашнее, и сегодняшнее, и завтрашнее. Вчерашний день с его разнотравьем, и запахи только что прошедшего лета, и ожидание зелени будущей.

Алеша проработал до восьми, и, кажется, получилось. Теперь было завершено все, даже свалявшееся сено и уголок стены сарая с толстыми смолистыми бревнами. И луч света из двери, скользнувший по Катиной щеке.

Катя сладко потянулась и вдруг испуганно вскочила:

— Ты что? Не спишь? Ой, как здорово! Подари, Алеша! — попросила она, окончательно проснувшись, и добавила совсем по-девичьи: — Ну пожалуйста!

— Нравится? — спросил он. Ему и самому нравилось, но сейчас хотелось услышать это от другого.

— Очень! — прошептала Катя.

— Подарю, но не сейчас,— сказал он.— Хочу сделать маслом. Хорошо?

Катя не обиделась, хотя и погрустнела:

— Жаль!

Через полчаса она уже собиралась.

У нее были легкие дрожки с серым, яблоками, жеребцом.

— Что-то очень грустно,— призналась она.— Дай-ка я тебя поцелую покрепче. Может, пройдет?

— Не хандри, все будет хорошо,— попытался утешить Горсков. Хотя и ему как-то было не по себе.

А через три часа его вызвал майор.

— Мужайтесь, Алексей Михайлович,— сказал Виктор Степанович.— Мужайся, дорогой!

Алеша ничего не понимал.

— Что случилось?

— Катерина Васильевна...— он запнулся.— В общем, не доехав до медсанбата... Погибла.

Когда они примчались на мотоцикле в медсанбат, Катя уже лежала в свежевыструганном гробу, обложенная сосновыми ветками.

«Она спит... Я такой рисовал ее сегодня ночью»,— мелькнуло в мозгу.

На улице у входа в избу, где лежала Катя, оркестр неумело играл Шопена.

На подушечках, рядом с гробом, лежали орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

А он и не знал. Об этом она не говорила.

Мимо шли люди. И среди них многие в повязках, на костылях — раненые.

Алеша стоял у гроба и смотрел, смотрел на Катино лицо — совсем, совсем живое.

На лбу у него выступила испарина, а Катино смуглое лицо не менялось.

«Она спит... Конечно, спит... Вот будет утро, и тогда...»

Кто-то сунул ему под нос ватку с нашатырным спиртом.

— Спасибо, не надо,— сказал он вяло.

Вскоре гроб вынесли на улицу.

Он побрел вслед впереди оркестра. Рядом шагал почетный караул.

За деревней они свернули влево, к пруду с кургузыми ивами по берегам.

Шли, казалось, бесконечно долго, и он не отрывался от лица ее, на которое падали робкие снежинки. Они почему-то не таяли, словно это был не снег, а тополиный пух.

На краю озера у старой ивы была готова могила.

Опустили гроб, и кто-то начал говорить. Сначала военврач, потом какая-то женщина в длинной шинели.

К нему кто-то подошел:

— Вы не хотите сказать?

— Нет, спасибо,— он почему-то испугался.

Он не понимал, что говорят другие, а смотрел в ее лицо. Снежинок все больше и больше. На бровях, на ресницах. На пушке подбородка.

Подумалось: «Какое-то наваждение... Так не может быть... С другими могло... Со всеми может... Но только не с ней... Сейчас, сейчас сон пройдет, и все выяснится...»

Уже кончились речи, и гроб закрыли и подтянули к краю могилы, а он все думал: «Сейчас... Сейчас...»

Вдруг повернулся и пошел прочь. Сзади гремели комья земли. Оркестр играл гимн, а он шел к деревне не по дороге, а прямо по целине. Шел и спотыкался. Володя бежал за ним.

— Сюда, товарищ лейтенант, сюда,— подсказывал Володя.

Он залез в коляску мотоцикла.

— Поехали скорей отсюда.

Ехали, молчали.

Наконец Володя робко спросил:

— Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант! Вы узнали, как все это случилось?

Он вспомнил, что не узнал.

Да и какой смысл сейчас в этом?

— Нет,— сказал он Володе.— И зачем все это?

Во сне он видел себя с Катей в Ленинграде. Их дом шестнадцать на улице Марата цел, а мама и баб-Маня ждут их на парапете Музея Арктики. Алеша держит за руку двух девочек — побольше и поменьше — и знакомит:

«Мои дочки!»

«Они в тебя,— говорит Мария Илларионовна.— Как похожи! Не сердись, Катюша! По-моему, они в Алешу».

А Катя молчит...

Почему молчит Катя?

XXIX

И опять дела, дела.

Пять солдат на глазах у младшего лейтенанта упились древесным спиртом и погибли.

Полковой повар обварил супом дежурного па кухне.

А Алеша писал.

Старался для этого выбрать каждую свободную минуту.

Сделал в масле Катю. Получился небольшой портрет. Побольше — после войны.

И вообще Алеша теперь понимал, что форма, воспринимаемая им раньше преимущественно в ее пространственных качествах, стала ускользающей, подверженной бесконечным становлениям, изменениям, форма стала временной.

Он вспомнил Академию: «Натура — альфа и омега живописного искусства».

А пока в масле идет «Предатель». Теперь все-таки так: развалины дома на первом плане и он, прижавшийся к полуразрушенной стене. В проломе стены на заднем плане — атака.

Серов сказал:

— Признаюсь, не ожидал. По-моему, это хорошо.

Катю он не показывал. И никому не покажет. Не может показать.

Ему неважно было, хорошо или нет. Лишь бы работать, работать, работать!

Сколько было смертей позади, и надо бы сохранить этого «Предателя». Теперь в его лицо добавились и черты Хохлачева, и Дейнеженко, и людей, убивших активистов, и брата Ивася...

И, конечно, дела, проходившие через трибунал.

Лицо предателя удавалось все больше. Хорошо, что он взял его главным, крупным планом. Так играет каждая черточка, складка, морщинка. И страшные — огромные от пустоты глаза. Впрочем, глаза надо искать и искать еще!

За несколько дней до Нового года Серов сказал:

— Кажется, Алексей Михайлович, я смогу вам приготовить рождественский подарок.

Алеша удивился.

— Потерпите пару дней,— загадочно произнес майор.

И опять дела.

Пожилой старшина живет сразу с двумя — с женщиной пятидесяти одного года и дочерью тридцати. Бабка восьмидесяти лет пожаловалась...

Шофер украл три канистры спирта с ликеро-водочного завода. Потом доказывал: «Не себе!»...

За два дня до Нового года Серов привел к Горскову какого-то человека:

— Алексей Михайлович, прошу познакомиться!

Горсков, взглянув на гостя, вздрогнул:

— Федотов? Саша?

Они обнялись и долго не могли прийти в себя.

— Вот вам новый писарь, Алексей Михайлович,— сказал майор.— А пока не буду вам мешать.

Федотов, Александр Владимирович Федотов. Прекрасный художник, имевший до войны свои персональные выставки. Все их Горсков видел. Алеша вместе с Федотовым учился в Академии. Только Федотов был в сороковом году на последнем курсе. Да, в сороковом он Академию закончил. И тогда, осенью, у него была еще одна выставка в Доме ученых, которую Алеша уже не успел посмотреть: он попал в армию.

— Помнишь?

— Конечно!

— А ты?

— Еще бы!

В Академии они часто встречались. Федотов был членом комсомольского комитета, и на этой почве их дороги пересекались. Однажды Федотов даже смотрел Алешины работы. Специально ходил в торговый порт, смотрел его акварель и картину «Каторжный труд лесорубов в царской России». Картину за-

рубил («Не пережито, по-моему»,— сказал), а акварели похвалил.

Они были на «ты», но Алеша с почтением глядел на Федотова. Тот по-прежнему оставался для него недосягаемым.

И вот сейчас что-то давнее, близкое встрепенулось при встрече с Федотовым.

Он слушал одиссею Федотова, а сам думал: «Завтра брошу все и попробую сделать плакат. Давно не пробовал. Солдат пьет воду из каски. И внизу подпись: «Пьем воду родного Днепра, будем пить из Днестра, Прута, Немана и Буга! Очистим советскую землю от немецко-фашистской нечисти!»

А Федотов рассказывал:

— Погорел я в районе Первомайска. Фрицы загнали нас в плавни с четырех сторон. Орудия утопили. Я держал лошадь командира дивизиона Маневича, когда того ранило в живот. Он на моих руках умер. Погибли Левенчук, Остапов, Соловьев, Кедров. Я метался с лошадью по плавням, и вдруг меня свалило, обожгло... Потом оказалось, фриц с «хейнкеля». Очнулся: волокут немцы. Куда? Зачем? Ничего не понимаю. Погрузили на подводу, долго везли, я все время терял сознание. Когда приходил в себя, видел, как плачут женщины на дорогах, как к ним жмутся дети. Потом опять провал. Очнулся, чувствую — кровь из ушей, из носа. Въехали в какой-то городишко. Прочитал объявление: «Кто из гражданского населения будет обнаружен на территории города, подлежит немедленному расстрелу». Потом колючая проволока, дозорные вышки, много собак. На столбе надпись: «Переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела». Это только по-русски. Название городка так и не узнал. Из лагеря, где было много штатских, отправляли в Германию. Было много детей по тринадцать — пятнадцать лет, молодых женщин! Их увозили эшелонами. Нас, мужиков, да еще военных, было мало. Каждый день в лагерь привозили все новые и новые партии. Меня почему-то даже не допрашивали. Гоняли на работу по очистке с собаками. Псы были злые. Злее немцев. Я подружился с фельдшером, нашим, русским. Немолодой. Лет за сорок. Штатский. Он меня и спасал. Первый раз я бежал в январе. Неудачно. Вернее, поначалу все было хорошо, но собаки быстро нашли след, и меня поймали. Вернули в лагерь. Посадили в нечто похожее на одиночный карцер. Два месяца я делал подкоп. Потом полтора ждал удобного случая. Как говорится, наученный горьким опытом. В апреле повезло. Вырвался. Прошел по немецким тылам больше трехсот километров. Всякое, конечно, было. И у партизан побывал, но остаться не пришлось. Началось кровотечение. Выходила меня травами одна добрая старушка. Потом опять пошел. Вышел к своим, а тут меня на проверку. Прошел, конечно, хотя полгода ушло. Уж очень у меня запутанная история была. Ну и вот теперь к вам...

XXX

Утром Алеша принес Федотову плакат.

— По-моему, получилось,— сказал Александр Владимирович.— Надо срочно показать майору.

Виктор Степанович загорелся:

— Немедленно повезу в политотдел. Здорово! И то, что сейчас очень нужно.

Горсков не решался показать Федотову «Предателя», а особенно «Спящую девушку». И вообще он пока ничего не рассказывал Саше про себя, про Катю.

Плакат Горскова дошел до штаба армии и даже фронта, всюду был одобрен и потом размножен.

Алешу пригласили в штаб 2-го Украинского фронта.

Командующий фронтом Иван Степанович Конев вручил ему орден Красной Звезды.

Член Военного совета Иван Захарович Сусайков предложил работу в штабе.

Но Горсков отказался.

Он не мог уйти от Серова, Истомина, Визова, от всех своих, а теперь еще и от Федотова. И почему-то казалось, что там, у себя, он ближе к Кате. Глупо, конечно, он понимал, но так было.

Зима на Украине стояла слякотная. То ли зима, то ли осень, то ли весна. Были и светлые, ясные солнечные дни, и вовсю гомонили птицы, и в воздухе пахло мартом-апрелем.

В один из таких дней Алеша решился:

— Хочу, Саша, показать тебе кое-что. Только не суди строго!

И он показал «Предателя».

Федотов смотрел молча и долго.

И отходя от картины, и подходя к ней.

— Ты знаешь, Алеша,— сказал наконец,— пожалуй, только сейчас я понял, что без трагедии нет настоящего искусства. Хлебнешь ты горя с этой картиной. Но не верь никому, не сдавайся! Это — настоящее! И, боже, как ты вырос от того «Каторжного труда...». Ведь это небо и земля. Ты потряс меня!

Алеша не знал, что сказать. Федотову он верил. Но неужели в самом деле так?

Он достал портрет Кати:

— Посмотри это. Называется «Спящая девушка».

— Прелесть! — с ходу сказал Федотов.— И посмотри, какой ты разный. Эта «Девушка», и рядом «Предатель», и тот же твой плакат. Это хорошо, Алеша, очень, очень хорошо! Признаюсь, даже не ожидал от тебя. Ты прирожденный колорист, с видением мира, начисто лишенным плоской натуралистичности, как бы ни

была сильна твоя тяга к конкретности и убедительности изображаемого. Я бы так не смог...

Все это было как сон.

Алеше вернлось и не вернлось.

В тот же день он начал набрасывать новую картину. По замыслу — «Отступление». Берег Днепра. Боец без каски пригоршней берет воду. Словно прощается с родной рекой. В лице должна быть смертельная усталость и тоска. И решимость, что он еще вернется, обязательно вернется.

Алеша работал с увлечением. Сейчас понимал, что он нужен. И не только в трибунале. Плакат, который был известен уже всему фронту, оказывается, пригодился.

Федотов видел, как он писал «Отступление».

Сказал:

— Расположение фигуры, пятна света и тени, сам тип головы — все это выходит у тебя не так, как у других. Это — прекрасно!

Серов достал Горскову еще красок. Земляные — охры, сиены, умбры, марсы. Минеральные и искусственные — кадмий, белила, кобальты, ультрамарины, краплаки, прусскую синюю, окиси хрома. И холст.

— Как вам это удалось, Виктор Степанович?

— Немцы отступают, а у них кое-что было,— загадочно объяснил майор.

Теперь все, что Горсков делал прежде — какие-то портреты, зарисовки, этюды,— казалось детской забавой.

Он показал Федотову сделанное вчерне «Отступление».

— Ты растешь на глазах,— порадовался Александр Владимирович и, подумав, добавил: — А не кажется ли тебе, Алеша, что солдат твой должен чуть больше привстать на колено? Понимаешь, как перед полковым знаменем? Словно он дает клятву?

— Пожалуй,— согласился Горсков.— Пожалуй, это идея!

И он вновь влез в работу.

Вспомнил слова ректора Бродского еще в Академии:

— Талант — не все. Работать нужно каждый день!

Но почему там делали упор на жанр, а не на человека?

Вспомнил преподавателя Николая Сергеевича Богданова:

— По-моему, ты, Горсков, жанрист, а пейзажи у тебя так, гарнир!

После очередного прорыва пришлось хоронить убитых немцев. Бросили на это дело всех. Оказывается, похоронная команда ушла далеко вперед.

Возились несколько часов.

— А ты заметил, Алеша,— сказал Федотов,— как наши хоронят убитых? Берут за головы, за плечи, но только не за ноги. Немцы не так. Я видел.

— А ведь это тоже характер человека,— согласился Горсков.— Чтобы головы не бились, не царапались о землю. Русский человек в основе своей гуманен...

В одном из взятых городков Горсков достал маску Лаокоона[1]. Поначалу был счастлив. Потом вдруг бросил ее, забросил кисти и мольберт.

Ходил сам не свой.

Федотов заметил:

— Ты что захандрил?

— Да вот Лаокоон,— признался Алеша.— Будь он неладен. Лучше бы я его не видел!..

— Подожди! Подожди! — воскликнул Александр Владимирович.— Помнишь Петра Митрофановича Шухмина?

— Конечно, помню.

Шухмин был одним из лучших преподавателей в Академии.

— Вспомни, что он говорил,— напомнил Федотов.— И тебе тоже, когда смотрел твой «Каторжный труд...», и еще, дай бог памяти, была у тебя картина о земле. Напомни!

— «Вручение Акта на вечное пользование землей»,— сказал Алеша.

— Да, да... Так вспомнил, что говорил Шухмин? Жанром занимайтесь, жанром! И Бродский то же! Так что не валяй дурака и садись за свое «Отступление».

Горсков засел. И кажется, дело пошло. Начал теперь не с фигуры и не с Днепра, а с лица. В лице появилась та безотчетная вина перед оставшимися под немцем, которую он так часто видел в лицах бойцов и которую чувствовал сам, когда слышал: «Худющий-то какой...» И та вера, что они вернутся, та внутренняя твердость и жажда к Днепру и форсировали его.

Пошло, пошло.

И фигура на одном колене сразу определилась, и руки, берущие воду из реки. И жадные, пересохшие губы. Как клятва у знамени.

Все пошло.

— Получается очень заметная вещь,— поддерживал его Федотов.— Не хуже «Предателя» и «Спящей девушки». А в чем-то даже и по-новому. Конечно, и с ней ты хлебнешь. Но будь упрям и стоек!

XXXI

Зима устанавливалась. Ударили первые легкие морозцы. Поля покрылись легким снежком. Подсохли дороги. Часто мела поземка.

Против их фронта немцы держали часть шестой армии — два-

---

[1] Персонаж древнегреческого мифа.

дцать две дивизии, среди них пять танковых и две моторизованные. В резерве у немцев были две танковые, одна моторизованная и три пехотные дивизии.

Все же фронт медленно, но упрямо наступал.

В конце января вместе с Первым Украинским фронтом было завершено окружение корсунь-шевченковской группировки немцев. В котел попали десять дивизий и одна бригада — 73 тысячи солдат и офицеров. Немцы пытались прорваться в районе Новомиргорода и Толмача, но безуспешно, 17 февраля котел был полностью уничтожен, а 10 марта войска фронта взяли Умань.

Под Уманью, километрах в десяти — двенадцати, Горсков и Федотов и попали в один странный дом.

Собственно, это было подобие старинной усадьбы с высоким крыльцом, облезлыми колоннами и такими же облезлыми львами.

Адрес им подсказал майор Серов:

— Сходите, полюбопытствуйте, вам должно быть интересно.

Дом стоял в старом парке, весь занесенный снегом. В парке росли дубы и клены. Снег вокруг них был усыпан сухими листьями и сучьями.

Алеша и Саша поднялись на крыльцо и дернули за шнур звонка.

Дверь им открыла дама, кутающаяся в меховую накидку. На вид ей было лет пятьдесят.

— Здравствуйте,— сказала она,— милости прошу, милости прошу!

Все стены прихожей были увешаны картинами. Картины уходили и вверх, вдоль лестницы на второй этаж.

Горсков и Федотов засмущались, но дама их опередила:

— Видимо, вы и есть те художники, о которых мне сказал гос. простите,— поправилась она,— товарищ майор?

— Ну, не совсем,— сказал Алеша.

Со второго этажа сбежала хрупкая девушка и запросто поздоровалась с ними, представилась:

— Меня зовут Светлана.

— Это наша младшая,— пояснила дама.

Коллекция, даже по первому взгляду, была довольно разномастной. Пейзажи Ярошенко, этюд Айвазовского, «Осенняя роща» Кончаловского, какие-то зарубежные мастера, и тут же Карпов — «Неждапова», «Барсова», два карандашных наброска Сталина и пейзаж «Гори».

Сразу же мелькнуло в голове: «Как же Сталин здесь был при немцах?»

Матильда Константиновна повела их наверх, Светлана побежала вперед.

Они вошли в уютную комнату с книжными шкафами по стенам.

Матильда Константиновна зажгла в канделябре свечи, хотя было еще совсем не темно, а Светлана куда-то умчалась.

— Ах, эта ужасная война,— вздохнула она,— все запуталось, перепуталось. Такой кошмар! И как, когда все это только кончится...

— Скоро кончится,— сказал Саша.— Теперь уже недолго.

— Не говорите, не говорите! — продолжала Матильда Константиновна.— У вас, может, и кончится, а у нас уже никогда.

Чтобы как-то выйти из затруднительного разговора, Алеша решился:

— Матильда Константиновна, у вас там на лестнице рисунки художника Карпова. Товарищ Сталин... И «Гори». А как же при немцах-то?

— О, немцы меня не трогали, но Сталина я, конечно, сняла. «Гори» оставила, поскольку они все равно ничего не понимают.

— И немцы не растащили вашу коллекцию? — спросил Саша.

— Ну что вы! — сказала она.— И как бы они посмели! Ведь мой муж Викентий Иванович служит в РОА.

Горсков и Федотов переглянулись.

— Что? У самого Власова?

— Да, да, конечно. Викентий Иванович и в плен попал вместе с генералом Власовым... Я же говорю вам: эта ужасная война! Муж в РОА, а сын в Красной Армии, капитан в артиллерии. Не знаю только, жив ли? Представляете, сын воюет против отца, отец против сына. Это кошмарно!

— Как же это так? — вырвалось у Алеши.

— Муж дважды приезжал сюда, конечно при немцах,— простодушно объясняла Матильда Константиновна,— и я сама задавала ему этот вопрос. Но у него, понимаете ли, убеждения, а что я могу поделать, слабая женщина? Все это не укладывается в голове. Викентий окончил в Москве Академию бронетанковых войск, сын артиллерийское училище, и вот...

Она говорила вроде и искренне, но уже как-то очень легко и просто, как будто речь шла о мелких неурядицах в жизни.

Прибежала Светлана, стала накрывать стол. Появились красивые чашки, сахарница, вазочки с вареньем. Все было прочно и основательно в этом доме.

— И давно вы здесь живете? — поинтересовался Алеша.

— О, с тридцать четвертого года! — воскликнула Матильда Константиновна.— Приобрели у одной выжившей из ума бывшей помещицы. Дети были совсем маленькими. Володе — двенадцать. Светочке — семь. А здесь такая прелесть. Природа, тишина! А воздух какой! И никаких городов не надо. Мы уж намотались по разным городам. Знаете, что такое судьба семьи военного! Потом, конечно, Викентий Иванович уехал в Москву учиться и Володя —

в Киев, в училище, но они наезжали. А мы коротали время со Светочкой. Я учительствовала... В общем, жили припеваючи, если б не эта война...

Алеша заметил, что Светлана («Значит, ей лет семнадцать-восемнадцать»,— отметил он) все время не сводит с него глаз.

Когда кончилось чаепитие и они пошли смотреть коллекцию, она шепнула:

— А вы мне очень нравитесь, а я — вам?

Он промолчал.

Коллекция действительно была странная, но любопытная. «Приговор» Матейко и «Сено» Сислея. «Торфяные болота» Велтла и эскиз «Вечер в горах» Франка. «Участница восстания» Каплинского и «Портрет старика» Григореску. «Костел» Вишолковского и эскиз «Раненый повстанец» Виткевича. И еще Пурвит, Билибин, Коровин, Степанов, Савенко, Рябушкин, Орловский, Борисов, Петровичев...

У Алеши глаза разбегались.

Федотов смотрел на все это, кажется, спокойно...

Они опять вернулись к Айвазовскому, Ярошенко, Кончаловскому и Карпову, который был здесь в некоей дисгармонии. Нет, еще пейзаж «Гори», «Нежданова» и «Барсова» — ничего, а рисунки, изображающие Сталина?

— Вы знаете,— говорила Матильда Константиновна,— что это с натуры? Сталин позировал ему.

Горсков слышал об этом еще до войны, но сейчас увлекся картинами и не расслышал Матильды Константиновны.

Алеша обнаружил еще несколько работ, может самых интересных. «Полоскание белья» и «Саша» Серова. Это было прекрасно. И эскиз Маковского к «Похоронам в деревне». Тоже интересно. А это что? Боже, так это «Осенние листья» Васнецова и «Звенигород» Левитана!

— Сколько же у вас картин, Матильда Константивновна? — поинтересовался он.

— Около ста,— сказала она.— Правда, хороши?

— Интересно,— признался Алеша.

За неделю, пока штаб стоял под Уманью, они ходили в странную усадьбу еще несколько раз. Опять были чаепития и вздохи по поводу ужасной войны, но главное, конечно, картины.

В двадцатых числах марта Алеша забежал в усадьбу один. Федотов был занят. Как рядовой он нес патрульную службу.

Матильда Константиновна, как всегда, была любезна, а Светлана не скрывала радости:

— Как хорошо, Алексей Михайлович, что вы пришли одни!

И она чуть приподнялась на цыпочках и неожиданно чмокнула его в щеку.

Алеша смутился.

— Светочка у нас влюбчивая,— пошутила Матильда Константиновна.— Берегитесь, Алексей Михайлович!

Пили чай, как всегда, в комнате с книгами, при свечах.

— А у меня, да и у нас радость,— словно вспомнила Матильда Константиновна.— Вот смотрите, Володя прислал.

И она протянула письмо сына Алеше.

Он смущенно вертел обычный фронтовой треугольник.

— Да вы читайте, читайте, не смущайтесь, Алексей Михайлович,— говорила Матильда Константиновна.

«Милая мамочка и сестричка! Судя по сводкам, вас уже освободили, и я спешу написать вам. Срочно ответьте, как вы, как пережили страшное время оккупации. У меня все нормально. Наступаем. Скоро будем в Берлине,— читал Алеша.— За всю войну я был дважды несерьезно ранен. Где наш отец? У меня давно с ним потеряна связь...»

— Значит, ваш сын ничего не знает?

— Увы,— сказала Матильда Константиновна.— И что ему теперь ответить?

Светлана слушала их разговор рассеянно, словно речь шла о чем-то постороннем.

Когда мать вышла, она бросилась к Алеше:

— Ну, поцелуйте меня, Алексей Михайлович! Поцелуйте же! Я требую!

Он резко отстранился.

— Я же люблю вас! — шептала Светлана.— Сразу, как вы появились... Я поняла, что всю жизнь ждала вас, только вас.

Она, казалось, была сама непосредственность, и беззаботность.

— Я поеду за вами куда угодно, хоть на край света! — шептала она.

Алеша сказал серьезно:

— А мы сегодня или завтра уезжаем...

XXXII

Настала весна, буйная, как все на юге. Зазеленели озимые, покрылись листвой деревья, пошла в рост бархатистая трава. Крестьяне в этих местах работали на полях, в садах и огородах, несмотря на оккупацию. Даже виноградники здесь сохранились.

26 марта войска их фронта вышли к государственной границе. Не там, где Горсков начинал свою службу, а южнее. Каменец-Подольск, Долина, Куты оставались где-то в стороне, а теперь позади были Южный Буг и Днестр, впереди Прут.

20 августа, после артподготовки, фронт снова двинулся. 21 августа пали Яссы.

В тот же вечер Сталин прислал директиву: «Сейчас главная задача войск 2-го и 3-го Украинских фронтов состоит в том, чтобы объединенными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения кишиневской группировки противника. Ставка требует основные силы и средства обоих фронтов привлечь для выполнения этой главнейшей задачи, не отвлекая сил для решения других задач. Успешное решение разгрома кишиневской группировки противника откроет нам дорогу к основным экономическим и политическим центрам Румынии... Вы имеете все возможности для успешного решения указанной задачи, и вы должны эту задачу решить».

В огромном котле оказались пять немецких армейских корпусов. Группировка была разгромлена. 24 августа войска 3-го Украинского фронта вошли в Кишинев, а передовые части 2-го Украинского фронта вышли на ближние подступы к Бухаресту. А в сентябре они были уже на границах Югославии и Венгрии.

Особенно трудные бои шли за Дебрецен и Ньиредьхазу. Прорвав после короткой артиллерийской и авиационной подготовки оборону противника, фронт продвинулся на восемьдесят — сто километров и вышел в район Каргаца. Однако возле города Орадя наши части остановились. Казалось, немцы и венгры стояли насмерть. Второй эшелон, в котором находился трибунал, попал под сильный артиллерийский и минометный огонь. Слева и справа показались немцы и венгры.

Серов дал команду занять круговую оборону.

Горсков лежал в ложбинке за естественным укрытием рядом с Серовым и вел прицельный огонь из автомата.

Когда немцы и венгры приближались, в ход шли гранаты.

Так было тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого октября. Бои шли днем и ночью. Некогда было даже поесть. Спали урывками, по два-три часа в сутки. Противник пытался вывести из-под удара 8-ю немецкую, 1-ю и 2-ю венгерские армии и сопротивлялся отчаянно.

Шестнадцатого октября венгры под прикрытием немцев пошли в атаку. Из глубины обороны ударили минометы. Первым взлетел их трофейный «мерседес-бенц», спрятанный в кустарнике. Слава богу, что архив был не в нем, а в новом газике, полученном месяц назад.

— К бою! — крикнул Серов.

Полетели гранаты.

Венгры чуть замешкались, отступили.

Вроде настала тишина. Передых.

Вечер и ночь прошли спокойно. Но наутро на их позиции пошли немцы с остатками венгров.

Из глубины обороны ударила самоходка «фердинанд».

Через несколько минут она уже вылезла из-за окраинных домиков селения и направилась к позициям трибунальцев, вздрагивая при каждом выстреле.

— Можно, товарищ майор? — перед Серовым вырос Володя.— Я ее гранатами!

Серов переглянулся с Истоминым и Вязовым.

— Давай, Володя, выручай!

Володя схватил в правую руку три гранаты и вывалился из-за укрытия, пополз вперед. Немецко-венгерская цепь, словно по заказу, разорвалась, пропуская вперед «фердинанда».

Самоходка была в нескольких метрах от Володи, когда он вскочил на ноги и с силой бросил гранаты.

«Фердинанд» остановился, но Володя тут же упал.

Ранен или упал умышленно?

Немцы и венгры, увидев горящую самоходку, стали отползать назад.

Володя не вставал.

— Я сбегаю, Виктор Степанович? — попросил Горсков.

— Подождите, Алексей Михайлович! — буркнул Серов.

Самоходка продолжала гореть.

Открылся люк, и из него выскочили три фрица в дымящихся комбинезонах.

Горсков автоматной очередью уложил их.

Немцы и венгры уже отползли к селению.

— Виктор Степанович! — опять попросил Горсков.

— Ну ладно, давайте,— согласился тот.

Алеша полез, оставив свои гранаты и бутылки.

Метр, пять, двенадцать.

Вот и Володя.

Он лежал лицом вниз, прошитый автоматной очередью.

— Володя! — тронул его Горсков и осекся.

Володино лицо с широко открытыми глазами замерло. По шее текла кровь.

Взвалив Володю на себя, Алеша пополз обратно.

— Вот... Все...— тяжело дыша, сказал он, вернувшись к своим.

Все сняли шапки.

Могилу вырыли на пригорке, в кустах, рядом с машиной.

Никто ничего не говорил.

Только Серов, когда Володю уже положили в могилу, сказал как-то неестественно тихо:

— Парень был...

Ни в этот, ни в следующий день немцы и венгры их не беспокоили.

Девятнадцатого приехал из штаба дивизии посыльный и привез приказ перебазироваться вперед.

Теперь в их хозяйстве остались газик и три мотоцикла. С помощью Володи теперь все стали водителями.

Через три часа они были уже в местечке Деречке, южнее Дебрецена. Разместились основательно в домах. Гражданского населения здесь не было.

А уже утром снова в путь — в только что взятый Дебрецен.

Город еще дымился и лежал в развалинах. Отступая, немцы взорвали многие дома, мельницу, вагоноремонтный завод. Горели склады.

Трибунальцы заняли первый этаж школы. Второй был разрушен.

Город был забит нашими войсками, техникой, лошадьми.

Играли гармошки, аккордеоны, баяны. Дымили походные кухни.

После ужина Горсков и Федотов решили пройтись по городу.

Уже стемнело. Они миновали несколько улиц и вышли на площадь к мрачному зданию костела.

На площади горели костры. Стояли распряженные тачанки, видимо из конномеханизированного корпуса. Возле одного из домов — танк «ИС» и три «тридцатьчетверки».

На танке стоял капитан и читал собравшимся вокруг красноармейцам и командирам какой-то документ.

— «Чувство мести к врагу мы должны обрушить на головы подлинных виновников этой кровопролитной войны... Нельзя смешивать дважды порабощенное немецким и венгерским фашизмом трудящееся население Венгрии с преступным венгерским правительством...»

— На нас работает! — пошутил Алеша.

Никто, казалось, не заметил, как в хмуром октябрьском небе тяжело проплыл самолет.

Площадь вздрогнула, три бомбы одна за другой грохнули с неба. Раздались крики, ржанье взметнувшихся лошадей.

Федотов отлетел куда-то в сторону, а Алеша почувствовал острую боль в правой руке и упал на брусчатку.

Откуда-то ударили зенитки, а Горсков лежал, ничего не понимая, прижав правую руку к холодному камню.

— Ты что, Алеша? — подбежал Федотов.— Вставай! Вставай!

Алеша бессмысленно смотрел на Федотова:

— Не могу, Саша, не могу!

— Давай я тебя,— суетился Федотов, стараясь приподнять Горскова, но тот заваливался на бок.

Алеша старался плотнее прижать горящую руку к мостовой. Так боль была терпимее.

А зенитки продолжали палить в черное небо. Трассирующими били пулеметы.

На площади кричали раненые... Три лошади лежали с разорванными животами. Одна, с перебитыми ногами, билась.

— Прикончи! Прикончи ее! — кричал кто-то.

Раздался выстрел, и лошадь затихла.

В свете костра Алеша увидел красноармейца, который прижимал к животу свой автомат. Под ним расплылось пятно крови. Он сам упал на автомат, и тот выстрелил.

Кто-то впрягал в тачанки лошадей, и на них клали раненых. Кто-то матерился.

— Славяне! — кричал осипший голос.— Где вы, славяне?

Наконец Федотов силой оторвал Алешу от мостовой и поставил на ноги. Правый рукав шинели и гимнастерки у него был разодран. По клочьям текла кровь.

Алешу качало и подташнивало.

— Ты можешь идти? Здесь близко! Очень прошу тебя, Алеша, ну пожалуйста! — умолял Федотов.

— Я попробую, не сердись, я попробую,— шептал Алеша.— Как глупо! Как глупо!..

Они двинулись в сторону своих.

— Обопрись на меня, больше обопрись! — просил Саша.

— Сейчас, сейчас, только отдышусь,— повторил Горсков.

Его вырвало, стало чуть легче.

Левой рукой он прижимал правую, и она тоже была вся в крови.

Они добрались с трудом.

Алешу перевязали как могли, но все понимали, что ранение тяжелое.

— Надо искать врача,— сказал Серов.

Притащил откуда-то военфельдшера, пожилого мужчину с прокуренными усами.

Тот смотрел рененого.

— У вас транспорт есть? Немедленно в госпиталь!

Завели газик, погрузили Горскова в кузов. С ним поехали Серов и Федотов.

По пути Алеша впал в беспамятство и, когда они приехали в госпиталь, уже ничего не понимал. В голове мелькали Катя, Светлана и почему-то Вера.

XXXIII

Он пришел в себя на вторые сутки — в чистом белье, в большой десятиместной палате. Первое, за что ухватился,— рука. Она была цела. Правда, в бинтах и на привязи, но цела.

«До чего не повезло,— подумал.— Отвоевался на самом финише войны. И так бездарно, глупо!»

Его каждый день навещали трибунальцы.

Через неделю Серов сказал:

— Кажется, завтра мы двинемся дальше... Но вы не огорчайтесь, Алексей Михайлович, вы нас еще догоните.

— Теперь не догонишь...

Горсков подумал, попросил:

— Скажите, Виктор Степанович, чтобы Федотов ко мне сегодня забежал...

Федотова он попросил:

— Саша, собери мои вещички. А главное, мои работы. Свяжи их покрепче. И занеси, если можно, сюда.

Они обнялись.

Саша все принес — чемодан и картины.

— И...— Алеша не знал, как начать.— Рисовать тебе надо, Саша!

Федотов задумался.

Потом сказал:

— Сам знаю, но что-то оборвалось во мне, Алеша, после всего, что случилось. Особенно после этих шести месяцев проверки...

Первые две недели прошли благополучно, но потом рука опять заныла. Он уже знал, что ранение нелегкое: задеты кость и сухожилия.

— Придется ампутировать,— сказали врачи.

Горсков восстал:

— Ни за что!

Он понимал, что все рушилось. И «Спящая девушка», и «Предатель», и «Отступление», и все задумки на будущее.

— Ни за что! — повторил он начальнику отделения.

Его уговаривали, грозили, а он повторял одно:

— Ни за что!

Он дал подписку.

В декабре его погрузили в теплушку санитарного поезда. Поезд двинулся по узкой венгерской и румынской колее через Трансильванию на Яссы. Потом пересадка, санпропускник, и дорога, уже наша, пошла на Киев. Рука ныла. Он старался не смотреть на нее. Температуру скрывал. Боялся, что снимут с поезда.

Лишь в начале января они добрались до Москвы.

В Москве было очень холодно. Крепкие морозы сменялись пургой и метелями. Улицы еще плохо чистили, и город был завален снегом. Машины, автобусы, троллейбусы шли в один ряд. С крыш свисали огромные сосульки. Тротуары превращались в наледь и катки, люди скользили. В переулках совсем тесно. Слева и справа огромные горы снега.

Горскова отвезли в Сверчков переулок в госпиталь, что находился в бывшей 113-й школе. Госпиталь был старый, сложившийся-

ся, со своими традициями. Видимо, он существовал тут с начала войны.

Первый же обход врачей был неутешительный.

— Запустили, молодой человек, запустили!

Сделали снимки.

— И осколки остались. Металл и кость.

Его опять повезли на операцию.

— Доктор, а руку вы мне сохраните? Понимаете, я без руки...

Он не договорил.

— Попробуем, попробуем, молодой человек.

Операция длилась часа полтора. Горсков все видел, слышал, но ничего не чувствовал. Потом куда-то провалился.

Проснулся, пощупал руку: цела. Посмотрел в окно. Там каркали вороны, жались к карнизам воробьи и голуби.

Крыши домов лежали в огромных шапках снега. Из многих форточек торчали трубы «буржуек». Чуть левее в большом доме был отбит угол, стена испещрена осколками.

«Видимо, бомба попала»,— отметил про себя Горсков.

В феврале, накануне Дня Красной Армии, в Москве появилась Светлана.

— Ну, как ты здесь?

Она сразу заговорила с ним на «ты».

Ему показалось, что Светлана очень изменилась. Похорошела, что ль? Или посерьезнела? Повзрослела?

А она уже хлопотала в палате. Появились ведро и тряпка. Были вынесены судна и утки у лежачих. Санитарок не хватало, и Светланины заботы пришлись кстати.

Светлана пробыла больше недели. К ней привыкли, и, когда она уезжала, загрустили все обитатели многоместной палаты.

— Обязательно пиши,— наказывала Светлана.

— Как?

— Пиши левой, учись.

— Но у меня же и на левой нет двух пальцев!

— Все равно учись!

И он мучительно учился. Пробовал писать. Бросил. Каракули! Пробовал рисовать. Сделал карандашный набросок: липы и дубы за окном. Бездарно!

И опять писать, писать, писать. Держать карандаш двумя пальцами, да еще левой руки, было безмерно неловко и трудно. Но он держал. И продолжал водить по бумаге.

А война шла далеко за пределами наших границ. 13 февраля в приказе Сталина прозвучал номер их дивизии. Она отличилась в боях за Будапешт.

Фронты вовсю наступали на Берлин.

Первые два письма уже с меньшими каракулями он написал

Светлане и Саше Федотову. Сашу и всех трибунальцев поздравил с Будапештом.

А Светлана? Он много думал об их отношениях. Была ли это любовь?

Он не мог ответить себе на этот вопрос.

И потому написал Светлане дружески, но сдержанно и на «вы», как обращался с ней прежде.

Он начал рисовать левой. Пейзажи не получались, а портреты какие-никакие, на потребу, выходили. Рисовал соседей по палате, врачей, сестер. Они были довольны, приходили в восторг. Еще бы: кто их рисовал когда-нибудь?

Рисовал Горсков карандашом и акварелью. Акварелью получалось чуть лучше. Карандаш его утомлял, а акварельные краски шли легко, с удара, как говорится. И краски не надо месить, как масло. Это был, конечно, самообман, он понимал. Его тянуло к маслу.

Он вышел из госпиталя в мае, на третий день после победы. Правая рука его была в черной перчатке.

Надо все начинать сначала.

Но как?

XXXIV

А Москва жила победой. И май был под стать этой радости, которую так долго ждали и ради которой отдали столько жизней.

Первое, что решил Алексей Михайлович: никакой Умани, никакой Светланы. Решил бесповоротно. Почему? Он бы и сам не мог ответить себе, но внутренне знал, так и только так. Не с этого надо начинать.

Весь мир Светланы, с их картинами — ценными и всякими, случайными,— казался чуждым ему. Чем больше думал, тем дальше отходила от него Светлана.

Катя-Катюша. Ее не вернешь.

А жизнь идет.

И надо как-то обосновываться на этой земле.

Вновь искать любви?

Любовь не ищут.

С Верой все перегорело.

А может, и хорошо, что перегорело.

Помчаться в Ленинград, найти ее, отбить и построить то, что светило еще до войны?

Может... Может, и так...

Ему повезло. Его хорошо встретили в МОСХе и в студии Грекова. Все хвалили «Спящую девушку», «Предателя» и «Отступление». Хвалили профессионально и с результатом. «Спящую девушку» купил и сразу же выставил Русский музей. «Предателя» и «Отступ-

ление» — Третьяковка. Правда, там картины спрятали в запасник («Сами понимаете, победа, а тут тема...»), но важно, что взяли.

Осенью Горсков поступил в институт. И комнату получил в коммунальной квартире на Стромынке.

Он с благодарностью вспоминал довоенную Академию. И все же война дала ему несравненно больше. Видимо, без потрясений, без трагедий нет настоящего искусства.

Его фамилия стала мелькать в газетах и журналах, а он мучился. Писать левой рукой он больше не мог, а правая пока не давалась. Он пробовал рисовать в перчатке. Все, за что его вознесли, было вчерашнее, а новое?

Прошли осень, зима, и вдруг он решился:

«Поеду в Ленинград! Немедленно!»

Его отпустили на неделю.

В Ленинграде он знал два адреса: Русский музей и Лахтинская. На Марата он не пойдет, чтобы не будить воспоминаний.

В Русском музее он долго смотрел на свою «Девушку». Сейчас, в красивой раме, картина как бы отделилась от образа Кати, да и от него самого.

«Любопытно»,— сказал себе Алексей Михайлович.

На Лахтинской он нашел знакомый дом, номер квартиры и позвонил.

Дверь открыла Вера.

— Ты? Какими судьбами?

— Пустишь? — спросил он.

— Ты из госпиталя? — она заметила его руку.

— Давно, еще в прошлом году...

Она продолжала стоять в дверях.

— Так пустишь? — повторил он.

— Конечно, конечно, проходи,— заспешила она и провела его в комнату.

Он сбросил шинель на диван и внутренне поругал себя, что не купил хотя бы перед поездкой в Ленинград нормальное пальто.

— А где дочка? — он посмотрел по сторонам.

— Катюша в детском саду.

«Странно, тоже Катюша»,— подумал он.

— Ну, а...— Он запнулся.— А он?

Вера поняла:

— Его давно нет...

— Он погиб?

— Почему же! Жив-здоров, но мы не общаемся...

Разговор их был каким-то натужным, неестественным.

— А остальные твои?

— Остальные все в блокаду... Только мы с Катюшей выжили...

Кажется, именно тут, в этот момент, у него родилась мысль

о новой работе. Это будет картина «Первенец». Да, «Первенец». Блокадный Ленинград, зима, декабрь сорок второго. Перед окном мать с ребенком. Может, Вера и Катя, а может, другие, но именно это. «Первенец» — это жизнь, это победа!

Вера с любопытством смотрела на него. Заметила и на левой руке отсутствие трех пальцев, спросила:

— Это тоже госпиталь?

— Это раньше...

Опять помолчали.

Наконец она вспомнила:

— А я о тебе много читала. И в Русском музее была.

— Я знаю,— почему-то сказал он.

Вновь пауза.

Вдруг он встал:

— Так вот, Вера, забирай свою Катюшу, собирайся, и поедем в Москву. Дочку твою я усыновлю или удочерю, как это называется. Согласна?

Вера побледнела.

Потом спросила:

— Ты меня просто жалеешь?

— Ни в коем случае,— решительно сказал он.— Я еще зайду, вечером.

И, набросив шинель, он вышел.

XXXV

Они зарегистрировались и прожили вместе почти тридцать лет. Прожили нормально, хотя и сложно. Вера долго не хотела второго ребенка, но в пятьдесят седьмом решилась: у них родился сын Костя.

В начале пятидесятых годов у Алексея Михайловича были неприятности. Ему вспомнили «Предателя» и «Отступление». Его ругали за пессимизм и минор многие из тех, кто прежде его возносил. Но все это было давно, и Третьяковка давно достала его вещи из запасников. А в Русском музее, рядом со «Спящей девушкой», появился его «Первенец» — первая вещь, сделанная, когда он скинул черную перчатку.

Сейчас, вспоминая эти годы, он не исключал, что замысел «Первенца» был тогда важнее его чувств к Вере. Но что говорить об этом, когда вот и Веры уже нет...

А тогда...

Первая беда пришла в дом, когда Катюше исполнилось шестнадцать. У нее определили — epilepsia[1]. Вера вспомнила: наследствен-

[1] Эпилепсия *(лат.)*.

ность через поколение. Ее отец страдал эпилепсией и алкоголизмом. Пришлось ко всему привыкать. Катюша кончила школу, а потом медицинский, выскочила замуж и устроилась на относительно легкую работу в поликлинику. По ночам дежурить ей нельзя, детей иметь нельзя и многое нельзя. Но жить можно. Вторая беда пришла не сразу, через много лет, в семьдесят четвертом. У Веры — инсульт. Через полгода второй. Он похоронил Веру. Третья беда. Костя, порадовавший перед смертью мать поступлением на филологический (так мечтал!), забросил институт. Сначала думали: повлияла смерть матери. Оказалось — нет. Он трижды бросал институт и трижды случайную службу... Теперь у Алексея Михайловича никакого контакта с ним.

Алексей Михайлович уходил в работу и только в работу. Пожалуй, он никогда не рисовал так много, как в последние годы. И это было не хуже «Спящей девушки», «Предателя», «Отступления» и «Первенца». Хвалили и много говорили о его картинах «Кровь», «Последний патрон», «Дети», «Автопортрет», где он изобразил себя на площади Дебрецена в тот памятный вечер сорок четвертого.

Евгения Михайловна писала о колорите его картины. Ее мысли перекликались со словами Федотова, он помнил их: «Ты прирожденный колорист...» А как она точно говорила о железной логике ритма, помогающей достичь вершин трагической выразительности...

Он пытался что-то делать современно, но получалось не то. А там — там ему все было ясно.

И, наверно, правильно заметила Евгения Михайловна в своей монографии, что он художник одной, навсегда выбранной темы.

Евгения Михайловна... Евгения Михайловна...

Она понимает его с полуслова и даже без всяких слов.

Может, это и есть любовь? Или духовное родство?

В шестьдесят-то? А почему нет?

Или сказка пришла?
Или — явь ниоткуда?
Это — чудо!

Может, это любовь?
Может, жизни причастье?
Это — счастье!

XXXVI

Давно уже Алексей Михайлович не знал столько приятных хлопот. Одиночество, да и прежде два года болезни Веры приучили его все делать на скорую руку за счет кулинарии и полуфабрикатов,

а то и вовсе обходиться без домашней еды. Катюша давно жила с мужем отдельно, а Костя то пропадал месяцами, то лежал в больнице.

И вот сегодня первый званый вечер за многие годы. Он достал бутылочку армянского и полусладкое шампанское, боржом и зелень на базаре, а икру и рыбки разных сортов, которых нет в магазинах, раздобыл в Доме художников, в ресторане. Горячего решил не делать, хотя и помечтал о любимых пирожках, но по этой части он был не мастер.

Стол он накрыл в кабинете, чтобы не соблазнял телевизор очередным многосерийным фильмом.

К восьми все было готово, и довольный Алексей Михайлович даже забубнил мотив веселой детской песенки: «К сожалению, день рожденья только раз в году».

Звонок раздался десять минут девятого, и он поспешил открыть дверь:

— Пожалуйста, Евгения Михайловна! Милости прошу!

Евгения Михайловна показалась ему сегодня очень красивой и очень молодой. Последнее чуть смутило его, но он быстро поборол смущение, помог ей раздеться и пригласил к столу.

На ходу от растерянности бросил комплимент:

— Вы сегодня — красавица!

— Какая красавица! — улыбнулась Евгения Михайловна.— Старая тетка.

Она пошутила что-то еще на тему возраста (Алексей Михайлович был старше на тринадцать лет), но быстро переключилась.

— У вас хорошо,— призналась Евгения Михайловна, хотя она уже бывала здесь, когда работала над монографией. Они виделись раз пять или шесть.

— Старался,— согласился Алексей Михайлович, но дальше распространяться не стал, как драил пол, вытирал пыль и даже скоблил окна.

Из сумочки Евгения Михайловна достала целлофановый пакет:

— Это в общий котел, пока теплые.

— О, пирожки! — воскликнул он.— А я, признаться, как раз о них мечтал. Догадались! Догадались!

Он принес блюдо и высыпал пирожки.

— С мясом и с рисом,— пояснила Евгения Михайловна.

— Прелестно! Ну, а теперь к столу!

Он налил рюмку и поднял свою:

— За вашу монографию! Только я, по-моему, уж слишком умным у вас получился.

Внутренне он одернул себя: «Кажется, что-то я слишком мельтешу».

Меж тем Евгения Михайловна вела себя очень просто. Ела, пила, поднималась, смотря фотографии и безделушки на стенах, трогала книги.

— А знаете, Алексей Михайлович, что у меня уже давно не было таких симпатичных праздников. Пожалуй, со студенческих лет. Правда, я училище кончала поздно, в тридцать восемь...

— Я тоже не рано свой институт,— признался он.— А вы что так?

— Обстоятельства,— сказала она.— Сначала война, а потом всякие неурядицы. В результате за среднюю школу сдала экстерном в двадцать шесть, а Строгановское кончила в тридцать два.

— Вы обо мне все знаете,— заикнулся Алексей Михайлович.— А я о вас... Если не секрет.

— Никаких секретов,— просто сказала она.— Замуж выскочила рано, с мужем разошлась. Сынишка умер. Вот и все.

— Простите,— мягко сказал Алексей Михайлович.

Евгения Михайловна заметила, что в кабинете нет ни одной картины Алексея Михайловича.

Поинтересовалась.

— Себя не держу,— признался он.— Да и нет у меня ничего. Зато вот это есть.

Он показал маленький автопортрет Грабаря.

Признался:

— Это очень люблю. И ценю!

Они стали перебирать общих знакомых по искусству, и оказалось, что их много. Кто-то учился вместе с Евгенией Михайловной в Строгановском, кого-то оба знали по МОСХу и Академии художеств. Чуть поспорили о молодых новаторах, но потом сошлись на том: пусть пишут, но только не приспосабливаются!

— Лишь бы еще не повторяли задов под флагом оригинальности. А то тут и Пиросмани, и Петров-Водкин, вплоть до лаковой «шкатулочной» живописи.

За окном была зима, неуравновешенная, как все последние годы, с перепадами температуры от трех до тридцати и опять до трех. Но сегодня было тепло и чуть слякотно, с крыш приятно капало, а кошки, перепутавшие время года, дико выли. Под карнизами, совсем по-весеннему, ворковали голуби.

Опять вернулись к безделушкам. Их немало было у Алексея Михайловича. Следы путешествий по Африке, Азии, Латинской Америке...

— А почему вы за рубежом ничего не рисуете? — поинтересовалась Евгения Михайловна.

— Да как вам сказать! — попытался объяснить он. — Ездить, смотреть люблю. А рисовать? Россию бы нарисовать.

Алексей Михайлович встал, подошел к Евгении Михайловне и неловко положил ей руки на плечи:

— Это глупо, конечно, в моем возрасте, но мне кажется, что я люблю вас, очень, как мальчишка...

Она не отстранилась, не сняла рук его, не прогнала.

— Что же вы молчите? — тихо спросил он.

— Молчу? — она вроде удивилась. — Мне просто хорошо.

Он вернулся на свое место, и они замолчали.

Он смотрел в ее лицо, совсем еще молодое, с чуть приметными следами увядания. Это как лес или поле в начале сентября.

— А детей своих я на вас не свалю, — словно вспомнив что-то, поторопился сказать он. — Мой крест, мне и...

— Нет уж, все пополам, милый мой Алексей Михайлович, — она улыбнулась. — Все, все!

Потом, помолчав, сказала серьезно:

— Я не могу выразить это словами, но то, что сделали вы для меня, это прекрасно...

XXXVII

Художник не должен рисовать то, что не хочет.

Что главное в военной теме? Может быть, милосердие в самом широком смысле...

Сито времени — мерило искусства.

Прав ли был Стасов, когда слишком страстно подчеркивал социальную и национальную роль искусства? Нет ли своих специфических законов, которые характерны для каждого вида искусства? Ведь еще Маркс критиковал писателей, которые придавали слишком большое значение выбору темы и недооценивали художественную форму.

Разве импрессионисты не способствовали подъему и обновлению живописи, разве они не открыли законов и не создали произведений, которые коренным образом отличались от всего, что было сделано до них? Они по-новому стали видеть мир, доказали возможность обобщения и контраста.

Цветовая композиция — непременное условие каждого удачного холста.

Яркость, праздник цвета, но не пестрота, даже в картине о базаре.

Куинджи и Рерих. Великие колористы. Ведь их цвет, как и музыкальная фраза, действует на психику человека, создавая то или иное настроение.

Искусство имеет свои преимущества перед наукой и техникой. Возьмите паровоз или автомобиль, созданные двадцать — тридцать лет назад. Несовершенные уродцы! А произведение искусства трогает вечно. С восторгом мы смотрим на портреты Олив, написанные в конце XIX века. А как нас волнуют «венеры» первобытных людей. Искусство не умирает.

Он рисовал каждую свободную минуту и удивлялся тому, что рисунок зачастую получался более живым, когда люди, которых он изображал, не знали об этом. Как только кто-нибудь из бойцов садился по его просьбе, его поражала скованность и неестественность выражения. Не потому ли все семейные фотографии похожи друг на друга внутренним оцепенением и «порядком», который убивает жизнь и превращает искусство в скучную обязанность.

Виды неконкретного искусства могут оказаться полезными в прикладном деле. Здесь фантазия, яркий цвет, геометрический рисунок, нанесенные на бытовые предметы, могут украсить жизнь, служить средством эстетического воспитания.

Ему было близко искусство, связанное с идеями, мыслями и чувствами людей.

Сочетание цветовых тонов. Как оно усложнилось по сравнению с той же эпохой Возрождения, когда существовали не только канонические композиции, но и канонические цветовые отношения.

Мыслями он невольно снова и снова возвращался к безымянному бойцу, который погиб от своего автомата на площади Дебрецена. И было как-то стыдно, что он, видя это горе, запомнил неуклюжую позу бойца, его темную фигуру и кровавое пятно, расползавшееся в бликах костра. Наверное, только жизнь может давать примеры все новых и новых композиций.

Иногда он замечал, что когда ему удавалось «устранить» себя как человека, а были только замысел и натура в воображении и кисть, лихорадочно работающая кисть, то пусть получалось не-

брежно, но получалось. А когда он старался и вырисовывал, то все было верно, кроме жизни.

Известная притча. Африканский художник-самоучка сделал скульптуру «Взбесившийся слон». Художник-европеец сказал: «Ты способный, но тебе надо учиться». Африканец окончил академию и в качестве диплома опять сделал скульптуру «Взбесившийся слон». Европеец посмотрел и сказал: «Академия убила в тебе художника».

«Академия, училище, студия — все само собой. Но не будь Отечественной, я не стал бы художником».

ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

Ей никто не давал больше шестидесяти, хотя на самом деле было за семьдесят. В городе народилось и выросло уж несколько поколений, и ее звали «живчиком», «неугомонной» те, кто появился потом, а старики старожилы уважительно:

— Елизавета Павловна.

Перед ней снимали шляпу, кланялись, и она была счастлива, что ее знают все и она всех знает.

У нее был проездной билет на все виды транспорта, кроме метро, которого в городе еще не построили, но она не любила ездить ни на трамвае, ни на троллейбусе, ни в автобусе, а все пешком да бегом, мелкой трусцой от обкома до облисполкома, от горкоммунхоза до гороно, от горторга до горсовета, от горплана до редакции «Ленинского пути» и местного телецентра.

Прибегая утром в приемную горисполкома, она почти всегда с порога спрашивала:

— Знаменитый путешественник из шести букв?

Или:

— Американский романист прошлого века из пяти букв, вторая «о»?

Все в душе посмеивались над ее страстишкой разгадывать кроссворды, но помогали как могли.

А она шутила:

— Вот жаль, что «Правда», и наш «Ленинский путь» кроссвордов не печатают. А то бы я вас приобщила.

Маленькая, сухонькая, с довольно еще моложавым лицом, на котором в красивых по-молодому глазах трепетала чуть затаенная печаль, она не сидела ни минуты и кроссворды отгадывала чуть ли не на ходу. Как пять пальцев знала весь город: кто выполнил план, кто не выполнил, где рождение, а где похороны. Весь день была в бегах и только вечером, придя к себе домой, в крошечную однокомнатную квартиру, которую ей дали шестнадцать лет назад

при официальном уходе на пенсию, понемногу утихомиривалась. Она рада была остаться одна. Вечерние часы — это была ее пора. Пила чай, разгадывала кроссворды и долго рассматривала фотографии единственного сына своего — Игоря, который сейчас так далеко...

В сорок первом году ей исполнилось тридцать четыре года. Она была старше своих сокурсниц. Училась на четвертом курсе пединститута и жила в общежитии. Родителей не помнила. Лиза воспитывалась в детском доме. До института работала секретарем-машинисткой и лишь после тридцати вдруг решила поступить в институт.

Училась Лиза неплохо, но перспектива быть учительницей ее пугала. Видно, это не ее призвание. Подруг почти не было. Как все неполноценные люди — в детстве перенесла туберкулез позвоночника, потом появился горб,— она была слишком замкнута и не в меру обидчива. Знала и то, что дети порой злы. Как они отнесутся к горбатой учительнице? Правда, природа, словно стараясь компенсировать физическое уродство, наделила Лизу довольно миловидной внешностью. У нее были необыкновенно красивые волосы, которые, вырываясь из узла, падали вниз волшебным золотым водопадом. Но она редко носила их распущенными — ей казалось неудобным обращать на себя внимание чем-нибудь красивым. Лучше оставаться незаметной. Тогда меньше будут замечать ее горб. Зато глаза — большие, темные, с постоянно мерцающими в них то болью, то грустью — Лиза спрятать, как волосы, уже не могла... На танцы Лиза не ходила и в вечеринках не участвовала. К тому же в институте она оказалась старше своих сокурсниц и от этого еще больше стеснялась.

Война быстро приближалась к их городу, шла массовая эвакуация, уезжал и их пединститут, но Лиза колебалась: остаться или нет.

Наконец решила: «Нет, не поеду» — и пошла в горком комсомола. По старой памяти. Куда не раз ходила еще комсомолкой.

В горкоме было суетно и сумбурно, десятки людей бегали по лестницам и коридорам, толкали сейфы и ящики, жгли во дворе бумаги, и Лиза долгое время не могла ни к кому пробиться.

Потом ей повезло, она попала к давней знакомой — второму секретарю Любе Щипахиной. Та сказала: «Садись!», а сама продолжала говорить по телефону.

— Я в эвакуацию не поеду. Может, смогу принести какую-нибудь пользу здесь?

— Какую? — переспросила Люба Щипахина, замороченная своими делами.

— Я же горбунья,— Лизе нелегко давались эти слова.— И думала...

— Подожди, подожди, а пожалуй...— Люба ухватилась за Лизину не очень ясно высказанную мысль.— Все может быть.

Телефон трезвонил бесконечно.

В следующем перерыве между разговорами Люба Щипахина сказала:

— Сейчас позвоню в горком партии, посоветуемся.

Она набрала номер и долго кричала в трубку:

— Игорь, это ты? Ты — Игорь?

Будто тот был на другом краю света.

— У меня тут девушка одна, горбатенькая, понимаешь,— объяснила она.— Так вот у нее есть идея... Что? Да, я ее давно и хорошо знаю. Ты понял? И я так думаю. Да, да. Ладно, пришлю. Привет!

Лизе она сказала:

— Пойдешь в горком партии, к завотделом пропаганды. Орлов Игорь Венедиктович. Только не сегодня. У них там все расписано. А завтра к девяти. Договорились?

— Хорошо, спасибо,— сказала Лиза.

Наутро она была у Орлова. Он ей очень понравился. Серьезный, красивый, уверенный, хотя возрастом лишь чуть старше ее.

Они говорили очень долго, он дотошно расспрашивал ее о довоенной жизни, пытался даже убедить ее эвакуироваться, наконец, выговорившись сам и выслушав все Лизины доводы и ответы, предложил план: в случае оккупации города Лиза становится связной между городом и партизанским отрядом, который будет базироваться в ближних лесах.

Для этого ей нужно в первую очередь выехать из общежития и поселиться где-то в другом месте. Может быть, лучше всего в каком-нибудь подвале, в дворницкой. Сделать это необходимо немедленно. А потом обязательно съездить в лес. Это он берет уже на себя.

Игорь Венедиктович все провернул за один день. Договорился с горжилотделом, и вечером Лиза перебралась на улицу Красина в подвальную комнатку, бывшую дворницкую. Работник горжилотдела помог ей обставить комнату, благо в доме уже было много брошенных квартир. Соседки по общежитию (институт еще не уехал) с удивлением смотрели на неожиданный Лизин переезд, но она ничего не объясняла, а они не очень-то и спрашивали.

Наутро Лиза снова пришла к Орлову.

— Ну, устроилась?

— Ага,— ответила Лиза.

* * *

Березовая роща прозрачна насквозь. Стройными рядами стояли деревья, словно приготовились к праздничному параду.

— Эту рощу нам помещик один оставил,— пошутил Игорь Венедиктович.— Был у нас тут такой Сквознов-Печерский. Не слышали?

Нет, Лиза не слышала.

— Рассказывают, интереснейший человек,— продолжал Игорь Венедиктович.— Хозяйство у него не ахти какое имелось, зато лес содержал в образцовом порядке. Консервировал грибки, ягоды, дикую грушу и яблоки, рябину красную и черную. Заводишко имел рядом с усадьбой. Рецепты сам составлял.

— Когда же это было? — спросила Лиза.

— Конец прошлого века, начало нынешнего,— объяснил Игорь Венедиктович.— А в городе у него красивый особняк был. На улице Салтыкова-Щедрина, знаете, где сейчас женская консультация. Увлекался литературой. Дома у него было нечто вроде салона. Причем взглядов придерживался весьма либеральных. К нему приходили и Достоевский, и Толстой, и юный Вересаев. Следил за дебютом Маяковского. Ездил на похороны Толстого в Ясную Поляну.

— А потом?

— До революции не дожил два года. Оставил завещание — завод передать крестьянам, что так или иначе получилось помимо него. Знаете, в Кузьминках? А в доме просил устроить литературный музей. Только, увы, мы никак не собрались. Правда, последние годы готовили кое-что и даже новое здание под женскую консультацию начали строить, да вот — война... Теперь уже после войны...

За березовой рощей начались посадки дубов и кленов, а дальше пошла ель.

Они ехали в лес на горкомовской «эмке». Водитель уверенно вел машину — должно быть, не впервой колесил по этим хорошо накатанным лесным дорогам,— видимо, тут часто проходили машины и телеги.

Минут через сорок по краям дороги начались заросли орешника, вдоль ручья тянулся невысокий ивняк.

Лиза не спрашивала, далеко ли еще, но Игорь Венедиктович словно угадал ее мысли:

— Теперь скоро. Вообще-то не часто партизаны располагаются так близко от больших городов. Но мы рискнули.

В густом лесу открылась поляна, на которой стояли две полуторки, трактор с прицепом и подводы. Несколько десятков мужчин и женщин копали землянки, пилили бревна, перетаскивали с телег и машин мешки с продовольствием.

На самодельном столе стоял патефон. Ляля Черная пела какой-то романс.

Игоря Венедиктовича тут знали многие. Одни подходили, здоровались, другие приветствовали его кивком.

— Пойдем,— сказал он Лизе и направился к одной из землянок. Она была готова.

Спустились вниз, в прохладу.

Землянка большая, пол устлан еловыми ветками, у входа плащ-палатка. Посредине большой стол с лавками по краям, сбоку нары в два ряда.

— О-о! — неожиданно вырвалось у Лизы.

Ей, маленькой, даже эта просторная землянка показалась чуть ли не дворцом.

— Это штабная,— пояснил Игорь Венедиктович,— а теперь сюда.

Он откинул плащ-палатку в противоположной стороне, и они попали в глубокую траншею.

— Будешь ходить сюда,— пояснил Игорь Венедиктович.— Когда потребуется, конечно.

По траншее они прошли в другую землянку, еще более просторную. Тут широкие нары были с двух сторон.

— Это санчасть или госпиталь, как хочешь,— сказал Игорь Венедиктович.

Дальше оказалась траншея под углом в сорок пять градусов.

— Там еще строят,— Игорь Венедиктович остановился.— В общем, все землянки соединяются окопами, а левее, за ручьем — землянка с наблюдательным пунктом. Это приблизительно в километре отсюда.

Они вернулись к машине:

— Теперь поехали.

— В город, Игорь Венедиктович? — спросил шофер.

— В город с заездом во второй продмаг.— И добавил, обращаясь к Лизе: — Запоминай дорогу как следует.

В городе они остановились у магазина. Вернее, подъехали к нему со двора, с черного хода.

Игорь Венедиктович позвал Лизу с собой.

Они вошли прямо в кабинет директора, поздоровались.

— Давай мне все, что есть, начиная с муки,— обратился к директору Игорь Венедиктович.— Как, кстати, с мукой? Пуд дашь?

Директор ответил, что даст.

Тут же отвесил пуд муки, два килограмма сала, несколько батонов колбасы, сахар, крупу, макароны, соль, десять пачек чая, еще что-то.

Продавщица передвигала костяшки на счетах.

Лиза не знала, кому предназначались эти продукты.

— Да, а постное масло,— вспомнил Игорь Венедиктович.— Банка найдется?

Налили полную банку, три литра.

Игорь Венедиктович достал бумажник, рассчитался.

Все погрузили в машину.

— Теперь на Красина,— дал команду Игорь Венедиктович шоферу. И обратился к Лизе: — Дом тринадцать?

Она кивнула.

— Славное число,— усмехнулся Игорь Венедиктович.

Подъехав к дому, они перенесли все в Лизину комнату.

Лиза пыталась возражать.

— Зачем? Да как же так? А деньги?

— Не морочь голову,— сказал Игорь Венедиктович,— так нужно. А деньги? Потом, после войны, рассчитаемся. Теперь так...— Он осмотрел комнату и особенно пол. Нашел какие-то клещи, подцепил две доски.— Если... В общем, если придут немцы, продукты спрячь под пол и первые дни не выходи. Поняла?

— Поняла,— шепнула Лиза.

— Ну пока. Остальное тебе сообщат потом...

Они с шофером уехали.

Лиза разложила продукты, потом, почувствовав вдруг неимоверную усталость, почти не раздеваясь, легла на кровать.

Она еще никогда не была такой богатой.

А ночью ей снился Игорь Венедиктович в лесной землянке — высокий, красивый, сильный, и она стояла рядом — маленькая, горбатая, несчастная. Как в эту минуту ей тоже хотелось быть красивой! Ведь лицо у нее вроде ничего, а вот горб — будь он проклят!

И Лиза долго плакала во сне. Когда проснулась, лицо ее было мокро.

* * *

Елизавета Павловна отложила кроссворды, остались незаполненными четыре строки, три по горизонтали, одна по вертикали, и достала пакет с фотографиями Игоря. Их было совсем немного, этих фотографий, и она знала их наизусть.

Вот последняя, кубинская. Игорь прислал зимой. Он в штатском на фоне пальм и какого-то здания, в сомбреро. На Кубе он жил уже четвертый год — так долго длилась командировка. Даже на ее семидесятилетии не был. Не удалось вырваться. Прислал телеграмму. Она вся истосковалась по нему, а в Москве Игоря ждали Клава и маленькая Оленька...

А этот снимок сделан перед отлетом нв Кубу. Игорь в летной форме, рядом жена и дочка, совсем крошечная, только что начавшая ходить...

Это он с Клавой после окончания училища.

Это — курсант.

Это — в десятом классе с товврищами...

Несколько детскнх. В первом классе н в детском саду. Взяла в руки самую пожелтевшую. Сорок восьмой год. Единственная фотография, где она вместе с годовалым сыном. Их снимвл старый друг, бывшнй партизвяский фотограф Фрол Мвтвеевич. Тогда, в сорок восьмом, он уже рвботвл в ателье на Свлтыковв-Щедрнна н специально пришел к ней домой.

Сфотографировал н загвдочно улыбнулся:

— Молодчина ты, Лизуха, првво, молодчина!

Да, многие тогдв былн поражены появленнем ее ребенка. И сплетнн, наверное, ходили бог внает квкие, но правда так никому по сей день и не известнв.

А Лиза отшучивалась:

— Ветром надуло!

Никто ие догвдвлся и почему она назвалв сыиа Игорем. Кто мог знвть, что онв любилв того Игоря, которого давно уже не было на свете?! Игоря, Игоря Венедиктовича, как она звалв его про себя...

* * *

Немцы вступили в город в конце сентября. Три дяя и три ночи Лиза пряталвсь в своем подвале, пока иа улицах шли бои. И когда все стихло, яе выходилв еще двое суток.

Потом оделась похуже, взяла в руки плетеную корзинку и решила пойти посмотреть.

Нв улице Красинв было иепривычно пусто. Только два разбнтых трамвайных вагоиа стояли на рельсах дв возле универмага лежал на боку сгоревший троллейбус.

Она нвправилвсь к центру. Здесь встретила нескольких яемцев. Военных. На цеятральиой площвди на зданни Дворца культуры железнодорожников висел флвг со свастикой и у подъезда стояли часовые.

На стенках многнх домов объявления. Каждое нв немецком и русском языках. Некоторые онв мельком прочлв. Какой-то немецкий комендант грозился рвсстрелом. Бургомистр Платонов призывал жителей выйти на работу.

В центре площади, слева от горкомв партии, стояла на газоне виселица с тремя трупами. Лиза подошла, вздрогяулв. Все были мужчины. На каждом дощечкв: «Еврей — большевнк».

Она никого не узнала, но ей стало не по себе. Вот, значит, какая она, оккупация.

Обошла еще несколько полупустых улиц и вернулась домой.

Дома спрятала, как велел Игорь Венедиктович, под пол продукты.

А ночью начались первые облавы.

К ней тоже немцы врывались дважды в сопровождении каких-то русских, но быстро уходили.

Утром она узнала, что со станции отправлен в Германию эшелон с парнями и девчатами, а к зданию ТЭЦ гонят людей на восстановительные работы. Вечером она решила сходить туда. Вокруг было довольно много народу, суетились немцы, некоторые с собаками.

До того, как ей идти на улицу Салтыкова-Щедрина к дому напротив женской консультации, оставалось еще два дня. А именно там ей была назначена Орловым явка, но только в последний день пятидневки от трех до половины четвертого.

За это время она четыре раза подходила с разных сторон к территории ТЭЦ. Работа кипела вовсю. И хотя близко пробраться ей не удавалось, она поняла: работы на ТЭЦ завершаются в девять вечера.

Подошла к девяти. Выждала, когда люди стали расходиться, выбрала дряхлого старика, пошла за ним. На Комсомольской догнала, осмотрелась, никого, кажется, вокруг, кроме трех-четырех таких же штатских.

Поравнявшись, спросила:

— Тяжело?

Он остановился, не понял:

— Что тяжело?

— Работать,— сказала Лиза.

— Да уж, не мед, с девяти утра до десяти вечера,— сказал старик.— Вот и карточку выдали. Отмечают. Не пришел — расстрел, да и еды не получишь.

Лиза шла рядом. Они понемногу разговорились.

Узнала, что восстановительные работы на ТЭЦ идут полным ходом. Если верить старику, то через пятидневку-другую ТЭЦ даст ток.

— А что ж вы? — вяло поинтересовался старик.

Лиза пожала плечами.

Они попрощались.

Когда на следующий день Лиза шла через площадь Революции к улице Салтыкова-Щедрина, трупы с виселицы уже сняли. Болтались только оборванные концы веревок.

Улица Салтыкова-Щедрина была пустынна. Лишь два не-

мецких мотоциклиста промчались в сторону вокзала да проехала впряженная в здорового рыжего битюга телега с возницей-немцем.

Немец, совсем уже немолодой солдат в неумело надетой пилотке, почему-то помахал Лизе рукой и сказал «пэф-паф».

Напротив женской консультации, где должна состояться встреча, Лиза никого не увидела и прошла два квартала вперед. Потом вернулась назад. Снова целый квартал.

Здесь ее окликнули:

— Горбатенькая!

Ох, как делалось больно и было нестерпимо обидно, когда ее кто-нибудь так называл.

У подъезда стояла старушка, видимо вышедшая из парадного. Она показалась совсем древней. «Из бывших учительниц»,— подумала Лиза.

— Вы меня?

— Тебя, если ты Лиза,— сказала старушка.— Давай пройдемся,— предложила она и взяла Лизу под руку, свободную от кошелки. Лиза всюду так и ходила с пустой кошелкой.— Значит, первое — ТЭЦ. Узнай срок пуска. Второе. Тебя вызовут на биржу труда. Не отказывайся! Ни в коем случае не отказывайся. Поняла?

— Поняла,— подтвердила Лиза.

— Биржа рядом с комендатурой. Когда получишь повестку, возьми паспорт и иди туда. Там работает наш человек. Его фамилия Семенов. Он поможет,— быстро и четко объяснила старушка. И добавила:— С тобой мы встретимся здесь же ровно через пять дней в это же время. Орлов велел тебе кланяться.

— А он в лесу? — обрадовалась Лиза и даже почему-то покраснела.

— В лесу, в лесу.

— А как вас зовут? — спросила Лиза.

— Зови Никаноровной,— ответила старушка.— А я тебя ведь помню по институту.

— Да что вы! А я нет!— призналась Лиза.

— Я на кафедре русского языка работала,—сказала Никаноровна.

* * *

Перед отъездом Игоря на Кубу Елизавета Павловна гостила у него в Москве. Когда пришла отпрашиваться к председателю горисполкома, он сказал:

— Какие счеты! Поезжайте, ради бога, гостите в Москве сколько нужно.

Евгений Кузьмич совсем недавно стал председателем, до этого работал на заводе автотракторного электрооборудования, и Елизавета Павловна была знакома с ним много лет.

— Хотя, признаюсь, без вас мы будем как без рук,— добавил он.

В Москве Елизавета Павловна пробыла ровно три дня и даже провожала сына на Шереметьевском аэродроме.

Это были счастливые дни. В последнее время она редко видела Игоря, а уж Оленьку и подавно. К Оленьке сразу привязалась, водила ее в детский сад по утрам и вечером приводила домой. Оленька тоже не отходила от бабушки.

Накануне отъезда Игорь, возвращаясь к давнему разговору, снова спросил:

— А может, мама, останешься все-таки у нас? Квартира, сама видишь, большая. Летом дача. И Оленька к тебе очень привязалась. Подумай!

Елизавета Павловна всегда плохо спала, и на новом месте тем более, и последнюю ночь перед отъездом Игоря много думала.

А утром сказала:

— Не сердись, Игорек, но не могу я. Привыкла к городу своему, к работе своей привыкла. Не могу.

— Ну сколько же можно работать,— пытался возразить Игорь.— Тебе же семьдесят скоро.

— А я годов своих не замечаю. И не болею, слава богу. А жить привыкла на людях.

Когда в Шереметьеве Игорь и его друзья, авиационные специалисты, уже сели в самолет, об этом заговорила и Клава:

— Подумайте, Елизавета Павловна, очень прошу вас. Как было бы хорошо!

Но Елизавета Павловна почему-то вспомнила Евгения Кузьмича, девочек-секретарш, других работников исполкома и повторила:

— Не сердитесь, Клавочка! Никак не могу!

В поезде, когда возвращалась домой, мучилась. Обидела Игоря. Обидела Клаву. И Оленька такая славная! Какая упрямая старуха! Неужели не могла пойти навстречу людям? А что? Не могла и не могу! И не хочу. Даже не желаю! Игоря в люди вывела одна. Вот он какой! На Кубе потребовался! А теперь, извольте, буду жить как жила.

И она постепенно, под мерный стук вагонных колес, успокоилась. Смотрела в окно. Пролетали ярко-рыжие осенние леса и сжатые поля. Появлялись впереди и внезапно за поездом исчезали речки и ладно отстроенные деревни. Поезд гулко грохотал, пробегая через мосты, и замедлял ход у платформы. На сердце у Ели-

заветы Павловны было хорошо, как у человека, выполнившего свой долг.

Думала о своей судьбе.

Странная, конечно, она у нее сложилась.

Почему не доучилась после войны в пединституте? Стала бы учительницей. Или в медицину могла податься. Например, окончить курсы медсестер. Ведь любила это дело. Газетчика, конечно, из нее бы не получилось. Это только в войну она дурака валяла в немецкой газетенке, а так, быть журналистом — надо не только любить это дело, но и иметь талант, а уметь писать — это не кроссворды решать.

Вот так и получилось, что всю жизнь курьером...

Но, может, и хорошо?

Всегда на людях, и постоянно чувствуешь свою, хотя и маленькую, полезность.

Конечно, хорошо!

* * *

Лиза получила повестку. На бирже оказалось немало народу. И это несмотря на то, что уже несколько эшелонов было угнано в Германию, многие работали на восстановлении ТЭЦ и город казался полупустым.

Лиза нашла господина Семенова (догадалась, что так его надо называть) и, когда он освободился от дел, присела на предложенный стул:

— Я от Никаноровны.

— Понятно, понятно,— сказал Семенов.— Сейчас. Паспорт?

Она протянула свой паспорт.

Думал Семенов долго, спросил только про образование и опять молчал.

— Пожалуй, так,— произнес он наконец.— Образование у вас хорошее. И работу я вам предложу, мне кажется, не плохую. Писать умеете?

— Писать? — не поняла Лиза.— Вроде...

— Я не о том. Немецкое командование собирается начать выпуск газеты «Русский голос» для населения. На базе типографии «Ленинского пути», что ли, благо она сохранилась хорошо...

— Да вы что! — «С ума сошли?» — чуть не сорвалось у Лизы.— Чтобы я в этом,— она не сказала «грязном»,— листке!..

— Не кипятитесь! Не кипятитесь! — успокоил Семенов.— Наши люди, вы понимаете, я подчеркиваю «наши», всюду нужны. Наконец, есть дисциплина.

— Чья дисциплина? — опять не выдержала Лиза.

— Наша,— Семенов выразительно посмотрел на нее и еще раз повторил:— Наша!

— Я не умею работать в газете,— сказала Лиза.

— Ничего, научитесь. Думаю,— поправился он,— должны научиться. Стенгазету в институте не выпускали?

— Да. Даже редактором была.

— Вот и прекрасно. Эта работа не будет особенно отличаться. А я доложу о вас, что вы работали в многотиражке. Поддерживайте эту версию.

И все же Лиза сникла. Семенов продолжал объяснять:

— Шеф-редактором газеты назначен господин Штольцман из прибалтийских немцев. Его заместителем господин Евдокимов... Он здешний. Не знаю, кем и где он работал, но здешний. Как вы понимаете, это не мои кадры. А вы и Александра Васильевна Жукова — студентка университета — будете сотрудниками. Жукова действительно сотрудничала в университетской многотиражке. Ну, плюс, конечно, корректура, работники типографии. Эти все уже подобраны...

Семенова позвали в соседний кабинет. Он извинился:

— Я сейчас.

Лиза осмотрелась. В большой комнате стояло шесть столов, и у каждого толпились по нескольку человек. Стол Семенова был самый громоздкий, и она сидела возле него одна.

«Наверное, Семенов какой-то начальник»,— подумала Лиза.

Скоро он вернулся.

— Понимаете ли, Елизавета...— он заглянул в паспорт,— Павловна, есть масса блистательных возможностей делать хорошую, нужную людям работу. Но прошу вас и Александру Васильевну об одном: не зарываться! Александре Васильевне, впрочем, я это уже сказал. Итак, как говорится, с богом! Завтра же выходите на работу. Адрес, надеюсь, знаете. Немцы люди аккуратные. Не опаздывайте. В восемь ноль-ноль.

Так она попала тогда в «Русский голос».

* * *

Вернувшись из Москвы, Елизавета Павловна появилась в исполкоме чуть свет. Секретарши еще в приемной не было, но в кабинете она услышала голос Евгения Кузьмича. Он говорил по телефону.

Она приоткрыла дверь.

— Заходите, заходите,— кивнул Евгений Кузьмич и, закончив телефонный разговор, попросил: — Ну, выкладывайте, как там ваш кубинец!

— Вы что-то рано,— сказала Елизавета Павловна.

— Да у нас сегодня жилищная комиссия,— объяснил председатель.— Дел завал! Ну так как?

Елизавета Павловна рассказала про Москву, не упустила ни невестку, ни внучку, и, конечно, больше всего про Игоря.

Под конец, засмущавшись, сообщила о просьбе сына и невестки:

— Не знаю, может, и не права я, но не согласилась.

— И правильно сделали,— поддержал ее Евгений Кузьмич.— И потом, как же мы без вас?

Уже выходя из кабинета председателя, Елизавета Павловна вспомнила:

— Да, Евгений Кузьмич, пролив из восьми букв, первая «л»?

— Лаперуза,— засмеялся Евгений Кузьмич.— Как, годится?

— Ой, точно,— обрадовалась Елизавета Павловна...

* * *

Наутро Лиза пришла в редакцию «Русского голоса». На месте был только Евдокимов, мерзкий тип лет пятидесяти, с торчащими, как у африканского слона, ушами и лысым черепом. Он, кажется, с не меньшим презрением посмотрел на Лизу, чем она на него. Потом показалась Александра Васильевна, которую Лиза сразу стала называть Шурой, и, наконец, последним появился господин Штольцман, высокий, подтянутый, в немецкой форме.

Он пригласил всех на совещание и долго, нудно, с чисто немецкой дотошностью говорил о газете, о ее задачах, о возможных каналах распространения.

В заключение сказал:

— Первый номер мы должны выпустить через три дня.

По-русски он говорил безупречно.

И хотя номер этот на две трети состоял из официальных немецких материалов — победных сводок, перевода речи Геббельса, распоряжений местных властей,— Лизе и Шуре пришлось немало побегать по городу.

Требовалась краткая информация о восстановительных работах на трамвайной линии, об очистке улиц, о налаживании торговли, беседы с людьми, прославляющими освободителей.

Лиза чувствовала и понимала, что Шура свой человек и ей можно доверять, но сохраняла осторожность. Поэтому, когда у нее родилась мысль, связанная с ТЭЦ, она не стала делиться с Шурой, а пошла прямо к Штольцману.

— Господин Штольцман,— сказала она,— вы сами знаете, как у нас трудно обстоит дело с местной информацией. Вот я и подумала: сейчас задача номер один — пуск ТЭЦ. Может, я с ходу туда и соберу материал?

Штольцман вроде с интересом посмотрел на Лизу.

— Хорошо, я посоветуюсь,— ответил он.

На следующее утро он передал Лизе специальный пропуск.

— И постарайтесь взять несколько интервью,— посмотрев на нее сверху вниз, брезгливо бросил он.

Лиза была уже и не рада своей затее. Она знала смысл слова «интервью», но, как его «брать», не имела никакого представления. Да и потом, она же горбатая! Защемило давней тоскою сердце — как она, такая маленькая, уродливая, будет общаться с людьми! Станет ли кто с нею разговаривать серьезно! В этот момент Лиза снова пожалела, что тогда растерялась и не сумела убедить Семенова не направлять ее на работу в «Русский голос». Да разве с ее характером, с ее внешностью, с ее замкнутостью заниматься газетным делом?

Долго, волнуясь, выспрашивала она у Шуры, как «брать» интервью, как вести себя, что говорить? Шура сама толком не знала, как это делается...

Потом все-таки отправилась на ТЭЦ. Шла медленно, с трудом поднимая ноги от земли: что ждет ее там? На ТЭЦ Лиза пробыла почти три часа. И, кажется, сумела взять ненавистные интервью: одно — у немца-наладчика, другое — у русского. Правда, разговаривали с ней нехотя и как-то снисходительно, словно с ребенком, задающим в неподходящий момент пустые вопросы...

Но она узнала главное — пуск ТЭЦ намечен на десятое октября.

Информация ее прошла в номер, который вышел на следующий день.

Удивительная это была газета «Русский голос».

С одной стороны, она как бы заигрывала и сюсюкала со своими читателями. А с другой — всячески запугивала их сообщениями о репрессиях и расстрелах, глупо-восторженными сводками и цитатами из речей Гитлера, Геббельса, Риббентропа и Геринга. Были информации о переименовании улиц и площадей. Площадь Революции стала площадью Гитлера. Проспект Сталина — проспектом Гинденбурга. Проспект Ленина — проспектом Кайзера. Улицы Салтыкова-Щедрина — Берлинской, Красина — Одерской, Колхозная — Дрезденской. Переулок Короленко — переулком Шпрее. Сосновский — Зигфрида... Русские названия вытравлялись, но, чтобы сообщить новые, приходилось называть старые.

Через несколько дней Лиза, теперь уже с благодарностью к Семенову, поняла, что у работы в «Русском голосе» есть несколько неоспоримых преимуществ... Во-первых, эту газетку почти никто не читал, несмотря на все старания немцев. Во-вторых, режим в редакции был относительно вольным. И уж раз она могла свободно ходить по городу и даже побывать на ТЭЦ, то и впредь надо не упускать подобных возможностей. Наконец, в редакции был радиоприемник, по которому днем Штольцман и Евдокимов слушали Берлин, а вечером Лиза и Шура — Москву. Правда, сводки были

удручающие, но все же спокойный, уверенный, родной голос диктора вселял надежды.

А у Шуры, несмотря на предупреждение Семёнова, все время рождались отчаянные, порою сумасбродные планы диверсионных акций. То она хотела так построить очередную информацию, чтобы заглавные буквы ее слагались в слово «Россия». То придумывала антисоветскую карикатуру на манер загадочной картинки, перевернув которую можно было прочитать «Гитлер — капут». То еще что-то в таком духе.

Лиза тоже старалась что-то придумать и однажды пришла к Штольцману (Евдокимова она старалась избегать).

— Вот, посмотрите, может быть, годится для газеты?

— Что это? — на лице Штольцмана появилось обычное, когда он видел Лизу, выражение скуки и досады.

— Кроссворд,— Лиза вся внутренне сжалась.— Для привлечения читателей.

Штольцман покрутил кроссворд и так и эдак.

Сказал:

— Заполните мне квадратики.

Лиза заполнила, принесла шефу.

— Горький, Аксаков, Мазепа, Языков, Толстой, Достоевский, Гоголь, Нос, Апухтин, Надсон, Есенин,— вслух читал шеф-редактор.— Почему одни русские имена?

— Но ведь у нас газета для русских читателей,— пояснила Лиза.

— Да-да,— протянул Штольцман.— Вы считаете, что это может привлечь читателей?

— Мне кажется, что да.

— Пожалуй,— согласился Штольцман и поставил визу.

«Ну уж второй я тебе такой придумаю!» — обрадовалась Лиза.

Первый кроссворд прошел без приключений. Шеф-редактора где-то даже похвалили за выдумку. Или он сам так подал себя.

В типографии машину-американку крутили руками. Электричества еще не было. Крутили все — и рабочие, и корректоры, и Лиза, и Шура, и для вида даже Штольцман с Евдокимовым.

— Давай песок в машину подсыплем?— шепотом предлагала Шура.

— Ты вспомни, что тебе говорил Семенов, не зарываться,— охлаждала ее пыл Лиза.

Тираж газеты — тысяча экземпляров,— конечно, из-за кроссвордов не повысился, но Лиза с энтузиазмом сочиняла следующий, на сей раз целиком иностранный. «Вы сжигаете книги Гейне, а я вам и Гейне подсуну»,— думала Лиза.

Этот кроссворд получился интересней. Гёте, Вагнер, Гофман, Клейст, Валькирия, Гейне, Гауптман, Гримм...

— Кто такой Клейст? Не знаю,— спросил шеф-редактор.

— Драматург и новеллист девятнадцатого века.

Штольцман завизировал.

Третий кроссворд Лиза сделала географическим, из названий немецких городов, связанных с революционными событиями. Шеф-редактор завизировал его, ни о чем не подозревая.

Кроссворды стали появляться часто.

В назначенный день под предлогом сбора информации Лиза отправилась на улицу Салтыкова-Щедрина. Никаноровна ее уже ждала.

Погода была промозглая, мерзкая. Несколько раз выпадал снег, но быстро таял. Улицы были заполнены мусором, обрывками объявлений и газет, блестели малыми и большими лужами. По Салтыкова-Щедрина тянулись немецкие обозы с мешками и ящиками. Проехала колонна мотоциклистов с броневичками во главе. За ней опять обоз. Лошади, как на подбор, рыжие, могучие, с розовато-белыми мордами.

— Знаю, работаешь? — спросила Никаноровна.

— Да.

— Довольна?

— Ну как вам сказать...

— Ничего, ничего, дело нужное. Как с ТЭЦ?

— Десятого октября.

— Точно?

— Перепроверяла. Даже в газете у нас писали.

— Ты бы хоть газетку свою принесла.

— Не догадалась.

— Теперь постарайся почаще бывать на вокзале или в районе его.— сказала Никаноровна.— Смотри за приходящими эшелонами. Это — раз. За проходящими мимо. Это — два. А встретимся с тобой, как и всегда, здесь же.

Они расстались.

Десятого октября ТЭЦ действительно дала ток.

А в ночь на одиннадцатое город потряс взрыв.

Лиза вскочила с постели: «Неужели ТЭЦ? Но сколько же туда надо было доставить взрывчатки и как ? Явно в городе подпольщики!»

До утра она уже не спала. Чуть свет побежала задними улицами к ТЭЦ. Еще издали увидела — развалины.

Днем солдаты ставили на центральной площади новые виселицы. Через час на трех из них висело девять человек. После работы Лиза подошла поближе. Среди них узнала того старичка, с которым вместе недавно шли с ТЭЦ. На груди каждого — дощечка с надписью: «Бандит».

* * *

Никогда Елизавета Павловна не лгала никому. И Игорю, конечно. Но существовала в ее жизни тайна, из-за которой ей лгать приходилось. Но это была святая ложь.

Когда Игорю исполнилось шестнадцать лет (он учился в восьмом классе), настала пора получать паспорт.

Скрепя сердце Елизавета Павловна достала его свидетельство о рождении.

Игорь никогда не спрашивал об отце. То ли не хотел беспокоить мать, поскольку сама она молчала, то ли просто чувствовал, что этот вопрос задавать не надо.

А тут в графе «отец» увидел прочерк и, чуть заикаясь, сказал:

— Ты никогда не говорила, мама, об этом... Но что, у меня действительно нет отца?

«Он погиб»,— хотела ответить Елизавета Павловна, но что-то остановило ее.

И она устало, стараясь смотреть ему в глаза, произнесла:

— Считай, Игорек, что у тебя отца нет.

— А почему я Венедиктович? — спросил Игорь.

— Так, был один очень хороший человек.

Это был первый и последний их разговор об отце.

* * *

Странное дело: Штольцман был немцем, Евдокимов — русским, но оба они одинаково ненавидели Россию и русских людей. И к делу своему — «Русскому голосу» — относились с полным безразличием.

Лиза замечала, что немецкие, даже официальные, материалы плохо переводятся на русский.

Сказала об этом Штольцману.

— Ну и что? — сказал Штольцман.— Смысл не искажается?

— Кажется, нет.

— А остальное ерунда.

По предложению Евдокимова для местных материалов отвели конец газеты, низ четвертой полосы.

Все публиковалось здесь в подбор, без всякого смысла.

«Для нужд немецкой армии принимаются шкуры крупного рогатого скота, волос, меха, пенька. Оплата продуктами. Адрес...»

«При большевиках я жил плохо. С приходом немецкой армии вздохнул свободно. Я работаю и получаю продовольственную карточку. Призываю всех горожан поддерживать новый порядок. Рабочий Месячкин».

«Производится сбор теплых мужских вещей, а именно свитеров, варежек, носков, нижнего белья, валенок в обмен на продукты. Адрес...»

«За диверсию на городской ТЭЦ привлечены к ответственности и казнены путем повешения девять граждан, а именно...»

«Более двухсот добровольцев вышли расчищать улицы и площади города от снега. Бургомистр г-н Платонов А. А. выразил благодарность всем работникам и наградил их подарками».

И все в таком духе.

* * *

Каждую свободную минуту Лиза ходила к вокзалу, иногда чуть дальше — к сортировочной. Она считала эшелоны, и разгружающиеся и проходящие мимо. Большая часть эшелонов шла на восток. Она старалась запомнить все, а вечером эти данные переносила на бумагу.

У Лизы был теперь пропуск — «аусвайс» — даже с правом хождения во время комендантского часа. Но этим Лиза не пользовалась.

После взрыва ТЭЦ в городе каждую ночь проходили облавы, на стенах домов появились новые страшные приказы коменданта и бургомистра Платонова, улицы постоянно патрулировались.

Как условились, к трем часам Лиза направилась на встречу с Никаноровной. Утром она успела засечь еще три эшелона — один разгружающийся, с лошадьми и походными кухнями на сортировочной, и два прошедших, с танками и зенитными орудиями.

В три Никаноровны на месте не оказалось. Не появилась она и в половине четвертого. И в четыре.

Лиза забеспокоилась, к тому же по улице уже несколько раз прошел патруль, и решила вернуться в редакцию.

Ночью спала плохо. На следующий день на всякий случай опять появилась в три часа на условленном месте, но Никаноровны по-прежнему не было.

По пути в редакцию она прошла через площадь Революции и заметила перемены. Трупы с виселиц были сняты. Остался только один. Лиза подошла ближе и с ужасом узнала Никаноровну. Все лицо ее было разбито. На груди табличка: «Партизан».

В редакции она увидела фотографию повешенной Никаноровны и информацию, подготовленную Евдокимовым. В ней с восторгом живописалось о поимке крупной партизанки и намекалось на ее причастность к взрыву ТЭЦ. «Так будет с каждым, кто

выступает против нового порядка, утверждаемого победоносной германской армией»,— заканчивалась заметка.

Физическое уродство, как это порой бывает, не ожесточило, не озлобило Лизу. Она была мягка со всеми, у нее не было врагов, и в людях она обычно видела только хорошее. И как ни ужасна была война, как Лиза ни воспринимала немцев, она на первых порах не чувствовала злобы к ним.

И вот эти повешенные — в какой уже раз!

И теперь тихая, незащищенная Никиноровна!

Они же не люди! Они хуже зверей!

Лиза была в отчаянии: «Что делать? Что делать?»

Время словно остановилось, и она никак не могла дождаться окончания рабочего дня. А тут еще шеф-редактор послал их с Шурой крутить печатную машину. Ведь электричества не было.

Лишь около девяти часов Лиза вернулась домой.

Есть она не могла; не раздеваясь, тяжело опустилась на постель. Сидела так час-два, а может, и больше.

Наконец приняла решение: «Пойду! Будь что будет, а все равно пойду!»

Пока она шла по городу, два раза сработал пропуск, и патрули отпускали ее. На окраине стала осторожнее, все чаще оглядывалась по сторонам.

Миновав последний мостик, она направилась по грунтовой дороге в сторону леса. Тут было тихо, пустынно и от этого еще страшнее. На небе, как назло, появилась неполная луна, освещая дорогу.

Она почти побежала и вот наконец нырнула в лес. Остановилась, передохнула и вновь двинулась вперед. Шла долго.

Часа через два ее окликнули:

— Стой!

Она крикнула:

— Да своя я!

— Пароль! — приказали из кустов.

Никакого пароля она не знала:

— Своя же я, говорю!

Двое вылезших из кустов мужчин с удивлением рассматривали ее.

Один сказал:

— Кажется, я видел ее летом с Орловым.

— Да, да, я была здесь с Игорем Венедиктовичем,— заторопилась она,— а сейчас мне очень он нужен. Очень. Это срочно, поверьте.

Дозорные переглянулись.

— Ну что ж, пойдем,— сказал один из них,— а ты, Золотов, оставайся.

Они прошли с полкилометра. Вдали, на поляне, Лиза увидела небольшой костер и людей, сидящих у огня.

Вскоре они оказались у знакомой землянки.

— Так вам обязательно Орлова? — спросил ее сопровождающий.

— Лучше его, — подтвердила Лиза.

Сопровождающий нырнул в землянку, попросив Лизу подождать.

Вскоре из землянки в накинутом на плечах ватнике вышел Игорь Венедиктович.

— Что случилось? Что за самодеятельность? Кто вам разрешил сюда являться? — в голосе его прозвучали тревога и явное неодобрение.

Лиза, сбиваясь, рассказала о том, что повесили Никаноровну, протянула записку с данными о немецких эшелонах.

— Зайдем, — уже мягче сказал Игорь Венедиктович.

Они спустились в землянку. На столе горела коптилка. У двери сидел связист — совсем молодой парень. Остальные спали на нарах.

Орлов подошел к нарам, потряс кого-то:

— Леонид Еремеевич, а Леонид Еремеевич!

С нар поднялся заспанный человек, и Лиза сразу узнала его. Это был директор пятой школы, где они проходили практику.

Орлов рассказал про Никаноровну.

— Какое несчастье! — воскликнул Леонид Еремеевич.

Потом они долго рассматривали Лизины записи. Лиза согрелась — в землянке было тепло. Ее клонило ко сну.

— А сейчас есть и спать! — Игорь Венедиктович похлопал ее по плечу и посмотрел на часы. — До четырех спать! в четыре пойдешь назад. А мы тут с командиром покумекаем, как жить дальше, — сказал он.

Потом добавил:

— В городе есть подполье. ТЭЦ — это их работа. А мы здесь ни при чем.

Ее накормили и уложили на нары в противоположном углу.

Казалось, не проспала и минуты, как ее разбудили:

— Пора!

На столе стоял стакан молока, лежал хлеб.

— Поешь!

Пока она ела, Леонид Еремеевич говорил:

— Данные ты собрала очень нужные. Спасибо. Теперь у нас, к сожалению, пока нет надежной связной. Приходи, как сейчас, только ночью. Допустим, через пять, нет, пожалуй, лучше через

шесть дяей. И постарайся узнвть, где живет Платоиов. Есть ли охрана. Рвсписвние его дня. В общем, все, что можно. Договорились?

— Хорошо,— сквзала Лизв.

Она покияулв лагерь и затемно вернулась в город. Нв улице Красина ее остаиовил пвтруль, яо все обошлось.

* * *

Когда Игорь познвкомился с Клавой, ои долгое время скрывал это от нее. Оив иичего ие зиала, но иитуиция мвтери подсквзывала: у сына кто-то появился. Раиьше Игорь часто звоиил, иногдв писал, в тут — почти никаких вестей.

Елизаветв Павловив позвоиилв ему свив в общежитие — он кончал тогда училище,— с трудом ившла, ствлв журить:

— Уж ие влюбился ли?

— Откуда ты зиешь?

— Догадываюсь.

— Да, мама, ты угвдала...

— Так вот ие вляй дурвка, Игорек, а звбирвй свою зазиобу и ко мие. Устроим смотриины и еще эту, как оиа язывается, помолвку. Если, коиечно, твоя иевеста мне поиравится.

Как-то а очередной выходиой оии приехали.

Елизаветв Павловиа ствралвсь быть придирчивой, ио Клвва ей сразу пришлась по душе. Првврда, девушкв смущалвсь, то ли от робости, то ли потому, что виделв перед собой горбатую иемолодую жеищину. Зв долгую жизиь Елизаветв Пвловив, квзалось, привыклв к этим удивлеииям и иескрывевмому любопытству, но всякий рвз иачиивло больио колоть в висквх и под ложечкой появлялось ощущеиие тижелой пустоты.

Игорь и Клава пробыли у иее весь деиь. Отметили помолвку. Потом долго гуляли по городу, который очеиь разросся и отстроился в послевоеииое время. Игорь хотел было звйти ив базар, но Елизавета Павловив, словно не расслышав, утвщила его иа улицу Салтыкова-Щедрина. Ныиешний бвзар напомииал ей лагерь немецких военнопленных, и оиа ие могла туда идти с сыиом. А на Салтыкова-Щедриив ояв все рассквзывалв про страниого помещика Сквозиовв-Печерского, все, что зиала со слов Игоря Веиедиктовичв.

Вечером оии уезжали, и Елизаветв Паaловиа провожалв их нв вокзвл.

— Сыиок, когда думаешь свадьбу-то?

— Не зиаю покв еще. Если все будет хорошо, как только коичу училище,— согнувшись почти вдвое, шептвл ей Игорь.

Но нв свадьбу оиа тогдв так и ие попалв.

* * *

Лиза уже научилась писать для «Русского голоса» небольшие заметки и корреспонденции — кому в этой газетенке было дело до стиля и чистоты русского языка? Главное — факты, факты, факты, пусть искаженные, пустые, но только чтобы все они были свидетельством торжества, разумности и необходимости немецкого порядка...

Впервые в жизни она ожесточилась и ходила в редакцию с лютой ненавистью к Штольцману и Евдокимову и ко всему, что приходится здесь видеть и делать.

Она пыталась как-то взять себя в руки, успокоиться, но не могла. Внутри все клокотало, кипело.

Работать в таких условиях было неимоверно трудно. Чтобы жители города все-таки могли получать необходимую информацию, приходилось выкручиваться, подолгу сидеть над одной фразой. И тем не менее все эти труды зачастую пропадали даром — цензура Штольцмана и Евдокимова была неумолимой...

Лиза узнала, что Платонов живет в бывшем Сосновском переулке, ныне Зигфрида. Дом небольшой, двухэтажный. Без четверти восемь за ним приезжает автомобиль. Дома остается прислуга. Жены и детей у Платонова нет. Обедает дома. Остальное время находится в своей резиденции по соседству с немецкой комендатурой за углом. Да, на ночь у дома Платонова выставляется пост. Днем его нет.

Этого было мало. Надо еще узнать, откуда его привезли немцы, кто он. В городе Платонов явно человек пришлый.

Лиза долго гадала, как к этому подступиться, и вдруг вспомнила про биржу и Семенова.

Как раз вышел очередной номер «Русского голоса» с двумя объявлениями биржи. Лиза взяла три экземпляра и направилась к Семенову.

Он оказался на месте.

— Вот,— сказала Лиза и положила на стол перед Семеновым газеты.

Семенов посмотрел, поинтересовался:

— Как работаете?

— Ничего,— сказала Лиза.

— Трудно?

— Противно.

Она заговорила о господине Платонове.

Объяснила это так:

— Мы собираемся дать материал о нем. Но, к сожалению, мало что знаем.

— Пятьдесят шесть лет. Житель Смоленска. Бывший работ-

ник Госстраха. Это все, что мне известно,— быстро выговорил Семенов.

— Но почему он тогда не в Смоленске?— поинтересовалась Лиза.

— Там, видно, его слишком хорошо знают,— переходя на полушепот, объяснил Семенов. И громче:— Может, попытаться устроить встречу с бургомистром? Попробую попытаться.

Мысль написать о Платонове у Лизы возникла неожиданно, она ни с кем не согласовывала ее в редакции, но подвернувшимся случаем надо воспользоваться.

— А что? Пожалуй!

— Тогда посидите. Я попытаюсь сейчас же. Не думаю, что у господина бургомистра так много дел.

Она улыбнулась.

Семенов ушел.

Лиза осмотрелась. Народу на бирже стало меньше. И все же у каждого стола кто-то сидел. Один-два человека, не больше.

Семенова не было минут двадцать.

— Господин бургомистр примет вас через полчаса,— объявил он, вернувшись.— Вот пропуск.

— К нему тоже пропуск?— удивилась Лиза.

— А как же! Надо быть бдительным,— неопределенно объяснил Семенов.— Но как на все это посмотрит ваш Штольцман?

— А ему все безразлично,— сказала Лиза.— Впрочем, он может и похвалить за инициативу.

Лиза погуляла по улице. Погода устанавливалась. На асфальт мостовых и тротуаров лег снежок.

Резиденция Платонова находилась рядом, в бывшем помещении детского сада — небольшом двухэтажном доме. Снаружи часового не было.

Пропуск у Лизы взял немец, стоявший внутри, у лестницы. Покрутил, посмотрел с усмешкой в Лизино лицо, пропустил. На втором этаже дежурил еще немец.

Все повторилось.

Охранник махнул Лизе в сторону коридора.

Она прошла мимо комнат, откуда доносился стук пишущих машинок, и открыла дверь с самодельной табличкой «Г-н бургомистр Платонов А. А.».

Здесь сидела немолодая женщина в очках.

Она тоже посмотрела Лизин пропуск, потом, внимательно разглядев ее, буркнула:

— Подождите.

Через несколько минут предложила:

— Проходите!

И открыла дверь.

В довольно просторной комнате, пол которой покрывал ковер, за большим канцелярским столом сидел еще не старый холеный человек с белым лицом и такими же руками.

— Что вам надо?— холодно спросил он, не поздоровавшись и не вставая.

— Я... Мы... У нас в редакции «Русского голоса»,— начала было Лиза.

— Знаю, это я знаю,— перебил ее Платонов.— Газету вашу читаю. Скажу, много вы там либеральничаете в своей газете. Да, да, либеральничаете! Вместо того чтобы каленым железом выжигать большевистские привычки! Черт возьми, мы ничего не можем наладить. Ни электричества, ни водоснабжения. Всюду или пассивность, или явное неприятие нового порядка. Диверсии, уклонение от трудовой повинности. Не знаю, что думает господин Штольцман, но ваш шеф Евдокимов явно пустое место. Он-то уж должен был знать характер своих соотечественников и проводить в газете более жесткую линию по отношению ко всякого рода оппозиционности...

Платонов яростно задыхался.

Лиза слушала его не без удовольствия, но не знала, как ей подойти к главному, ради чего она, собственно, пришла. Ее не интересовала ни биография этого человека, ни то, что он говорил сейчас, но ведь спросить о чем-то надо.

А Платонов продолжал выкрикивать какие-то слова о гуманности немецкой нации, о бунтарской тупости русского народа, о светлых перспективах приобщения к великим идеям фюрера.

Вдруг он иссяк и глубже забился в кресло. Лиза заметила, что руки у него трясутся, а в глазах появился нездоровый блеск. Только лицо оставалось по-прежнему ледовито-бледным.

— Так что?— спросил он как-то вяло.

— Мы хотели бы знать некоторые факты вашей биографии,— робко заикнулась Лиза.— Смоленский, в частности, период...

Платонов молчал.

Потом вроде окончательно успокоился:

— Смоленский? Ничего хорошего там не было. Большевистская зараза охватила всех, даже слои бывшей интеллигенции. Мы не жили, а существовали. В двадцатые годы советская власть уничтожила моего отца. Мать была вынуждена уехать за границу. Скончалась в Берлине, где я учился. Вернулся с университетским образованием и влачил жалкое существование. Но нет, я был последователен!— Он чуть не взвизгнул.— Я не хотел обслуживать советскую власть!..

«Все понятно. Теперь-то мне все понятно,— думала Лиза.— Тебя завербовали там. А ты, кроме всего, оказался еще и круг-

лым идиотом. И разведчика из тебя настоящего не вышло. А сейчас немцы просто подобрали тебя, как вещицу, которая может пригодиться».

— А ваши взгляды на судьбу России?

— Судьба? Перекромсать все снизу доверху, вытравить большевистскую заразу, уничтожить ее носителей, но на это потребуется немало усилий и труда. Для этого нужны годы...

Разговор не клеился, хотя Лиза и делала вид, что записывает что-то в блокноте.

Секретарша и охранник снова проверили пропуск, а стоявший внизу отобрал его.

Лиза вышла на улицу. И тут же со стороны сортировочной раздался оглушительный взрыв. Треск и грохот падающих вагонов. Через минуту прозвучал второй взрыв, и в небо взметнулись клубы дыма и россыпь искр. Через несколько минут по улицам в сторону железной дороги помчались грузовики с солдатами и мотоциклисты.

Ночью на железной дороге произошел еще один взрыв. Весь день немцы разбирали разбитые вагоны и платформы, восстанавливали пути, а следующей ночью опять взрыв под колесами эшелона.

За двое суток четыре взрыва!

Четыре эшелона под откосом!

Это явно партизаны.

Лиза как-то не думала о своей причастности к этому. У нее просто было очень хорошо на душе.

* * *

И все же Лиза написала о Платонове. Она работала даже с некоторым упоением.

Название было несколько нарочитым — «Друг народа».

И текст весьма подобострастный:

«Он не молод, этот человек, но и далеко не стар. Просто за спиной большая, трудная жизнь. У него мягкие, усталые глаза и добрые черты лица, он краток в разговоре и добр в общении...

Биография нашего бургомистра как бы олицетворяет давние связи России и Германии...

А. А. Платонов родился в Смоленске, но высшее образование получил в Берлине. Он впитал в себя сокровища богатейшей немецкой культуры и, вернувшись на родину, посвятил свою жизнь служению людям. В условиях тяжелейшей действительности он был организатором социального страхования в Смоленске, что являлось большим подспорьем для всех.

И сейчас, став нашим бургомистром, он весь в заботах о лю-

дях. Его волнуют проблемы электроснабжения, водоснабжения, транспорта, то есть жизни каждого горожанина...

Мы сидим в уютном кабинете господина бургомистра и ведем непринужденную беседу о проблемах жизни...

— Что вы думаете о судьбе России? — спрашиваю я.

— Судьба эта только начинается,— говорит А. А. Платонов.— И думаю, что она прекрасна. Надо знать характер своих соотечественников. С помощью германских властей они наладят свою жизнь. Но для этого потребуется немало усилий и труда. Для этого нужны годы...

Я думаю о судьбе самого А. А. Платонова и верю, что она будет справедливой по отношению к нему...»

Лиза показала сочинение Штольцману.

— Платонов? — Штольцман поморщился.— Впрочем, оставьте, посмотрю...

Через час он вызвал Лизу:

— А вы... Не ожидал... Не ожидал... Неплохо... Покажите господину Евдокимову и в набор. В номер.

— Хорошо бы фото,— подсказала Лиза.

— Пожалуй,— согласился Штольцман.— Пусть Евдокимов организует.

Евдокимов тоже похвалил Лизу, но сделал два замечания. Попросил вычеркнуть слово «социальное» применительно к «страхованию» и забраковал заголовок:

— Это что-то у Ленина о друзьях народа. Сделайте проще: «Он служит людям».

* * *

У Игоря уже был назначен день свадьбы, и Елизавета Павловна собиралась ехать в Москву, когда ее вызвал бывший председатель горисполкома Аполлинарий Николаевич Игнатов (тот, что ныне работает первым секретарем горкома партии) и поинтересовался:

— Елизавета Павловна, голубушка, вы знаете Калерию Владимировну Богомолову?

— Конечно,— сказала Елизавета Павловна.— Она у нас читала историю философии в институте.

— Калерия Владимировна очень тяжело больна и, как говорят врачи, нетранспортабельна. Родственников у нее нет. Не навестите ли вы ее? — попросил Игнатов.

Естественно, Елизавета Павловна согласилась.

Когда она пришла к Богомоловой, застала там врача.

Врач развел руками:

— Дело плохо.

Богомолова была очень стара, а тут инсульт, паралич.

Елизавета Павловна провела у ее постели четверо суток. На пятые Калерия Владимировна скончалась.

Звонить Игорю она не стала, чтоб не говорить грустные вещи, а дала телеграмму: мол, поздравляю, желаю, целую и все такое прочее.

* * *

Материал о Платонове выскочил быстро, на следующий день. Была и фотография. Качество ее печати было таково, что каждый мог увидеть в Платонове то, что хочет: от злодея до выжившего из ума добродушного старичка.

Штольцман вызвал Лизу:

— Поздравляю! Звонил господин бургомистр, он очень доволен. И немецкие власти тоже. Просили отметить вас презентом. Вот, пожалуйста...

И Штольцман вручил Лизе коробку немецких галет.

* * *

Второе посещение партизанского лагеря прошло более удачно. Лиза меньше волновалась, так как знала, что ее ждали. Лучше, суше была и погода. Сведения о Платонове она добыла. Повезло на сей раз и с патрулями. Ее останавливали несколько раз, но быстро отпускали.

На этот раз она знала и пароль — «Наука».

Ее встретили командир отряда Леонид Еремеевич и комиссар Игорь Венедиктович.

Они сообщили, что немцы пытались совершить налет на партизан, но безуспешно. Дошли до опушки леса, но идти дальше, в чащу, не рискнули.

По просьбе командира Лиза начертила планы дома Платонова в Сосновском переулке и его резиденции, указала, где стоят охранники.

— Хорошо бы, конечно, повесить его на площади Революции и написать «предатель»,— мечтательно сказал Игорь Венедиктович.

Но это было нереально.

Решили попытаться взорвать и дом и резиденцию. Выделили группу взрывников.

Лиза слушала партизан, а сама не отрывала глаз от Игоря Венедиктовича.

«Господи, какая же я дура,— ругала она себя.— Нужна я ему со своей любовью. Была бы человеком, а то уродина...»

Но поделать ничего с собой не могла.

Завтрашний день выходной, и ей не надо было спешить в город. Договорились, что вернется в следующую ночь, а день проведет в отряде.

Командиры разошлись в начале третьего. Орлов пригласил Лизу за стол.

— Давай перекусим.

Они поели, потом перешли к чаю.

Лиза рассказывала Игорю Венедиктовичу про редакцию «Русского голоса», про Штольцмана, Евдокимова, Шуру, про кроссворды и радиоприемник, про печатную машину-американку, которую приходится крутить вручную.

— Этого Штольцмана и Евдокимова тоже надо было бы уничтожить,— сказала Лиза.— Такие же, как Платонов. Только что сами не вешают...

— Доберемся и до них,— веско ответил Игорь Венедиктович.

Потом Лиза прилегла отдохнуть на нары, и он прикрыл ее своей телогрейкой.

Заснула она с мыслями об Игоре Венедиктовиче.

Проснулась поздно, в начале десятого, когда все в лагере давно уже были на ногах. Сидеть без дела не могла и, чуть побродив по лагерю, сначала застряла на кухне — чистила картошку, шинковала капусту, а потом пошла к швейницам, которые шили нижнее белье для партизан, варежки и даже телогрейки. Женщин в отряде было мало, и они с удовольствием приняли к себе Лизу.

Днем партизаны, ходившие на разведку в село Кузьминки (вотчину помещика Сквознова-Печерского, вспомнила Лиза), привели пленного, оказавшегося словаком.

Командиру отряда он сказал, что попал в армию помимо своей воли, не хочет воевать против русских, и пусть его лучше расстреляют, чем он вернется к фашистам.

— Ладно, разберемся,— сказал Леонид Еремеевич.

— Возьмите меня, Игорь Венедиктович, к себе, в отряд,— попросила Лиза Орлова.— Что угодно готова делать!

— Подожди, подожди,— говорил Игорь Венедиктович.— Ты и сейчас делаешь очень важное дело. Отряд не может остаться без связной.

И сам проводил Лизу до первого боевого охранения.

• • •

Взрыв в Сосновском переулке сорвался. Зато не сорвался в резиденции. Ровно в двенадцать. Это было на пятые сутки после возвращения Лизы на отряда. Бургомистр погиб.

Штольцман вызвал Лизу и поручил ей писать некролог на Платонова.

Шеф-редактор принес из комендатуры краткие сведения о Платонове и его фотографию.

— Постарайтесь написать поторжественнее, не стесняйтесь в выражениях. Похороны будут по высшему разряду.

Лиза принялась за некролог. Очень хотелось втиснуть в него хоть какую-то правду о Платонове. И, кажется, кое-что получилось. Ну, например, начало: «3 ноября 1941 года врагами немецкого рейха убит...» Или концовка: «Русские люди не забудут Платонова А. А...» Некролог долго правился, шеф бегал с ним в комендатуру, но эти фразы так в нем и остались.

И уж совсем смешно, что через две недели Лизе удалось сунуть фамилию Платонова в очередной кроссворд, построенный на самых примитивных понятиях (дуб, уздечка, лисица, грабли, молоко и т. д.).

И кроссворд прошел!

Две недели город жил без бургомистра, и вдруг ошеломляющая новость: бургомистром назначен «их» Евдокимов. Штольцман пытался отстоять своего зама, но это не удалось.

— Видно, плохо у них дело с кадрами,— сказала Лиза Шуре,— раз нашего зама забрали.

Евдокимов, кажется, тоже без особого рвения переходил на новую должность. Судьба Платонова ему не улыбалась.

* * *

Фронт отодвинулся далеко, но в воздухе война чувствовалась. Эшелонами шли на восток немецкие самолеты. Появлялись и наши, и тогда в небе разыгрывались воздушные бои. В одном из них наш летчик подбил немца.

Трижды немцы прорывались к отряду. Были тяжелые бои и потери. Дважды бомбили отряд с воздуха. Опять потери. Но партизаны выстояли и к Новому году даже разрабатывали план крупной акции.

Решили перейти к активным действиям: взорвать бензохранилище, что находилось на пустыре за зданием разрушенного драматического театра, и склад боеприпасов в районе Колхозной, а ныне Дрезденской, улицы. Лизу поставили в известность о предстоящих операциях, и она уже вела кое-какие наблюдения за бензохранилищем и складом. Знала приблизительно численность охраны, время смены постов, движения автотранспорта.

Связь с отрядом укрепилась. Впервые после гибели Никаноровны в середине ноября в городе стал бывать Фрол Матвеевич, фотограф, как его называли. Он, правда, и в самом деле был любителем-фотографом, не расставался со своим ФЭДом и считался фотолетописцем отряда. Они встречались с Лизой регулярно, но уже

не па улице Салтыкова-Щедрина, а на Вокзальной площади, у бывшей остановки трамвая.

Немцы тоже готовились к астрече Нового года. Для праздничных торжеств они решили привести в порядок здание драматического театра, частично разрушенное в ходе сентябрьских уличных боев. Каждое утро сгоняли они к театру небольшие группы горожан...

Заходивший изредка в редакцию Евдокимов, уже аступиаший на новый пост, жаловался, что немцы требуют все больше и больше рабочей силы для восстаноаления театра, но, увы, в городе лишних людей нет. Улицы пе убираются давно, оголены многие участки коммунального хозяйства, некого посылать на работу в Германию.

В начале декабря комендант города полковник Майзель аынужден был отдать приказ о привлечении к работе а театре воинских подразделений. Довольно быстро они отремонтировали разбитые артиллерией стены театра и колоннаду, начались внутренние отделочные работы.

Раз а неделю Майзель сам пояалялся на объекте, осматривал все хозяйским глазом, даaал оперативные распоряжения.

При очередной астрече с Фролом Матаеевичем Лиза рассказала ему об этом и попросила:

— Посоветуйтесь с Леонидом Еремееаичем и Игорем Венедиктовичем. Может, стоит подключить театр к нашему плану? Ведь там соберетсн все немецкое командоаанне. Штольцман говорил, что у Майзеля даже есть план саезти сюда каких-то артистов н устроить спектакль...

Фрол Матаеевич обещал.

А аскоре Лиза и Шура услышали по радио сообщение о разгроме немецких войск под Москаой.

Это было потрясающе!

Наконец-то! Наконец!

Шеф-редактор Штольцман ходил по редакции злой и не знал, к кому и по какому поаоду придраться.

Наконец собрал соаещание, на которое пригласил не только Лизу и Шуру, но трех корректоров, переаодчика и пять рабочих типографии.

Начал Штольцман с откровенной брани по поводу плохого распространения газеты, как будто кто-то из присутстаующих был поаинен а этом, потом долго рассуждал о саботаже, хотя не мог приаести ни одного примера саботажа в редакции, а закончил тем, что каждый обязан в неделю отработать деснть часов в театре.

У него был готоа список по дням.

— Прошу расписатьсн! — бросил он. И добавил: — А теперь вы саободны!

* * *

Послевоенный сорок седьмой год был очень тяжелым. Город наполовину стоял в развалинах. Жили по карточкам с мизерными нормами. Когда родился Игорь, у Елизаветы Павловны пропало молоко. Правда, работа в лагере военнопленных давала кое-что. Пленных кормили приличней, чем ели сами, и Елизавете Павловне удавалось приносить кое-какие крохи. Но не было молока, которое Игорю было необходимее всего.

Однажды, когда она после ночного дежурства в лагере шла на основную свою работу в горисполком, вдруг встретила Фрола Матвеевича — бывшего связного и фотолетописца партизанского отряда. Они не виделись с сорок третьего, когда был освобожден город. Оказывается, Фрол Матвеевич из партизан ушел в армию, дошел до Будапешта и вот только недавно демобилизовался.

Елизавета Павловна пощупала три ряда орденских планок на его груди:

— Ну, герой!

Они разговорились.

Оказывается, Фрол Матвеевич заделался настоящим фотографом и сейчас работает в ателье, там, где городская барахолка.

— Партизанская практика помогла. Да и после войны в Венгрии побаловался фотографией,— сказал он.— А ты-то как? Ты?

— У меня колодочек мѐньше, две всего,— попыталась пошутить Елизавета Павловна.— Зато и работы две.

— Чего же это ты так убиваешься? — искренне удивился Фрол Матвеевич.

Пришлось объяснить, что днем она работает в горисполкоме курьером, а ночью дежурит в лагере военнопленных медсестрой.

— Тоже партизанская практика помогла,— сказала Елизавета Павловна.

— На кой же лях тебе эти фрицы!— поразился Фрол Матвеевич.

Что было ответить? Что деньги нужны? Что нужны лишние продукты? Или что фрицы тоже есть разные? Ведь в конце концов, не война сейчас.

Она сказала другое:

— Фрол, у меня сын родился, да вот молока нет.

Фрол Матвеевич был ошарашен.

— Сын? У тебя?— он не скрыл своего удивления.

Она обиделась:

— А что я, не женщина, что ль?

— Да не о том я,— поправился Фрол Матвеевич.— Подожди, но кто же отец-то?

— Ветром надуло,— пошутила она.— А сынишка у меня хороший. Игорем зовут. Жаль только, что приходится его почти все время оставлять на соседку. Ведь я целый день и ночь на работе. Хотя соседка милая женщина, да и своих у нее трое. Давай, говорит, Лиза, и твоего. Все равно к дому привязана. А в детский сад или в ясли сейчас не пробьешься...

Они помолчали.

— Да, ты про молоко говорила,— вспомнил Фрол Матвеевич.— Пожалуй, тут я тебе могу помочь. Есть у меня, старого холостяка, зазноба в Кузьминках. Ну, жена не жена, а, так сказать, боевая подруга. Писала мне, ждала. А у нее корова.

— Не может быть!— не поверила своим ушам Елизавета Павловна.

— Точно!— подтвердил Фрол Матвеевич.— У нее корова, а у меня мотоцикл. Так что готовь бидон, а остальное за мной.

* * *

Партизанский отряд вырос до двухсот человек. А начинали когда-то совсем с малого.

В него входили и многие люди из специально оставленного партийного, комсомольского и советского актива, и вчерашние крестьяне, рабочие, учителя и врачи, и бывшие военнопленные, бежавшие с этапов и из лагерей, и даже один иностранец, словак Мирослав Валек, тот самый, которого взяли в селе Кузьминки и привели в отряд при Лизе.

Полным ходом шла подготовка к новогодней операции. Для бензохранилища и склада были сформированы две группы по семь человек. Раздобыли пятьдесят комплектов гитлеровского обмундирования. В город партизаны поедут в немецкой форме.

В редакции тем временем все шло своим чередом. Штольцман успокоился. В последнее время он близко сошелся с комендантом Майзелем, бывал у него в гостях и всячески старался угодить ему. А Майзель вовсю был увлечен театром. Неизвестно какими путями ему удалось заполучить из разных провинциальных городов певцов, танцоров и музыкантов, которые чуть ли не каждый день прибывали в их город. «Русский голос» из номера в номер называл имена разного рода знаменитостей, давал их биографии, сообщал о репетициях и подготовке декораций. Все чаще мелькало на страницах газеты имя какого-то фон Мекка, художественного руководителя предстоящей программы. В двадцатых числах декабря на первой полосе «Русского голоса» появилась фотография стоявшего перед зданием театра грузовика с огромной елкой.

Об этом не сообщалось, но все видели, как к зданию театра подогнали походную электростанцию на двух грузовиках-тягачах. Значит, и электричество в театре будет.

Группа городских подпольщиков во главе с Иванцовым брала на себя театр. Лиза не видела Иванцова, но слышала о нем не раз.

...Наступило рождество. У Майзеля, да и у многих других высших и средних офицеров, все чаще устраивались праздничные вечеринки и приемы. Солдатам и унтер-офицерам увеличили норму выдачи шнапса. Дома и казармы, где жили немцы, украсились елками. По вечерам на них зажигались свечи.

Шеф-редактор Штольцман все чаще приходил в редакцию под градусом, собирал подчиненных в своем кабинете и подолгу разглагольствовал о великой освободительной миссии Гитлера и прочих неисчислимых благах, которые несут всем солдаты третьего рейха.

После одного из таких совещаний он попросил Лизу подготовить к новогоднему номеру кроссворд на немецком материале, а Шуру всеми правдами-неправдами найти в городе художника, который мог бы изобразить дружески, с улыбкой господина полковника Майзеля в виде покровителя искусств.

Шура довольно быстро нашла способного мальчика, четырнадцатилетнего Юрика, который согласился нарисовать Майзеля. Композиция «дружеского» рисунка у него получилась сразу: фон — здание драматического театра со всеми шестью восстановленными колоннами, вокруг, в облачках, лиры и нотные знаки, балетные пары в пачках, эквилибристы и саксофонисты, скрипки, трубы, флейты и даже арфы, которых не предполагалось в программе. Но вот с Майзелем дело было хуже. Одно изображение его на первом плане было хуже другого: физиономия садиста, палача, дегенерата.

— Ну, Юрик, умоляю, поласковей! — просила Шура.

Лишь какой-то двенадцатый вариант она решилась показать Штольцману.

Шеф-редактор долго рассматривал рисунок, вертел его в руках, то поднося близко к лицу, то как можно дальше отодвигал от себя, и наконец заключил:

— Грубо! Смягчить, еще смягчить!

И Юрик смягчил. Майзель выглядел добродушно-глуповатым.

— Пожалуй, этот пройдет, — сказала Шура и направилась к шефу.

Тому вроде понравилось, но обещал согласовать с самим Майзелем.

На следующее утро он принес рисунок.

На нем стоял автограф Майзеля.

* * *

Лиза выходила из редакции, когда на улице ее неожиданно поймал Семенов:

— Вы мне нужны! Вам куда?

— Домой,— сказала Лиза.— На Красина. Простите, сейчас Одерская.

— Я вас провожу.

По пути Семенов говорил:

— У меня дурные предчувствия. Я знаю, что готовятся серьезные акции, но боюсь, что они вызовут активные меры против жителей города. Очень активные. Немцы совершенно озверели. И готовы уничтожить все вокруг себя. Я это вижу по бирже. Понимаю, что мои слова — это только слова, а не факты, но, пожалуйста, передайте в отряд о нашем разговоре.

Она действительно все передала через Фрола Матвеевича, но ее сообщение было еще одним подтверждением возможной опасности.

Фашисты опять пытались выйти на партизанский отряд. И однажды, в двадцатых числах, им это почти удалось. На опушке леса завязался тяжелый бой. Немцы крепко потеснили партизан, но углубиться дальше, в лес, снова не решились. Ушли назад в город. Партизаны хоронили убитых — их было восемнадцать человек.

Руководство партизанского отряда, наряду с активной подготовкой самой операции, на всякий случай предпринимало и контрмеры.

Все свободные от операции люди были брошены на опушку леса. Здесь рыли противотанковые рвы, окопы, ячейки, создавали завалы. Работы, чтобы не привлечь внимания немцев, велись по ночам. Десятки людей долбили мерзлую землю, валили деревья, сооружали наблюдательные вышки. Этими работами руководили Леонид Еремеевич и Игорь Венедиктович. В лагере их замещала Люба Щипахина — бывший секретарь горкома комсомола. Она уже участвовала в нескольких боевых операциях и показала себя смелой, находчивой, умевшей принять нужное решение в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

* * *

До Нового года осталось чуть больше часа. Лиза знала время взрыва: одиннадцать ноль-ноль, пока в театре еще идет концерт, и все же не находила себе места. Понимала, что делает глупость, но ближе к одиннадцати вышла из дома и направилась к центру. В конце концов, у нее есть пропуск.

Лиза беспокойно посматривала на часы. Без пяти одиннадцать. Одиннадцать. Одна минута, вторая, третья. Что ж это такое? Почему тихо? Четвертая минута, пятая. Или часы ее неправильно пошли?

И вот наконец-то взрыв. Черный столб дыма и языки пламени взвились на пустыре за театром. Один удар, второй, третий. Это рвались бензобаки. Огонь над бензохранилищем полыхал уже вовсю, а на складе по-прежнему было тихо. Только потом выяснилось, что немцы перехватили партизанскую группу и целиком ее уничтожили.

Над городом выли сирены.

По улицам неслись бронетранспортеры, грузовики и мотоциклы с солдатами.

Мимо Лизы, не замечая ее, пробежал немецкий патруль. Немцы почему-то мчались в сторону бензохранилища.

В верхних окнах театра Лиза заметила вспышки огня. Лопались стекла, красно-желтые языки охватывали рамы. Через парадные двери, сломавшиеся под напором бегущих немцев, Лиза увидела полыхающую елку. Даже елка горит, а ведь там в вестибюле были накрыты столы для предстоящего торжества.

Лиза прошла через площадь Революции и свернула в сторону Колхозной, чтобы посмотреть, что делается у складов. Она ускорила шаг. На Колхозной мимо промчался грузовик с немцами в кузове, и Лиза, то ли ей почудилось, то ли это было на самом деле, услышала русскую речь. Что-то вроде: «Жми! Жми! Вася, скорей!»

Лиза вернулась на площадь Революции как раз в двенадцать.

Подумала: «Вот и Новый год».

И тут увидела, пораженная: фашистский флаг со здания комендатуры был сорван. Тряпка со свастикой валялась на снегу слева от входа, а часовые как ни в чем не бывало стояли, замерев у двери.

Это было непредвиденное чудо. Значит, нашелся какой-то смельчак из жителей, который сумел воспользоваться паникой и сорвал флаг.

* * *

Первого января день был свободный, но в половине восьмого к Лизе прибежал запыхавшийся метранпаж и сказал, что Штольцман срочно вызывает всех в редакцию.

В восемь, даже не перекусив, Лиза была в редакции. Все собрались. Злой, мрачный Штольцман беспокойно ходил по кабинету в накинутой шинели. Плечо и левая рука были на перевязи. Лицо сине-бледное.

Когда все сели, он произнес:

— Совершено страшное преступление. Теперь никакой пощады. Погибли полковник Майзель, бургомистр, наш господин Евдокимов, другие офицеры. Взорвано бензохранилище. Готовился к взрыву склад боеприпасов. Будем срочно выпускать номер. Сейчас получим из комендатуры соответствующие материалы. Во-первых, списки всех гражданских лиц, захваченных в театре. Они будут повешены. Во-вторых, надо немедленно подготовить некролог на Евдокимова. Это ваша задача,— и шеф-редактор показал здоровой рукой в сторону Лизы.— Некрологи на господина полковника Майзеля и других офицеров поступят из комендатуры.

Все это Штольцман произносил бесстрастными рублеными фразами, но вдруг стал срываться, переходя на крик:

— Большевиков надо душить! Понимаете, душить! Партизанское отребье будет уничтожено! Немецкое командование вытравит из нор всех партизан! И вы! И вы! Смотрите у меня! Благодарите господа бога, что еще ходите по земле! Я не потерплю любого отклонения от дисциплины. И только попробуйте допустить какие-либо вольности! Прямой путь на виселицу! Слышите, на виселицу!..

Он еще долго истерически кричал в том же духе, поправляя повязку на руке и плече, набрасывая сползавшую шинель.

Под конец взвизгнул:

— Все! Идите!

Несмотря на редакторский разнос, настроение у Лизы и Шуры было прекрасное.

— Здорово,— шепнула Шура.

Лиза засела за некролог.

Вскоре в редакции появился метранпаж, тот, что приходил за Лизой домой, шепнул:

— Вас ждут на улице, во дворе.

Лиза накинула платок и пальто и спустилась по черной лестнице во двор, куда выходили окна типографии.

Во дворе, прячась у подъезда, ее ждал Семенов.

— Надо срочно уходить,— зайдя в дверь, сказал он.— Срочно, немедленно. Немцы лютуют. Окажемся все на виселице,— продолжал Семенов.— Кроме того, на третье января назначена крупная карательная операция против партизан. Надо предупредить.

Лиза, конечно, была согласна. Как ни полезна их работа в городе, она давно рвалась в отряд. И действительно, тучи над ними здесь сгущались. Чего стоит сегодняшняя речь Штольцмана!..

— А как же Шура?— спросила Лиза.

— Александра Васильевна?

— Да.

— По-моему, ей тоже надо уходить.

— Я поговорю с ней,— пообещала Лиза.

Семенов мельком сказал, что в театре кроме Майзеля и Евдокимова уничтожено несколько офицеров и солдат из денщиков. Погибли два генерала, один полковник и капитан, приехавшие по приглашению Майзеля из других гарнизонов. Раненых не считали, их десятки. На сцене убиты певичка и жонглер. К сожалению, всех наших схватило гестапо. Их во главе с Иванцовым восемь человек, арестованы также рабочие сцены, гардеробщики, билетеры. «Хорошие ребята»,— сказал Семенов.

Договорились встретиться в одиннадцать вечера за городом у мостика.

Семенов ушел, а Лиза вернулась в редакцию.

Там был юный художник Юрик. Он пришел посмотреть свой рисунок в сегодняшней газете.

— А все же он дураком получился,— с удовольствием шепнул он.

Лиза отозвала Шуру в сторону. Решила говорить начистоту.

— Надо уходить.

— Куда?

— К партизанам. Пойдешь?

Лиза со слов Семенова объяснила ситуацию.

— Ясно, пойду.

Лиза назвала место и время встречи. Потом подошла к окну.

— Шура, смотри!

На виселицах на площади Революции они ясно увидели новых повешенных — восемь трупов.

После работы пошли туда.

«Убийцы» — висело на каждом трупе.

Дома она собрала кое-какие вещички. Самое необходимое.

Сложила не в мешок, а в сумку.

В одиннадцать была в условленном месте. Семенов уже ждал ее. Шура пока не появилась. Вскоре она подошла, но не одна.

— Это еще кто?— спросил Семенов.

Сам Юрик молчал.

Потом неожиданно выкрикнул:

— Я же комсомолец!

Лиза не знала, что сказать. Надо ли брать парня с собой?

— Ну ладно, попробуем,— буркнул Семенов.— Пошли.

Полями и оврагами они подошли к лесу. Еще два часа пути.

Здесь их сразу же окликнули:

— Пароль?

— «Наука»,— ответила Лиза.

В передовом охранении оказался словак Валек.

И влево и вправо окопы занимали партизаны.

Валек проводил их в штабную землянку.

— Что это значит? Опять самодеятельность?— недовольно воскликнул Игорь Венедиктович.

Объяснил за всех Семенов.

Орлов, кажется, смягчился. Даже за Юрика не отругал. Лизу он направил в медчасть. Шуру, которая, оказывается, немножко знала радио,— к связистам. Семенова пока оставил при себе.

На следующий день партизаны форсировали подготовку к отражению возможного наступления немцев. Днем углубляли окопы на опушке леса, готовили оружие и боеприпасы.

Саперы минировали подходы к лесу.

Прозвучала уже команда «отбой», а в штабной землянке еще долго горела коптилка.

* * *

Семенов оказался прав.

Третьего января в восемь часов утра немцы начали карательную операцию против партизан.

Впереди шли танки, за ними бронетранспортеры, далее пехота на мотоциклах.

Миновали поле, обошли овраги.

Партизаны заняли весь километровый участок обороны по кромке леса.

Они должны были подпустить танки к заминированным участкам и только потом открыть огонь.

Бронированные чудовища с крестами на борту медленно ползли по снежному полю. Мерно завыли моторы. Трещали мотоциклы, идущие по колеям, проложенным гусеницами танков и бронетранспортеров.

Лиза и еще четыре женщины с санитарными сумками находились вместе с партизанами в окопах.

Сначала появилась разведка — два бронетранспортера. Повертевшись возле лесной опушки, они вернулись. И уже потом пошли танки.

Они приближались.

— Лишь бы не обнаружили мин,— сказал Игорь Венедиктович,— хотя саперы поработали на славу, да и ночной снежок помог — припудрил землю.

— Приготовиться!— крикнул Леонид Еремеевич, и команда его, повторенная командирами взводов, прошла по всем окопам.

Вот первый танк чуть вырвался вперед и, осев на мине, завертелся на подбитой гусенице.

В него полетели бутылки с зажигательной смесью. По броне поползли струйки огня. Немцы пытались выскочить из открытого люка, но их срезали пули автоматов.

Остальные четыре танка двинулись в разные стороны. Подорвался еще один. И загорелся.

На подходе оказались и мотоциклисты, они строчили по окопам из автоматов.

Один из танков все же миновал минные заграждения и, стреляя из пушки, рванул к окопу, где находился Игорь Венедиктович.

Лиза не видела этого, она перевязывала первых раненых.

А Орлов, приподнявшись в окопе, бросил в танк связку гранат. Тот вздрогнул, остановился, но продолжал стрелять.

Чуть поодаль горели бронетранспортеры. Немцы, выскочившие из них, залегли и обстреливали окопы. Мотоциклисты рассредоточились. Некоторые соскочили с машин и тоже залегли.

Сделав перевязки и оттащив раненых в лес, Лиза вернулась в окоп на передовой и сразу же стала искать глазами Орлова. Но нигде не увидела. Ее окликнули, она бросилась на голос. Еще раненый, тяжело, в голову. Она начала его перевязывать.

А впереди продолжался бой. Подорвался третий танк, оставшийся, последний, чуть отступил назад, дав задний ход, и поравнялся с бронетранспортерами. Побросавшие мотоциклы немцы прикрывались теперь броней и пытались идти в атаку. Но по ним били пулеметы, и они валились в снег. То ли настигнутые пулями, то ли стремясь избежать их таким образом.

Бой шел уже около часа, по немцам пока так и не удавалось прорваться к окопам.

Лиза снова искала Орлова и вдруг увидела его. Он как-то неловко лежал на краю окопа, держась обеими руками за живот. Она кинулась к нему, и все ее маленькое, тщедушное тело сжалось от смертельного страха. Игорь Венедиктович с удивлением и очень спокойно посмотрел на Лизу:

— Ты? Как там? Ничего не вижу.

— Все хорошо, все хорошо,— лепетала Лиза, стараясь распахнуть Орлову телогрейку, залитую кровью. «Неужели в живот? Неужели в живот?» Хотя было ясно, что именно в живот.

Она пыталась перевязать его, чтобы остановить кровь.

— Сейчас, сейчас, любимый мой,— приговаривала она, не вникая в смысл вырывавшихся слов.

Где-то над головой стреляли, рвались снаряды, трещали машины и мотоциклы, но Лиза в эти минуты ничего не видела.

Для нее весь мир исчез. Не было ни взрывов, ни немцев — ничего вокруг, кроме самого дорогого для нее человека...

Путаясь в бинтах, не имея сил поднять Орлова, она все-таки как-то сумела перевязать его. Потом подсунула под него руку и, плача, почти ничего не видя перед собой, попыталась сдвинуть его с места. Неожиданно и легко его тело подчинялось Лизиным усилиям, и она потащила Игоря Венедиктовича из окопа в лес.

— Как там? Как?— стонал Орлов.

Лиза утешала его как могла и продолжала тащить. Они были уже за первым завалом, когда он вдруг попросил:

— Дай отдохну! Очень устал! Не сердись...

Лиза положила его голову на еловую ветку.

— Пить,— попросил Орлов.

— У меня нет воды,— Лиза была в отчаянии.— Потерпи. Сейчас пойдем дальше.

Она и не заметила, как перешла с Орловым на «ты».

Вновь потащила Игоря Венедиктовича в глубь леса, не замечая, как за их спиной стали затихать выстрелы и разрывы.

Орлов начал хрипеть. Изо рта появилась кровавая пена.

— Только не умирай! Прошу тебя! Не умирай!— захлебываясь от рыданий, повторяла Лиза.

Она совершенно выбилась из сил.

И вдруг Игорь Венедиктович затих. Широко открытыми глазами через стволы деревьев он, казалось, внимательно что-то разглядывал в небе.

Растрепанная, со сползшим на плечи платком, припав к плечу Орлова, она продолжала твердить: «Только не умирай! Прошу тебя, не умирай...»

Так ее и увидели Леонид Еремеевич, Люба Щипахина и еще несколько партизан. Они подошли и сняли шапки. Потом Люба опустилась перед Орловым на колени и пальцами закрыла ему глаза.

В отряде подсчитали потери. Могилу вырыли на большой поляне среди берез. Дно ее выложили еловыми ветками. Лиза хотела попросить: «Похороните его, Игоря, отдельно», но не решилась.

Командир отряда произнес речь. Убитых опустили в могилу. Труп на труп, в несколько рядов. Прозвучали выстрелы в воздух. Над могилой вырос большой холм. Его аккуратно обложили хвоей.

К Лизе подошел Леонид Еремеевич, протянул руки.

— Пойдем,— позвал он.— Держись!

Он неловко прижал ее к себе.

Когда они вернулись в лагерь, командир провел Лизу в землянку, уложил на нары.

— Отдохни!— И, помолчав, тихо сказал:— А Игорь знал, что ты его любишь.

* * *

Сын родился у Елизаветы Павловны зимой. Родильного дома в сорок седьмом в городе не было еще. Она лежала в специальном отделении городской больницы.

Врачи боялись за нее, но все прошло благополучно.

Обессиленная, лежала она в огромной палате вместе с уже родившими и только ожидающими родов.

Хотела скорей увидеть своего ребенка.

Наконец сестра принесла ей маленький белый сверток.

— Три пятьсот. Рост сорок девять сантиметров.

— Я знала, что будет сын,— смущенно призналась Елизавета Павловна.

— Назовете-то как? Придумали?— спросила сестра.

— Игорь. Давно придумала.

* * *

За зиму Лиза окончательно привыкла к отряду. Из тяжелораненых похоронили еще пятерых, остальных выходили.

После всех перипетий отряд не совершал даже мелких операций, и новых потерь пока не было. Санитарная землянка почти опустела. Пользуясь свободным временем, Лиза научилась стрелять из трофейного немецкого автомата и пулемета Дегтярева, даже бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

В марте в отряд поступили сведения о начавшихся передвижениях немцев в селе Кузьминки, но подробности разведать не удалось.

Леонид Еремеевич вызвал Лизу и Шуру:

— Справитесь?

На всякий случай заранее придумали легенду: дескать, идут они в Жуковку, отдаленную деревню, к родственникам.

Вышли из лагеря в сумерки, чтобы к вечеру дойти до Кузьминок. Туда пять километров.

В воздухе уже чувствовалась весна, хотя по вечерам подмораживало. Снег посерел и осел, так что идти было нетрудно. Под ботинками легко похрустывало.

Шли не торопясь и через полтора часа оказались на окраине Кузьминок.

Это было большое село с церковью и двумя прямыми, параллельно идущими улицами. Разрушений никаких не видно.

Вокруг сновало довольно много немцев, не только в обычной, пехотной, но и в эсэсовской черной форме. Это уже было важно. Попадались и штатские. На Шуру и Лизу никто не обращал внимания.

Но они решили не искушать судьбу и попроситься к кому-нибудь на ночлег. В первой избе, куда они постучались, ничего не получилось, оказалось очень много детей и умирающий старик. Во второй повезло. Они представились хозяйке, объяснили, что идут

в Жуковку к родичам. Она их охотно пустила. Изба была небольшая, хозяйка жила с двумя ребятами.

Они спросили про немцев.

— У меня для немцев тесно, да и неуютно,— сказала она.— Они выбирают, где попросторнее да почище.

— А много их?

— Хватает. На днях батальон СС пришел.

— А муж где?

— Где ж ему быть? В Красной Армии.

Хозяйка напоила их цветочным чаем и в начале десятого задула лампу.

Утром на улицах села народу было еще больше. Немцы — пешие, конные, на мотоциклах. Возле многих домов со сломанными штакетниками стояли легковые и грузовые автомашины.

Девушки прошли вперед, к церкви. Возле здания школы дежурили часовые в форме СС. В дверь то входили, то выходили эсэсовцы. Какой-то штаб находился и в поповском доме возле церкви. Только тут вертелись немцы в полевой форме. Левее церкви, в поле, на расчищенной площадке стояли грузовики и зачехленные орудия.

Лиза и Шура мысленно пересчитали их. Орудия, кажется, были зенитные или сорокапятки. Стволы длинные. Рядом, у двух каменных амбаров, ходили часовые.

Девушки запомнили и это.

Они спустились на нижнюю улицу. Здесь было тише, малолюднее. Только возле одного большого каменного дома ходил часовой и стоял шикарный легковой автомобиль с брезентовым верхом.

— Какое-то начальство,— шепнула Лиза.

Они прошли до конца улицы, поднялись чуть вверх и, миновав последние дома и сараи, направились накатанной дорогой в поле, а потом оврагами в лес.

Но операция в Кузьминках не состоялась. Немцы подтянули в деревню новые силы, усилили охрану, и Леонид Еремеевич отменил задуманное.

— Нечего лезть на рожон,— отмел он все возражения.— Мы и так потеряли половину отряда. И в городе теперь никого. Подпольная группа разгромлена.

* * *

Немецкие военнопленные работали на восстановлении города до сорок девятого года. Состав их несколько менялся, но незначительно. Одна группа специалистов была отправлена в подмосковный Красногорск. Другая — в Москву на завод малолитражных авто-

мобилей. Двум группам разрешили досрочно вернуться на родину — создавалась ГДР. На их место в лагерь прибыли военнопленные из двух других находящихся в области лагерей, расформированных из-за малочисленности.

Немцы отстроили заново городскую больницу, разрушенную дотла их же «юнкерсами», три школы, драматический театр, жилые дома на Колхозной и улице Красина.

Работали они хорошо, не за страх, а за совесть. Были среди них и архитекторы, и инженеры, и неплохие специалисты разных строительных профессий.

Многие трудились с превышением норм, получая за это материальное поощрение в виде дополнительного питания и даже увольнительных за пределы лагеря. Их водили группами в кино, а когда открылся театр, то и на спектакли. И если бы не форма, которая у всех вызывала чувство нескрываемой ненависти, они, пожалуй, ничем бы не отличались от остальных горожан.

Лагерь был немаленький, около пятисот человек, и летом сорок девятого всем его обитателям предстояло возвращение на родину. Они выдраили и вычистили территорию лагеря, бараки, все подсобные помещения, а накануне отъезда сняли колючую проволоку, окружавшую лагерь, дозорные вышки, вырыли столбы и даже заровняли ямы.

В полдень на станцию был подан длинный эшелон из пяти пассажирских и двадцати товарных вагонов с двумя паровозами.

Пленных построили на территории лагеря. Впереди две колонны офицеров — старших и младших, за ними унтер-офицеры и солдаты.

Все улицы города по дороге к вокзалу заполнили люди. Странные чувства, противоречивые, нелогичные, обуревали их. Тут переплеталось все — и ненависть, и сочувствие, и горечь, и радость, и какая-то чуть ли не до слез растроганность.

Колонна двинулась. Лишь в начале и конце ее шли наши по офицеру и по двое солдат.

Немцы шагали ходко, многие улыбались, другие пребывали в мрачном оцепенении, кто-то из них выкрикивал: «Прощай! Кара-шо!», кто-то просто помахивал руками.

Впереди солдатской колонны трое пленных на губных гармошках наигрывали «Катюшу».

Елизавета Павловна стояла в толпе, приподнимаясь на цыпочках, чтобы лучше видеть, но не видела ничего, а только смахивала слезы.

Может, она хотела увидеть унтера Карла? Пожалуй, да. Сейчас у нее уже не было обиды на Карла. Она не осуждала его ни в чем, как не осуждала и себя. Это был единственный мужчина, с которым она оказалась близка, и он стал отцом ее сына, ее Игорька.

А как это случилось, в конце концов, безразлично. Важно, что она стала матерью, а разве может что-то сравниться с этим счастьем.

И, конечно, она выделяла Карла из всех остальных пленных. Не потому, что он был лучше других, а потому, что был ближе. Ведь теперь эта близость на всю жизнь!

И вот Карл уходил, как и другие.

Она не жалела, что он уходил. Так должно было быть. И вместе с ними что-то уходило сейчас из ее и из их жизни. И это прощание окончательно подводило черту под страшной войной.

Нет, Карла она не видела, да, пожалуй, и неважно сейчас это. Наверно, он шел с другой стороны колонны, а потом, они похожи в своей одинаковой мышиной форме.

По чьей-то остроумной команде вслед за колонной пленных шли три поливальные машины, сильными струями воды смывавшие пыль и грязь с асфальта. А за машинами бежали мальчишки, явно бедокуря и кривляясь у всех на глазах, и на их лицах горела, расплескиваясь звонким смехом, неподдельная радость.

* * *

Городской гарнизон немцев после пережитой новогодней трагедии и неудавшейся акции против партизан жил странной, подчеркнуто деловой жизнью. Были назначены новый комендант и новый бургомистр, но никому уже и в голову не приходило восстанавливать театр или ТЭЦ, пускать трамвай или троллейбус, заботиться о приобщении жителей к «новому порядку». Партизаны немцев не беспокоили, заметных диверсий давно не случалось. Оставшиеся в живых жители, казалось, втянулись в обязательные трудовые повинности. Их перебрасывали с участка на участок, в основном на помощь немецким воинским частям — по разгрузке продуктов и снаряжения, уборке помещений и территорий. О пропитании населения никто не заботился. Чахлые подачки в виде второсортной муки, круп и концентратов были редкостью. Люди перебивались огородами, которых появилось в городе великое множество, и картошкой, что росла теперь и во дворах, и на улицах — на бывших скверах, газонах, прямо рядом с тротуарами вдоль домов.

«Русский голос» окончательно захирел. Заместителя Штольцману так и не дали, сотрудников новых он не нашел, и газета выходила лишь раз в неделю, заполненная в основном официальными материалами и начисто лишенная местной информации. И даже когда в городе произошел из ряда вон выходящий случай — погиб по глупости, от неразряженного пистолета, начальник штаба шестой дивизии полковник Вайтруб, газета не откликнулась некрологом.

Штольцман после новогодних событий замкнулся, ушел в себя, не искал контактов со своими хозяевами и выпивать стал еще чаще. Он откровенно боялся. Боялся исчезновения Лизы. Теперь он догадывался, что она была связана с подпольем. Он боялся не только партизан, боялся почему-то и немцев.

* * *

Что происходило в городе, было известно в партизанском отряде в общих чертах, но этих сведений было недостаточно, поскольку связь, живая связь с января потеряна.

Леонид Еремеевич, другие члены руководства отряда не раз гадали, как наладить эту так необходимую связь.

Тут и вспомнили про Юрика. Парень подрос, ему исполнилось пятнадцать, в отряде проявил себя наилучшим образом. Он продолжал ежедневно выпускать стенную газету «Советский партизан».

И все же пустить Юрика в город одного Леонид Еремеевич не решался. Парень молодой, неопытный, горячий, мало ли чего может наделать.

Мысли Леонида Еремеевича все чаще обращались к Лизе. С одной стороны, ее знают в городе, и это опасно, но с другой — уж очень она подходит по характеру и по внешнему виду. Ее можно как старшую направить вместе с тем же Юриком. И все же очень опасно!

Леонид Еремеевич посоветовался с Любой Щипахиной, с другими своими помощниками и только потом уже вызвал Лизу и Юрика.

Усадил их за стол, поставил кружки с чаем.

Предложил как бы шутя:

— Давайте погадаем об одном деле, пофантазируем.

Заговорил о важности связи с городом, об отсутствии информации...

Он не успел договорить, как его перебила Лиза:

— В типографии есть метранпаж. По-моему, очень хороший человек, наш. Может, попробовать его привлечь?

— Вот и это тоже хорошо,— согласился Леонид Еремеевич.— В общем, давайте советоваться.

Юрик сообразил, какие открываются перед ним возможности, и стал горячо доказывать:

— Я, Леонид Еремеевич, хоть сейчас... Поверьте, что... Да только скажите...

— Ты не кипятись!— прервал его командир отряда.— Давай лучше все взвесим, обдумаем.

Он говорил о том, что у отряда есть две главные задачи.

— Одна — политическая и, если хотите, психологическая. Мы

должны постоянно напоминать о своем существовании, чтобы фашисты не забывали, кто на русской земле подлинные хозяева. Другая задача, не менее важная,— чисто военная. Нам надо выбрать для удара объект, поражение которого нанесло бы фашистам в настоящий момент наиболее существенный урон. Так что, пожалуй, поступим так,— продолжал Леонид Еремеевич.— Разделим операцию на две части. Первая — это просто рекогносцировка. Сходите, присмотритесь, если нужно — поговорите с людьми, но, конечно, осторожно. Ну, а вторая? Ее начнем позже, когда все взвесим.

На прощание он сказал Лизе:

— Боюсь пускать вас, и все же надо! Пропуск у тебя сохранился. И еще одно. Если получится разговор с твоим метранпажем, разведай: нельзя ли с его помощью отпечатать в типографии две-три сотни листовок с последними сводками Информбюро? Они хотя и не ахти какие победные, но честные. И главная их правда в том, что все планы немецкого командования на молниеносную войну потерпели провал.

* * *

Они вышли из лагеря с таким расчетом, чтобы в городе переночевать в Лизиной комнате. Если, конечно, она не под наблюдением. К себе после столь долгого отсутствия Юрик решил не ходить — он жил в коммунальной квартире.

Добрались благополучно и нырнули на улицу Красина. Единственное, что заметили,— отсутствие патрулей. И у дома ничего подозрительного. Только у здания комендатуры стояли часовые и попрежнему развевался фашистский флаг.

Юрик выглядел обычно, а Лизу было не узнать. Она изменила прическу; платок натянут глубоко на лоб; длинная юбка почти до земли прикрывала ноги. Ресницы и брови перекрашены в белый, седоватый цвет. Даже горб казался почти незаметным.

Утром они сразу пошли на Колхозную. Склады были на месте, но охрана увеличена. Рядом с ними на большой площадке стояли танки, бронемашины, орудия, шестиствольные минометы. Пересчитали — около двухсот.

Пройдя по окраинным улицам — Озерной, Базарной, Вишневой, заметили новые воинские части. Зенитчики — не меньше дивизиона, дивизион гаубиц, конный полк. Чуть дальше опять танки — не меньше дивизии. Еще ближе к вокзалу саперная часть с понтонами.

Виселицы в центре сняли. За зданием театра по-прежнему располагалось бензохранилище. Большие светлые цинковые баки были крупнее, чем прежде.

Издали понаблюдали за комендатурой. К ней часто подъезжали

легковые машины с офицерами высших чинов, среди которых заметили одного генерала. Вдруг из комендатуры вышел Штольцман, Лиза сразу же узнала его.

«Опять стал ходить по начальству»,— подумала она.

Весь день они провели в городе, на ходу съев по куску припасенного хлеба. Около шести, оставив Юрика на улице, Лиза нырнула во двор типографии. Здесь было пустынно. Спрятавшись за стену, Лиза заглядывала через мутное стекло в ротационную в надежде увидеть знакомого метранпажа. Он долго не появлялся. И вдруг возник почти рядом с окном. Лиза робко постучала. Он, прищурившись, посмотрел в окно. Лиза поманила его пальцем.

Через несколько минут, в телогрейке и шапке, метранпаж появился во дворе.

— Тебя не узнать,— вырвалось у него.— Куда вы пропали с Шурой?

— Это потом,— быстро сказала Лиза.— Как у вас дела?

— Да какие дела,— махнул рукой.

Александр Васильевич рассказал, что работы почти нет. Газета выходит раз в неделю. Штольцману дали зама из таких же русских немцев. Вроде был учителем. Он выполняет все обязанности недостающих сотрудников... Даже информацию сам готовит. Письма, которые печатает газета, высасывают из пальца. Во всяком случае, он, Александр Васильевич, таких корреспондентов не знает.

— А что нового в городе?— поинтересовалась Лиза.

— В городе?— переспросил Александр Васильевич.— Народу осталось совсем мало. В основном обслуживают немцев. Правда, сейчас опять зашевелились на ТЭЦ. Похоже, собираются что-то восстанавливать. Бензохранилище и склады восстановили сами немцы. Появились новые части: танковая дивизия и нечто вроде инженерно-саперного полка.

— Где их штабы?

Александр Васильевич назвал:

— Вишневая и Огородная.

Лиза поблагодарила.

— А теперь, Александр Васильевич, нужен ваш совет,— сказала Лиза.— Нельзя ли с вашей помощью отпечатать листовку? Нашу, советскую?

Метранпаж загорелся:

— Ясно, можно! Как я сам не подумал!

— А мы бы вам предоставили информацию. Радио мы слушаем,— пояснила Лиза.

— Так и я слушаю!— воскликнул Александр Васильевич.— После вашего ухода ежевечерне в редакции. Приемник-то работает. Я и текст могу составить. Доверьте, пожалуйста, мне!— попросил он несколько неуверенно.

— Конечно, доверяем,— Лиза готова была броситься на шею старому метранпажу.

Договорились, что через три дня листовки будут готовы. Триста экземпляров. Лиза зайдет к шести часам, и они вместе расклеят листовки по городу. Александр Васильевич приготовит две банки клея и кисти.

— Я счастлив заняться добрым делом,— признался он.— А то прямо руки опускаются.

На улице Лиза шепнула Юрику:

— Опять на Вишневую и Огородную.

Теперь, при более внимательном осмотре, легко обнаружили штабы саперов и танкистов.

Через четыре часа они уже были у себя в лагере и доложили обо всем узнанном и увиденном командиру отряда.

— Будем кумекать, а потом и готовиться.

А через три дня Лиза уже одна, без Юрика, снова пришла в город. Под покровом темноты она развесила по городу около тридцати листовок:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За нашу Советскую Родину!

Дорогие друзья, братья и сестры, наши советские люди!

Не верьте немецкой пропаганде. Красная Армия ведет упорные бои под Ленинградом и Москвой, на Украине и в Белоруссии. Перемалываются отборные части немецких войск. Растет партизанское движение. Труженики тыла увеличивают выпуск продукции для нужд фронта. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин на посту в Москве руководит всеми операциями Красной Армии.

Смерть немецко-фашистским оккупантам!

Враг будет разбит, победа будет за нами!»

Листовка получилась несколько общей, и все же ничего.

Захватив десяток листовок с собой, Лиза и Александр Васильевич вместе уходили в отряд. Так было оговорено заранее с Леонидом Еремеевичем. Оставаться в городе метранпаж уже не мог. Да и не было у старика никого.

* * *

Летом и осенью отряд почти бездействовал, а немцы, наоборот, лютовали. Правда, удались несколько нападений на вражеские обозы — автомобильные и конные, что шли по дорогам Кузьминки — Жуковка, Старые Дворики — Епатьево, Безуглово — Лысая.

Отряд несколько вырос и снова насчитывал около двухсот человек.

Вторая зима приходила вместе с голодом. Немцы разграбили и обчистили почти все села в округе, и рассчитывать на помощь

крестьян становилось все труднее и труднее. Запасы продовольствия в отряде иссякали.

Единственный расчет был на то, чтобы отбить его у самих немцев.

Но напасть на вражеские продовольственные склады в городе и вывезти оттуда продукты было трудно.

И тогда подумали о железной дороге. Эту мысль подсказал Валек.

В двадцати километрах от города находится разъезд Усово, где эшелоны обычно несколько замедляли ход. Охрана была там незначительная.

Предстояло проверить, как часто через Усово проходят эшелоны с продовольствием, и попытаться остановить один из них. Разведку необходимо провести в течение нескольких дней.

Выбор пал на Валека, который уже бывал в Усове, и бывшего железнодорожника Велехова.

Всех одели в немецкую форму, снабдили сухим пайком.

— Ну, как говорится, с богом!— напутствовал Леонид Еремеевич.

На третий день разведчики вернулись.

Охрана в Усове оказалась действительно мизерной. Четыре человека. Сменяются через каждые четыре часа. Привозят охранников из ближайшего села, что находится в двух километрах. Оттуда же доставляют и стрелочника.

Удобно и то, что разъезд окружен с двух сторон довольно густыми лесами. В них легко спрятать машины и, если нужно, телеги.

А эшелоны с продовольствием через Усово проходят ежедневно.

Выслушав все, Леонид Еремеевич подвел итоги:

— Пожалуй, поступим так. Выделяем вам три машины и пять подвод. Главным назначаю товарища Семенова. У него большой опыт общения с фрицами. Кроме шоферов и возчиков, сколотим группу человек в двадцать. Форма немецкая. Отъезд вечером, под покровом темноты. К ночи прибытие в Усово. Там замаскироваться, но тихо, чтобы не встревожить немцев. Охранников снять утром, свежих, только заступивших на пост. Стрелочника арестовать. С ним разберетесь на месте, смотря по его поведению. Если эшелон удастся остановить и атаковать утром же, то, погрузив продукты, немедленно отправляться назад. Если же произойдет задержка, то придется ликвидировать машину, которая привезет через четыре часа новую смену часовых. Есть какие-нибудь другие предложения?

Других предложений не было.

Двое суток после того, как экспедиция отправилась в путь, все в лагере только и жили этим событием.

И вот возвращение, да еще какое удачное. Грузовики заполнены мукой, сахаром, маслом, салом, консервами, даже хлебом в пакетах.

Семенов доложил командиру отряда, что все прошло точно по плану, и в конце добавил:

— Было лишь одно непредвиденное обстоятельство. Вот.

И он положил на стол немецкие документы. Объяснил:

— По пути обратно встретили офицерскую машину с четырьмя мотоциклистами. Пришлось уничтожить, а документы захватили с собой.

* * *

В январе сорок третьего, когда пришли первые радостные вести из Сталинграда, многое изменилось и в этих краях. Фронт, отходивший от города на двести — триста километров, двинулся в обратную сторону.

Город почти обезлюдел. Немцы бросили на фронт танковую дивизию, инженерно-саперный полк, зенитный дивизион, подтягивали к фронту тылы.

По ночам в партизанском лагере была слышна дальняя артиллерийская канонада, на юге полыхали зарницы.

Партизаны установили радиосвязь с наступающими частями Красной Армии и действовали теперь в полном контакте с ними. Была договоренность и о совместных действиях в боях за город.

И все же сделано было не так уж много. Эти места — не Белоруссия и даже не Украина. Леонид Еремеевич все понимал. Но понимал и другое: был огромный смысл в существовании отряда, являющегося островом активного сопротивления в этих краях.

Одной из последних акций партизан в феврале был разгром «Русского голоса» и уничтожение шеф-редактора Штольцмана. Немцы были так ошарашены дерзостью партизан, что ничего не успели предпринять, и партизаны благополучно вышли из города, унося с собой лишь пять раненых.

К марту бои вплотную подошли к городу. Отряду было поручено отрезать немцам пути к отступлению. Партизаны покинули лесной лагерь и засели вдоль дорог, ведущих из города на запад.

Шестнадцатого марта первые части Красной Армии ворвались в город.

Семнадцатого марта на площади Революции партизаны соединились с частями Красной Армии. Город был освобожден.

Странная, непривычная тишина стояла вокруг. Редкие группы горожан с волнением смотрели, как обнимаются на площади красноармейцы и партизаны, как возник стихийный митинг и кто-то ораторствует, взобравшись на броню танка. Здесь же наигрывали

гармошки и трофейные аккордеоны. Партизанки, включая Шуру, танцевали с красноармейцами.

Лиза стояла оглушенная и беспредельно счастливая. По ее лицу текли слезы...

* * *

Сейчас Елизавете Павловне трудно поверить в реальность тех дней. Голод, холод, разруха. Как они начинали?

А ведь начинали!

Уже через несколько дней в городе стали действовать партийные и советские организации. Среди работавших в них было немало людей из партизанского отряда. Александр Васильевич вернулся в типографию и вскоре вместе с Шурой выпустил первый номер «Ленинского пути». Номер был чахлый, на двух страницах, на большее не хватило бумаги, но газета вышла, и это стало событием.

Постепенно город наполнялся людьми. Одни возвращались из деревень, где прятались от немцев, другие из эвакуации, третьи после ранений из армии.

Лизе, учитывая ее некоторый опыт работы санитаркой и медицинской сестрой в партизанском отряде, предложили определиться ночной медсестрой в лагерь для военнопленных. Услышав об этом, Лиза сначала возмутилась, но потом, спокойно все обдумав и обговорив, согласилась.

Лагерь был создан в июле на месте бывшего базара. Красноармейцы-строители за две недели возвели восемь больших бараков и другие службы, обтянули территорию колючей проволокой, соорудили две смотровые вышки. Через неделю после окончания строительства там было уже около пятисот пленных. Они сами произвели необходимые доделки, привели в порядок территорию.

Со странным, тревожным чувством шла Елизавета Павловна в лагерь. Ненависть и презрение к немцам еще не перегорели, и поначалу ей тяжело давалось любое общение с ними. Почти все попали в плен в сорок первом — сорок втором годах и успели пообтереться в советских лагерях. Многие из них уже хорошо понимали, что русские обходятся с ними вполне по-божески, а кормят их не хуже, а даже лучше своих соотечественников. Правда, большинство офицеров держались заносчиво, но и среди них оказывались люди здравые. Некоторые даже пытались создать организацию «Свободная Германия», чтобы бороться за свержение Гитлера. Их выступления записывали по радио для трансляции в немецкие окопы, и сами они начали выпускать стенную газету, причем весьма позитивного толка.

И все-таки не год и не два прошли, уже и победа наступила,

когда Елизавета Павловна как-то освоилась, смирилась со своей работой, да и на нее перестали посматривать косо из-за этого.

Вольнонаемных в лагере было мало, в основном медицинские работники. Ночью Лиза, как правило, оставалась совсем одна. Ее медицинского опыта вполне хватало: основной контингент пленных отличался завидным здоровьем. Случались простуды и прочая чепуха, чуть чаще травмы. Так что ночью Елизавете Павловне удавалось и прикорнуть.

* * *

Как это случилось, она и по сей день не могла себе объяснить. Да, этого вяло-добродушного немца, унтера Карла, она знала с первых дней работы в лагере. И не потому, что чем-либо выделялся из других, а потому, что однажды поранил руку.

Карл неплохо говорил по-русски, и из этих немногих разговоров она узнала, что ему сорок пять, родом из Банска-Бистрицы, в плен попал под Москвой, а точнее, под Ельней, и счастлив, что война для него закончилась. Еще говорил, что он не нацист, а славянин, что ненавидит Гитлера и что немцы предали словаков и тому подобное, на что Елизавета Павловна не обращала внимания: «Все они, фрицы, сейчас так говорят».

При встрече они просто кланялись, иногда перебрасывались несколькими фразами о чем-нибудь незначительном. Да, после Сталинграда, когда в лагере уже оформилась организация «Свободная Германия», Карл вошел в руководство ее солдатского комитета. Однажды они и говорили об этом.

А то, что так неожиданно и, как ей казалось тогда, страшно перевернуло жизнь Елизавете Павловне, случилось летом сорок шестого. Ночью она сидела у себя в медкабинете у открытого окна и пыталась читать Достоевского. Спать пока не хотелось, но чтение шло плохо. Елизавета Павловна ловила себя на мысли, что читает, не понимая смысла, а думает совсем о другом.

Ей тридцать девять, а личная жизнь, в общем-то, не сложилась. И не было в том ничьей вины — ни ее, ни других. Все и за всех много лет решила болезнь, оставив неимоверно горький след. Какая женщина не мечтает о семье, о детях, ведь самой природой ей предназначено о ком-нибудь постоянно заботиться, кого-нибудь все время оберегать. А нет этого — нет и того спокойного равновесия души, которое и есть личное счастье. И наверное, никто не ощущает так остро одиночество, как женщина. Только в войну Елизавета Павловна чувствовала себя и полезной, и нужной, и даже счастливой. А что сейчас?

И странные страсти странных людей Достоевского не доходили в эти минуты до ее сознания...

Елизавета Павловна не заметила, как в дверь постучали и на пороге появился ее знакомый унтер.

— Вам что?— с досадой спросила она.

А между тем немножко обрадовалась, что пришел кто-то и отвлек ее от мрачных мыслей, и потому уже более мягко добавила:

— Садитесь.

Карл молча сел на краешек стула, рядом со столом.

Приняв его в свое одиночество, она тем не менее не обращала на него внимания и поначалу не смотрела на него. А если бы посмотрела, то заметила бы, что он держится как-то странно, без конца потирает свои большие руки, порывисто вдыхает ноздрями воздух.

— Нет сон, сон нет совсем,— наконец произнес он.

Елизавета Павловна подумала, что он пришел к ней за снотворным.

— Снотворного у меня нет,— сказала она.— Не получили пока.

— Нет, нет снотворный,— быстро выпалил он.— Я думай о вас.

Она ничего не сообразила, не поняла, почему он встал, подошел к ней и положил свои большие руки на ее плечи.

А дальше все было как будто бы не с нею. И то, что он быстро поднял ее и положил на покрытую простыней медицинскую кушетку, и что делал, и что говорил. Словно не отдавая отчета в том, что происходит, она как-то легко повиновалась ему, и почему-то, дрожа от нетерпения, обхватила его руками за могучую шею, и только все старалась отстраниться от его губ, от его поцелуев, и потому он целовал ее то в лоб, то в нос, то в щеки.

— Я славянин,— шептал Карл,— я не нацист...

Он торопясь срывал с нее одежды, она почти не противилась, и, только когда попытался открыть ей грудь, она мертво вцепилась в рубашку: никогда не оставляющее ее чувство стыда за свое уродство оказалось сильнее...

Потом она будет очень часто вспоминать эту ночь, хотя уже забудет и имя унтера и память потеряет его лицо. Но память оставит ей грубую ласку мужских рук, туманящую близость мужского тела...

Он встал и отошел к окну, заслонив его своей крепкой фигурой. Ей было горько и стыдно, хотя тело успокоенно и предательски замерло.

— Отойдите от окна, черт вас возьми!— она сама испугалась своего крика.

Он виновато отошел и опять опустился на стул. И тут Лиза отвернулась к стене и разрыдалась.

— Не надо! Не надо!— он наклонился над ней и стал вытирать ей лицо уголком простыни.

А она все никак не могла успокоиться и почти захлебывалась от рыданий.

Потом снова сорвалась на крик:

— Идите вон! Вон! Вон!

Он послушно двинулся к двери и вышел из кабинета, а она продолжала больно плакать без слез...

Лиза не могла простить себе случившегося и в следующую ночь не вышла на дежурство, сказав, что заболела.

Только пропустив три или четыре дежурства, она немного успокоилась.

В лагере старалась не столкнуться с Карлом, но, видимо, и он избегал ее.

А потом она поняла, что беременна.

И тут, как это ни покажется странным, она почувствовала в себе даже какую-то приподнятую уверенность.

«Пусть так! Пусть! — твердила она себе. — А если я хочу? Я — хочу!!!»

И опять все знакомые узнавали в ней прежнюю Лизу, а она чувствовала себя так, будто заново появилась на свет.

В феврале сорок седьмого она родила сына.

* * *

До чего ж это смешно, когда твой (твой! твой! твой!) сын влюбляется.

У Игоря это случилось впервые, когда ему было тринадцать лет.

Был он тогда в пионерском лагере, и Елизавета Павловна приезжала к нему каждое воскресенье.

Поначалу все шло по-старому, но на третий раз она заметила в сыне перемены. Он замкнулся. Молчал. Даже не притронулся к гостинцам, которые она привезла.

По простоте душевной Елизавета Павловна стала щупать лоб и задавать вопросы, как он себя чувствует.

И вдруг мимо них прошла девушка с комсомольским значком и в пионерском галстуке, сказав Елизавете Павловне «Здравствуйте». Игорь покраснел, по лицу его пробежала страдальческая улыбка. Девушке было на вид лет восемнадцать. И тут Елизавета Павловна все поняла.

— Это кто, сынок?

— Старшая вожатая, — буркнул Игорь.

«Бог ты мой, какое счастье! — подумала Елизавета Павловна. — Сын-то становится совсем взрослым. Вот уже и влюбляться начал...»

Ей было и смешно, и чуть грустно.

Вспомнился почему-то Игорь Венедиктович.

«Конечно, все это пройдет,— размышляла про себя Елизавета Павловна.— А все чудо! Неразделенная любовь...»

Уж кто-кто, а она-то знала, что это такое.

День был обычный и вдруг превратился в необычный.

Неожиданно приехал Игорь и заявился прямо в горисполком.

— И ничего не сказал!— всплеснула руками Елизавета Павловна.

Они пошли домой.

— У тебя орден?— заметила Елизавета Павловна.

— Кубинский.

— Ничего, будет и наш. Когда ты вернулся?

— Три дня назад — и сразу к тебе.

— Как наш город? Гавана красивее?

— Гавана хороша, но здесь лучше.

— Как дома?

— Дома все нормально. Знаешь, мама, очень хочу, чтоб у меня был сын.

— Если хочешь, будет.

Они проговорили до полуночи.

Рано утром Елизавета Павловна провожала сына на вокзал.

Попрощались, расцеловались, поезд тронулся.

Елизавета Павловна по привычке вздернула правым плечом и побежала к себе на работу.

Побежала, вспомнив при этом латинскую пословицу:

Aqe quod aqis[1].

---

[1] Делай свое дело *(лат.)*.

ТОНЯ ИЗ СЕМЕНОВКИ

Мне было пятнадцать лет, и я уже всерьез засматривался на молодых женщин. Именно па женщин, а не на ровесниц, которые казались мне несерьезными девчонками. В ту пору я не знал, конечно, что девчонки развиваются быстрее мальчишек. Я ездил в парк культуры, да и по улицам ходил в надежде познакомиться с кем-нибудь постарше себя. Уверенности придавал и мой рост. Я был выше своих одноклассников, и в школе меня звали второгодником. Но, увы, все было бесполезно. Страшная стеснительность обуревала меня, когда надо было действовать. И я пасовал. Оставалось одно — влюбляться заочно. И дня не проходило, чтобы я не влюблялся.

* * *

Началась война, и судьба занесла меня в деревню Семеновку под Каширой. Там был совхоз.

Семеновка — довольно большая, дворов на двести, деревня — лежала на берегу Оки, вся в зелени деревьев и кустарников. Со всех сторон, кроме речной, к ней подступали густые дикие леса. Говорят, в старые времена здесь находилось чье-то поместье и за лесами ухаживали всерьез. Но это было давно, леса смешались, и рядом со строгими рядами берез и кленов поднялись ели и осины, дубы и рябины, а еще больше повырастало калины и бузины. В лесах было много ландышей, ежевики и земляники, а редкие поляны усыпало разноцветье с ромашками, колокольчиками, одуванчиками и незабудками.

Дома в деревне разномастные. От изб, крытых соломой и дранкой, до каменных домов под железом и черепицей, да еще три сарая-общежития — приземистых, одноэтажных. К ним чаще всего и подъезжала полуторка, единственная машина в совхозе, привозя

и отвозя рабочих на дальние покосы и торфяники. Зато в совхозе было много лошадей — крепких, выносливых битюгов, которым здесь было хорошо. Трав и сена хоть отбавляй!

Мы жили в деревне, а на работу ходили на станцию пешком всего за полкилометра.

Там разгружали пустые бочки и ящики, а чаще мешки с солью — тяжеленные, по шестьдесят килограммов штука. Со мной работали мальчишки, такие же, как я, по четырнадцать-пятнадцать лет. Все они были здоровее и крепче меня — и совхозные, и городские. Иные шутили: «Смотри не переломись!» — но я пропускал эти шутки, поскольку чувствовал себя хотя бы ростом старше их, да и с мешками у меня ладилось. Не отставал.

Деревенских мужчин в первые же недели и месяцы подмела война, и работу в совхозе выполняли женщины да дети, такие же, как мы, а то и помладше, школьники третьих — седьмых классов, и в основном девчонки.

Пожалуй, война пока давала знать о себе только этим.

* * *

После работы мы мчались купаться. Берег Оки, в отличие от противоположного, был тут высокий, крутой, поросший кустарником и старыми ивами, и мы кубарем скатывались к воде. И глубина здесь приличная — по горлышко.

В некотором отдалении от нас, слева, купались девчонки. Среди них я сразу же заметил невысокую, крепкую, с русыми косами и широким лицом, которая была вроде старше других, но не настолько, чтобы особенно выделяться. Может, лишь лифчик выделял ее — белый, с тонкими бретельками, да голубые трусики с красивым пятном-мячиком на боку. Остальные купались лишь в трусах, поскольку в лифчиках у них потребности не было.

— Не заглядываться! — крикнула мне старшая в первый же день, когда мы оказались на берегу.

И потом, после купанья, не раз, то ли в шутку, то ли всерьез, покрикивала нам:

— А ну-ка, мальчики, отвернитесь! Дайте переодеться!

Жара стояла невыносимая, какая-то удручающая, без единого облачка в тихом небе, без дождей и гроз, и после в общем-то изнурительной работы на станции река казалась блаженством. Она здесь была широка: метров пятьсот, а то и больше до другого берега. Мальчишки почти все смело переплывали ее. Впрочем, плыть приходилось метров триста, а дальше шло мелководье. Перебравшись на противоположный берег, они валились на песок. Девчонки туда доплывать не решались.

Я смотрел теперь на нее с того берега, и издали она казалась

мне необыкновенной, особенно ее мокрые косы и трусики с мячиком.

Меня подмывало спросить у местных мальчишек, кто она, но я не решался, словно боясь ее спугнуть, нарушить то чувство, которое охватывало меня при виде ее.

Как-то нас отпустили со станции раньше, и я, не увидев ее у реки, побежал вместо купания в деревню. Она полола что-то на поле со своими девчонками, и я остановился, завороженный. На ней было длинное ярко-красное платье с горошком и на голове такая же косынка, из-под которой выбивались тугие косы. Мне показалось, что тут, в поле, она еще более красива, чем на реке.

Я присел на скамейке возле избы, в которой квартировал, и долго смотрел на реку. После шести они закончили работу и отправились на реку. Я побрел за ними. На берегу уже не было мальчишек, и я один из нашей компании прыгнул в воду и поплыл на противоположный берег. Сегодня мне особенно хотелось показать, как я плаваю! И, хотя не знал никаких стилей, я очень старался и какую-то часть проплыл даже на спине. А потом опять долго смотрел на нее с того, песчаного берега. Вернулся я, только когда девчонки переоделись и ушли.

Прежде вечера я больше коротал с книжкой, а тут и чтение забросил. После ужина выходил на деревенскую улицу и слонялся из конца в конец в надежде увидеть ее. По улице ходили группы и парочки, с гармошкой и без, но ее почему-то не было.

Я возвращался к себе в избу и, пока хозяева не потушили свет, брал книгу, но не читал. На листках бумаги выводил стихотворные строчки:

Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немыслимо забыть...

Я подражал всем и вся, и вдруг у меня рождались такие стихи:

Мы сидим с тобой в кабаке,
Точим зубы со всякой сволочью.
Чтоб навек забыть о тоске,
Что нам губы разъела щелочью.

Но думал я только о ней, и в эти минуты, и потом, когда в избе гас свет. Фантазия рисовала мне наши разговоры и встречи, на берегу и на улице, в лесу и в совхозном клубе на киносеансе, а потом я засыпал, и мне снилась она в ярко-красном платье и такой же косынке горошком, и я удивлялся, что вижу цветные сны, чего раньше никогда не случалось.

* * *

А еще было ночное. Удивительное время с лошадьми и ярким костром, с печеной картошкой. Вечером мы купали лошадей в Оке, а потом, сбивая себе копчики, без седел гнали их к лесу и там разводили костер.

Лошади спокойно паслись на лугу, а мы, мальчишки, рассказывали страшные истории про леших и ведьм и тут же обменивались последними сведениями с фронтов, пожалуй не менее страшными, но все же далекими от нас. Все продолжали ждать чуда, что вот-вот Красная Армия остановит немцев и погонит их назад и скоро будет победа.

* * *

В двадцатых числах июля, как-то к вечеру, над деревней проползла немецкая эскадрилья.

Люди повыбежали на улицу.

Слышалось:

— На Москву идут.

— А наши что ж?

— Прут, нахалы.

Самолеты исчезли, и вдруг я увидел ее. Она стояла с коромыслом возле колодца и тоже, как все, смотрела в вечернее небо, а потом набрала воды и двинулась по тропке. Не знаю, откуда во мне взялась смелость, но я рванул ей навстречу и, подбежав, выпалил:

— Давайте я помогу вам!

— Ну что ты! Я сама!— смутилась она.

— Нет, нет,— настоял я и снял с коромысла ведра.

Схватил ведра в руки, а она осталась с коромыслом.

«Только бы не расплескать, только бы не расплескать!» — думал я.

Мы двигались по тропинке к дому, видимо к ее дому. Вернее, это был и не дом даже, а крохотная избенка, но под черепицей, аккуратная, с заросшим палисадником. По стенам избенки, вокруг двери и окон вился плющ.

— Ты из Москвы?— спросила она.

Я кивнул.

— А родители?— поинтересовалась она.

— Папа в армии, а мама у меня в Наркомземе работает. Вот я и приехал сюда.

— В каком же ты классе?

«Бог ты мой! Что же ей сказать? Неужели что окончил седьмой? Что совсем еще мальчишка?»

— В десятый перешел,— как-то само собой вырвалось у меня.

Мы уже подходили к ее дому.

— Спасибо тебе! — сказала она и хотела забрать ведра.

Но я не выпустил:

— Я занесу вам. Дверь только...

Она приоткрыла дверь, и я через крошечные сени прошел в комнату — совсем небольшую, но очень аккуратную. Кровать с горкой белых подушек, диван, сундук, над которым висели фотографии, чисто выскобленный стол и несколько венских стульев вокруг.

— Сюда, — она показала на лавку возле печи.

Я поставил ведра.

— Как же тебя зовут? — спросила она.

Я ответил.

— Хорошее имя, — сказала она.

— А мне... — я хотел было признаться, что мое имя мне очень не нравится.

— Нет, хорошее, — повторила она.

— А вы? Вы одна живете? — робко поинтересовался я.

— Папа в армии, старшая сестра в Москве в институте учится, а мама у нас умерла в тридцать третьем, во время голода...

— Ну, я пойду, — сказал я. Но на пороге остановился: — А зовут вас как?

— В школе Антониной Семеновной, — объяснила она. — А ты можешь Тоней. Ведь ты почти взрослый.

И она улыбнулась.

Мне было радостно и горько. Она со мной говорила, и говорила всерьез, но она, значит, учительница. И ей не пятнадцать и даже не семнадцать, а все девятнадцать. И это «почти взрослый»! Почему же «почти»?

* * *

В этот день на станции работы не было; хотя мы и пришли туда, но нас послали на уборку гороха.

Мы вернулись в деревню и направились в поле. Еще издали я увидел Тоню и ее девчонок.

— Помощь принимаете? — крикнул я, когда мы оказались рядом.

— Смотря как работать будете, — пошутила Тоня.

Я снова видел ее совсем близко. Ладная фигура. Тонкие красивые ноги. Быстрые руки. Косы, спадающие вперед.

Я механически срывал стручки гороха в подол рубашки, а сам не отрывал от нее глаз.

Горох был вкусный, сладкий, но мне было не до гороха.

Тоня работала быстро, и я еле поспевал за ней.

Наконец догнал и даже чуть перегнал.

— А у тебя, смотри, хватка, — бросила Тоня на ходу.

* * *

Теперь я не спал по ночам.

Я писал:

Какая ты?
Такая ты,
Что все
Мечты мои
Пусты...

И еще:

Я бормочу спросонья:
Тоня...

Вместо сна я действительно бормотал стихи.

Теперь на реке я махал ей рукой, и она отвечала мне.

Теперь на улице я мог с ней здороваться.

По вечерам ждал, когда она пойдет за водой, но у колодца ее больше не заставал.

Зато в выходной день, когда мы работали только до обеда, я застал ее на лавочке около своего дома с книгой в руках. Я поздоровался и спросил:

— Что вы, Тоня, читаете?

— Второй раз «Войну и мир» перечитываю. Какая прелесть!— призналась она.— Ведь читала вроде недавно в педучилище, а сейчас как будто впервые...

Я «Войну и мир» не читал и, когда речь зашла о моем чтении, весьма кстати (вот, мол, какой я!) вспомнил Мопассана и Достоевского. Их я тоже знал плохо, но все же что-то читал, а главное, помнил по предисловиям. Томик Мопассана был у меня даже в деревне.

— У Мопассана мне больше всего нравятся «Измена графини де Рюн» и «Исповедь женщины», а у Достоевского «Вечный муж», «Сон смешного человека», «Скверный анекдот»,— самоуверенно выпалил я.

Она вроде удивилась. Потом сказала:

— А я почему-то думала, что ты стихи больше любишь и даже сам пишешь.

«Откуда же она узнала?»

— Что вы! Что вы!— пробурчал я и, кажется, покраснел.

— Мне так показалось,— просто ответила она.

* * *

Меня мучила совесть.

«Как я мог обмануть Тоню? Сказал, что не люблю стихи и сам не пишу! Но не могу же я ей показать те стихи? Конечно, не могу!»

Решение пришло неожиданно.

«Напишу другие. И тогда покажу. Признаюсь, что сказал неправду...»

Я не спал несколько ночей. И появилось такое:

Мы не забудем поля изрытые,
Села наши и города,
Дотла сожженные, в прах разбитые,
Мы не забудем их никогда.

Мы помним зверства в Пинске и Львове,
Куда притащен фашистский стяг,
За горы трупов, за реки крови,
За все ответит нам подлый враг.

И еще, и еще...

* * *

В тот день я не пошел после работы на реку. Решил ждать Тоню в деревне. Заплывы через Оку — все это казалось теперь несерьезным. Мои товарищи по бригаде явно что-то заметили, особенно местные, деревенские.

— На свидание? — многозначительно спросил один.

— Уж не влюбился ли ты в нашу учителку? — добавил другой.

— Тайна, покрытая мраком, — резюмировал третий.

Мне было все равно, но я все же буркнул:

— Не трепитесь!

Я болтался по почти пустынной деревенской улице. В кармане у меня были стихи. На лавочках, после ослабшей дневной жары, сидели самые древние — старики и старухи. Возле копошились малые дети.

Наконец я увидел ее. Она шла со своими девчонками с реки. Я неловко остановил ее:

— Здравствуйте, Тоня! Мне... Мне надо поговорить с вами... Можно?

— Идите, девочки, — сказала она. — Так?

«С чего начать?» Я робел.

— Ну, так? — повторила Тоня, и мне почему-то показалось, что в голосе ее прозвучала обида. Косы ее были мокрыми после купанья, с них падали капли воды. Падали на короткое выцветшее платьице с широким вырезом.

Но лицо было доброе. Серо-карие глаза смотрели на меня скорей с любопытством, нежели с обидой. Я успокоился.

Почему-то впервые в голове промелькнуло: «В Москве никогда не встретишь такую учительницу».

— Я сказал вам неправду,— признался я.— Я люблю стихи и даже сам пишу.

— Значит, я не ошиблась? А ты можешь мне почитать?

Я пожал плечами.

— Пойдем,— решительно взяв меня под локоть, она повела к себе домой.

Дома сказала:

— Только переоденусь...

И скрылась за занавеской у печки.

Вернулась в желтой кофточке и зеленой юбке, еще более привлекательная.

— Почитай...

Я начал читать подряд. «Мщение», «Зенитчикам», «Партизаны», «Красной Арии», «Украина», «Москва».

— Мне нравится,— несколько раз повторяла она.

А когда я закончил, подтвердила:

— По-моему, хорошо.

Потом говорили о стихах. Я вразнобой называл Веневитинова, Баратынского, Батюшкова, Майкова, Кольцова, Языкова, Кюхельбекера, Дениса Давыдова, Востокова. Мне правда нравились их стихи.

— А я пишу только юмористические для стенгазеты и журнала, который мы делаем с пятиклассниками,— призналась она.

Это было совсем неожиданно. Предложила:

— Хочешь, прочту?

Это уже было полное доверие ко мне, как к равному.

Я даже вспыхнул и молча кивнул головой.

Она прочитала:

Три сестрицы под окном
Говорили вечерком.
«Кабы я была царица,—
Молвит первая сестрица, –
Издала бы я закон:
Теоремы и таблицы
Тайно бросить в бездну волн».—
«Если б я была царица,—
Отвечала ей сестрица,—
Я бы во дворце жила.
Там у зеркала стояла,
Платья, шляпы примеряла
И красавицей была».
Третья молвила сестрица:
«Кабы я была царица,
Я не знала бы забот:
Над контрольной не пыхтела,
Целый день в кино сидела
Вместо письменных работ».

А потом:

На вершину еле-еле
Я с волнением иду.
Неужели, неужели
Я в седьмой не перейду?

Не знаю, что меня больше потрясло: ее стихи или ее доверие.

— Очень плохо? — спросила она.

— Да что вы! — воскликнул я. — Такие стихи печатают!

— Правда? — то ли она обрадовалась, то ли искренне удивилась.

Когда я уже уходил, она попросила:

— А ты не можешь мне пока оставить свои стихи? Я их перепишу, а потом верну...

Я передал ей свои бумажки и долго еще топтался на пороге. «Как жаль, что я не могу показать ей те стихи, что про нее, — думал я по пути домой. — А может, показать? Не читать, а просто передать и удрать?» Ночью я написал еще одно, опять про нее. Начиналось оно так:

Загорело твое лицо
И обветрело.
Я приду к тебе на крыльцо
С песней светлою...

Под утро мне приснился странный сон. Будто мы и не на Оке совсем, а на Черном море, в Немецкой слободе под Судаком, где я был в тридцать седьмом, и Тоня в красивом купальнике. Она идет по воде, как артист в «Празднике святого Йоргена», а я придерживаю ее за руку, и взгляд ее устремлен вперед, к горизонту, на котором стоят немецкие корабли со свастикой.

«Может, не надо?» — говорю я.

«Нет, надо! Надо! — угрюмо повторяет Тоня и продолжает идти, чуть касаясь ногами воды. — Мы должны их уничтожить!»

Прямо в глаза светит яркое солнце, и блестят брызги, но корабли все равно видны, и они направляют в нашу сторону жерла своих орудий. Орудия длинные и, кажется, вот-вот упрутся в нашу грудь.

«Сейчас, сейчас, — говорит Тоня. — Иди смелее! Ведь смелость — это не отчаяние, а осознанная необходимость».

Получается, что не я ее веду, как было вначале, а она меня, и я поспешаю вперед со словами:

«У Грина есть что-то про смелость, но я забыл. Из головы совсем вылетело».

«Грин — это прекрасно, — говорит Тоня. И вдруг удивленно спрашивает: — Почему же мы забыли с тобой Грина? Совсем забыли?»

Наконец я решился. Купил в сельмаге тетрадку в косую линейку (других не было) и аккуратно переписал в нее все стихи о Тоне.

Сверху даже поставил посвящение: «Тоне». Сначала хотел написать сокращенно «А. С.», как, мне казалось, писали в старину, но потом подумал: «А вдруг она не догадается?» — и написал «Тоне».

Долго выбирал подходящий момент. Бродил по деревне. И как-то вечером заметил в ее плотно зашторенном окошке лучик света. На цыпочках пробрался в палисадник и просунул тетрадку под дверь. «Будь что будет!»

Несколько дней я избегал встреч с ней, и хорошо, что Тони не было. Правда, и я на реку не ходил после работы, а если хотелось искупаться, выбирался из дома в темноте, когда на Оке уже никого не было, только светили белые и красные маяки-поплавки. Вдруг как-то ко мне домой прибегает деревенский мальчишка и заявляет:

— А тебя учителка наша разыскивает. Ну, Антонина Семеновна.

Я так и ахнул. «Ну все! Теперь пропал! И дернуло же меня подсунуть ей эти стихи!»

Мальчишке я, конечно, ничего не сказал, а сам стал еще больше сторониться Тони.

Но на следующий день она сама пришла ко мне. Я вышел на улицу. В руках у нее была газета.

— Хочу порадовать тебя,— сказала Тоня.— Не сердись, что без твоего согласия.

И она протянула газету. Это была районная газета «Знамя социализма». Не понимая, я вертел ее в руках.

— На обратной стороне,— подсказала она.

Я перевернул газетный лист и увидел свои стихи. Целых полполосы. Тут были и «Мщение», и «Зенитчикам», и «Партизаны», и «Красной Армии», и «Украина», и «Москва».

— Ну как?— спросила Тоня.— Доволен?

Я не знал, что сказать.

Посмотрел еще раз полосу. И имя, и фамилия, а под ними подпись: «Рабочий совхоза «Семеновский», 15 лет».

«Зачем эти 15 лет?— подумал я.— Опять мой детский возраст?»

— А за те твои стихи спасибо!— невзначай сказала Тоня.— Хорошие стихи, даже лучше этих напечатанных. Вот только если еще...

Она не договорила.

— Что?— спросил я.

— Если... Если они еще искренние...

Она смотрела на меня задумавшись.

Что мне было сказать?

«Искренние, искренние, конечно, искренние!» — хотелось крикнуть. Но я молчал.

* * *

А война все катилась и катилась на восток. Все уже привыкли к немецким самолетам в небе и к воздушным боям, которые все чаще вспыхивали над деревней, и к грохоту зениток на станции, и к проходящим через деревню воинским частям, и к колоннам беженцев и тощим стадам, которые тянулись в глубь страны.

Я раз в неделю писал маме, и вот в начале сентября от нее пришло грозное письмо: «...наш наркомат эвакуируется в Горький, а потом в Куйбышев. Немедленно возвращайся домой!» Письмо меня ошеломило.

«Какая эвакуация? И зачем мне ехать в этот Горький или Куйбышев? Уж лучше бы на фронт! Или, в конце концов, здесь работать. Как-никак польза...»

Я побежал к Тоне. Постучал к ней в дверь. Когда она вышла, сразу заметила, что что-то случилось. Я протянул письмо. Она долго его читала. Потом сказала:

— Надо ехать!

И добавила:

— Дай я тебя поцелую!

Она целовала меня как-то горячо и беспорядочно, а я прижимался к ней и думал, что вот-вот разревусь.

Я не плакал, когда в школе катался на перилах и свалился в пролет лестницы, пролетев полтора этажа.

Я не плакал, когда летом залез в колючую проволоку и меня вынимали оттуда с помощью ножниц.

Я не плакал, когда прыгнул с крыши двухэтажного дома и сломал себе пяточную кость.

А тут...

* * *

Немцы вошли в Семеновку в начале октября. Вошли без боя. Наши отступили за Оку, взорвав перед этим железнодорожный мост.

Жители растащили перед приходом немцев все хозяйство. Лошадей, скот, зерно, овощи. Кое-что попрятали. Полуторку сожгли. В поле остались только свекла и капуста.

Колонна немцев — бронетранспортер, три танка и несколько десятков мотоциклистов — прошла через всю деревню и остановилась на площади возле старенького клуба. Из бронетранспортера вылез белобрысый, загорелый обер-лейтенант, а с ним бывший житель Семеновки, преподаватель немецкого языка Иван Карлович Фогель. Несколько недель назад он куда-то исчез, ходили слухи, что его выселили, но вот он вернулся. На нем была немецкая

шинель, на рукаве повязка со свастикой, на седой голове фуражка с околышем. Жителей деревни, включая самых древних, согнали на площадь.

Фогель, что-то согласовав с обер-лейтенантом, поднялся на специально принесенную табуретку.

— Слушайте приказ коменданта обер-лейтенанта Кесселя! — выкрикнул он.— Первое: все имущество и продукты вернуть в совхоз. Срок — двадцать четыре часа. Работать будете в совхозе только на нужды германской армии. Второе: с девяти вечера до шести утра комендантский час. За выход на улицу — расстрел без предупреждения. Третье,— и тут Фогель почему-то перешел на плохой русский.— Я есть ваш староста. Все!

Тоня стояла среди молчавших и лишь изредка мрачно вздыхавших односельчан и собралась уже было направиться к своему дому, но увидела, что туда идут обер-лейтенант с Фогелем, за ними денщик с чемоданом. Она остановилась, замерла на минуту и вдруг рванула влево к крайнему дому Михеевых. Сам Федор Прокофьевич, их учитель физики, еще в июле ушел в Красную Армию, но в доме осталась жена с ребятами. И Тоня скрылась там.

Ее нашли вечером. Нашел Фогель, пришедший с тремя автоматчиками. Зло бросил:

— Докомсомолилась! Одевайся! Живо выходи!

Немцы связали ей руки за спиной.

Пока связывали руки, Тоня пробовала плюнуть Фогелю в лицо. Он увернулся.

— Гад, предатель! — процедила она.

Фогель невозмутимо улыбнулся:

— Крылышки обломают.

Ее вытолкнули на улицу и повели по деревне. Жители испуганно смотрели на Тоню из окон и палисадников. Немцы шли с автоматами на изготовку, Фогель — держась аа кобуру.

Возле ее дома стоял офицерский денщик. Он приоткрыл дверь, и Тоню впихнули туда. Два солдата замерли у входа. Вскоре из дома вышли Фогель и третий немец. Они направились к дому Ивана Карловича.

А утром дверь распахнулась, и на пороге показалась Тоня. Лицо ее опухло, глаза заплыли, на щеках и на лбу виднелись кровавые царапины. Платье под расстегнутым полушубком было изодрано.

За ней в сени вышел офицер в расстегнутой гимнастерке и крикнул часовым:

— Ласэн зи зи дурхь! Золь зихь дас бист цум тойфель шэрэн![1]

А Тоня, ничего не видя перед собой, спустилась с крыльца,

[1] — Пропустите ее! Пусть эта скотина катится к черту! *(нем.)*

открыла калитку, пересекла улицу и, как была, растрепанная — одна коса впереди, другая позади, со свалившимся на плечи платком,— направилась в поле. Фигура ее, медленно покачиваясь, двигалась вдоль рядов капусты в сторону леса.

Сотни глаз следили за ней, а она все шла и шла, не оборачиваясь, будто слепая. Она не боялась, что ей выстрелят в спину, да немцы и не решались стрелять без команды. Они сами, как завороженные, смотрели ей вслед.

А Тоня шла. Вот уже и поле осталось позади, а впереди появился кустарник и молодняк, осиновый и березовый. Она скрылась за первыми кустами и березками и вскоре совсем исчезла.

Впрочем, я не видел этого и узнал все много-много лет спустя.

* * *

Есть, наверное, что-то закономерное в том, что к пятидесяти тебя начинает упрямо тянуть в детство твое и юность. Вот и я недавно не выдержал и, не сказав ничего даже домашним своим, направился в Семеновку.

Деревню, конечно, узнать было невозможно. Асфальт. Слева и справа каменные дома — одноэтажные и двухэтажные. На площади Дом культуры, магазин с кафе на третьем этаже, какие-то службы быта.

А в середине площади ограда. Мраморный треугольник со звездочкой наверху и с бронзовой дощечкой: «Комсомолка-партизанка Тоня Алферова. 1923—1942».

А чуть ниже, на такой же дощечке, выбиты слова:

Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немыслимо забыть...

А вокруг в зелени травы еще дощечки. Я насчитал двадцать восемь. На них фамилии и даты. Последняя для всех одна: «1942». Это те, кто освобождал Семеновку.

Я стоял у этой ограды и, бог ты мой, о чем только не передумал...

МАМА

Отец умер три года назад, когда ей, Зине, было тринадцать. Умер он далеко, на пограничной заставе, где находился в командировке, и в Москве, на похоронах, они прощались не с отцом, а с закрытым цинковым гробом. Мама была совершенно беспомощна, и похороны организовали сослуживцы. Их, военных, было много, и еще был военный оркестр и салют. Мама стояла с замершим восковым лицом, не плакала, ничего не говорила, и Зина придерживала ее за руку, чтобы не упала. Так же молча сидела она и на поминках, а когда все быстро разошлись, легла спать и спала больше суток. Зина ходила вокруг на цыпочках, боясь разбудить ее.

Полгода они жили странно, почти не общаясь друг с другом. Правда, мама по-прежнему ходила к себе на ткацкую фабрику, ее наградили орденом по итогам пятилетки и избрали депутатом, и портрет ее висел на районной доске Почета. Зина каждый день видела эту доску по пути в школу и из школы. Но дома мама была замкнута. Готовила, стирала — и все. Телевизор почти не смотрела. И Зина не знала, как подобрать к ней какие-нибудь ключи, заставить встряхнуться. Пыталась про школу рассказывать, придумала даже какую-то смешную историю, будто влюбилась, но и это не действовало.

Зина сама было уже захандрила, стала плохо спать по ночам, но как раз тут-то все и началось.

* * *

Лето было на закате. Зина сидела у открытого окна, смотрела, вдыхала горячий пробензиненный воздух. Окно выходило на шумную людную улицу. По ней шли лафеты с готовыми стенами — по соседству домостроительный комбинат. Вокруг — много зелени, но от духоты она не спасала.

Мама пришла вечером не одна.

С ней рядом стоял мужчина высокого роста, с розовым тонким лицом и небольшими бачками на висках. От него сильно попахивало спиртным.

— Дядя Коля,— сказала мама.— Познакомься!

Он протянул Зине потную руку:

— Дядя Коля.

Мама была оживлена до неузнаваемости. Хлопотала на кухне и у стола, а потом они ужинали и пили чай. Зина не прислушивалась к их разговору и сама молчала.

После чая сказала:

— Я пойду.

И ушла в отцовскую комнату, вернее, в кабинет, как его звали при папе.

Она слышала, как аа стеной мама и дядя Коля смеялись, как потом включили телевизор.

Зина смотрела на часы и все ждала, когда дядя Коля уйдет. Но он не уходил.

В начале двенадцатого мама аашла в кабинет.

— Может, ты адесь ляжешь?— предложила Зине.

— Хорошо, мама,— согласилась Зина и поняла, что дядя Коля остается.

Зина перепесла свою постель в кабинет и аабралась под одеяло. Включила радио.

Парней так много холостых,
А я люблю женатого,—

пело радио.

Дядя Коля приходил каждый вечер и оставался почевать. Приходил все время навеселе и часто приносил с собой вино или коньяк. Они выпивали вместе с мамой.

Мама совершенно преобразилась. Лицо ее порозовело, она стала разговорчива, как прежде, при папе, следила за прической и одеждой.

Только с Зиной разговаривала мельком, на ходу:

— Ты как?

— В школе пичего?

— Ну, будь-будь!

* * *

А Зина, закрывшись в отцовском кабинете, делала уроки, а потом долго смотрела на стены. Здесь был отцовский офицерский кортик. Под стеклом грамота с шестью благодарпостями Верховного Главнокомандующего. И фотографии, фотографии, фотографии... Отец

в семнадцать лет с первыми медалями. Отец в сорок пятом в Берлине, уже старший лейтенант. Мама-школьница и мама-студентка, когда они познакомились. Они вместе на Красной площади, и под этой фотографией подпись рукой отца: «Бывший старый холостяк. 1961». На ней отец уже с погонами майора и колодочками в три ряда. А мама совсем молоденькая. Первая фотография Зины в шестьдесят втором. Ей год. Потом папа, мама и Зина в шестьдесят восьмом, когда она пошла в школу. И последняя фотография в семьдесят пятом. Тридцать лет Победы. Отец — полковник. Колодочки в четыре ряда. Рядом мама, почти сегодняшняя.

На улице стало уже темно. Из окна веяло приятной прохладой. Ярко горели окна витрин, лебедеобразные фонари вдоль улицы, мягко шуршали колеса троллейбусов и машин.

Зина смотрела и думала: как же они жили всю эту долгую жизнь? Хорошо жили. Никогда никаких сцен, никаких недоразумений. У отца были золотые руки. Он и купить все мог, и приготовить, и дома убраться. «Ты отдыхай!» — говорил он часто маме, и она действительно отдыхала с книжкой или возле телевизора, а отец скоро и просто справлялся с домашними делами. У них часто бывали гости, и тут отец брал все хлопоты на себя — и купить, и стол накрыть. А к Зине он относился... Зина знала, что для него она была особой — поздней и единственной. И, если признаться, она любила отца чуть-чуть больше мамы. Это он ее водил в детский сад, а по вечерам домой, а летом обязательно придумывал какую-нибудь «мужскую», как он говорил, поездку дней на десять — двенадцать. Были они в Крыму и на Кавказе, на далеком Иссык-Куле и в Прибалтике, в Княжах и в Молдавии. Это когда Зина уже училась в школе. Мама не любила этих путешествий и не скрывала этого. Она была домоседкой. С беспокойством отпускала их в ближние и дальние странствия и очень радовалась, когда они возвращались. Так радовалась, что даже не спрашивала, что они видели, где побывали. А Зина очень гордилась этими поездками. Всюду так или иначе они встречались с пограничниками, и Зина видела и понимала, как пограничники любят и ценят ее отца. Сама она жила как бы отраженным светом, который падал на нее. Вот и на похоронах его было так много пограничников. И сослуживцев по Москве, и специально приехавших с далеких и близких границ, особенно с восточной, где он умер.

* * *

К вечеру собиралась гроза. Где-то вдали ухало. На пустыре за церковью в лесах изредка сверкала молния. Но дождя не было. Только ветер вздымал пыль на мостовой и тротуарах: подгонял спешащих пешеходов.

Дядя Коля пришел один, без мамы.

— А где мама? — спросила Зина.

— У нее партбюро, — сказал дядя Коля.

Сейчас от него пахло сильнее, чем обычно.

Раньше он никогда не заходил в папин кабинет (может, только когда Зины не было?), а тут не только зашел, но и уселся в кресло. Зина демонстративно села за папин стол.

— Да, да, — говорил дядя Коля, рассматривая фотографии на стене. Они как раз все висели над столом. А кортик, кусок пробкового дерева, нивхская деревянная маска, голова леопарда — дальневосточные подарки отцу — над кушеткой, на которой спала Зина.

— Музей! — воскликнул дядя Коля. Зрачки его сузились. Он, кажется, улыбнулся. — Да, кой-чего не хватает! — заметил он.

— Чего ж это? — не поняла Зина.

— Да хотя бы моей фотографии с твоей мамой.

Ох как Зина возненавидела его в эту минуту! Ее всю передернуло.

Дядя Коля не заметил.

— Не согласна? — спросил он.

— Нет.

— Что ж это так?

«Не хочу видеть вашу физиономию», — хотелось сказать Зине, но она сдержалась. Спросила:

— А кто вы маме?

Он хмыкнул:

— Ну, хотя бы вроде муж.

— Я такого мужа не знаю! — отрубила Зина.

— Ну, даешь! — засмеялся дядя Коля.

И вдруг замолчал, посерьезнел, стал каким-то жалким.

И стал доказывать Зине, как им будет хорошо с ним, у него какая-то особая работа и связи, и он все может достать, и она, Зина, уже совсем взрослая девушка, и ей многое нужно: и одеться, и поесть повкуснее, а он, а он...

Зина закрыла уши руками. Ей хотелось ударить его, выгнать из квартиры, чтобы он больше никогда здесь не появлялся, а сейчас хотя бы из папиного кабинета. «У него сальное лицо, сальные мокрые руки, и весь он...» — думала она.

— Замолчите! — резко крикнула Зина. — И уходите... отсюда, — добавила она.

— Я уйду, уйду, — засуетился он, вставая и направляясь к двери.

В коридоре дядя Коля даже оделся и хлопнул дверью.

«Слава богу», — подумала Зина.

Но через полчаса он вернулся вместе с мамой.

— Что у вас тут произошло?— мама бросилась к Зине, не раздеваясь.

— Ничего,— холодно сказала Зина.

— А все же?— повторила мама.

— И все же ничего,— подтвердила Зина и ушла в папин кабинет, закрыв за собой дверь.

Гроза так и громыхала где-то по соседству, небо разрезали молнии. Ветер налетал порывами на деревья и шелестел листвой.

«Противно!» — сказала про себя Зина.

* * *

С мамой они так и не объяснились. Мама несколько раз спрашивала, но Зина стояла на своем: «Ничего!»

А к дяде Коле приглядывалась все пристальнее.

«Пьяница» — это ей было ясно.

«Старше мамы, лет на десять старше,— отмечала про себя.— Папа тоже был старше мамы лет на пятнадцать, но он не выглядел стариком. А этот — старик».

Зина не знала, где и кем работает дядя Коля, но ей казалось, что он какой-то снабженец. Вот и маме дарит дорогие вещи: оренбургский платок, брючный костюм, югославские туфли.

И еще он казался ей каким-то немытым.

«Может, во мне ревность говорит?— думала Зина.— Нет, это не ревность. Да, я любила и люблю папу. И мама его любила. И я хочу, чтобы мама была счастлива. Но только не с этим!..»

* * *

У них в классе многие увлекались плаванием, благо бассейн «Динамо» был рядом. Зина ходила уже второй год в бассейн. Ходила вместе с одноклассниками — подружками и мальчишками. Правда, абонемент на этот год выпал неудачный — сеанс вечерний, с шести часов. И все же в бассейне было хорошо и летом и зимою.

Однажды она, как всегда, пришла в бассейн к шести часам, встретила своих и стала раздеваться.

— Пошли!— крикнула она, выходя из кабинки.

И вдруг увидела в бассейне маму и дядю Колю. Мама — худенькая, ладная, подтянутая, в голубом купальнике со звездочкой на груди, а рядом стоял обрюзгший дядя Коля с вываливающимся брюхом.

Зина инстинктивно подалась назад: «Лишь бы не увидели».

— Ты что?— спросила одна из подружек.

— Я сейчас,— сказала Зина.— Идите, идите...

Она растерялась. «Ведь мама же знает, что я хожу в бассейн. И ничего мне не сказала».

Зина с минуту смотрела в открытую дверь, как мама и дядя Коля спускаются в воду, потом резко повернулась и стала одеваться...

Дома Зина с нетерпением ждала возвращения мамы. Судя по всему, мама и дядя Коля впервые были в бассейне, и Зина ждала, что мама что-то скажет ей.

Мама, возбужденная, веселая, и дядя Коля вернулись в восемь.

Поздоровались — и ничего.

Дядя Коля поклонился, поставил на стол бутылку.

«Забыла»,— решила Зина.

* * *

День был отличный: ясный и свежий. По небу гуляли бледные облака, в воздухе пахло листвой и свежескошенным сеном. На газонах трещали ручные косилки.

У Зины было прекрасное настроение. Она получила комсомольский билет.

Еле дождалась вечера.

— Мамочка, смотри,— подбежала она к двери, как только мама появилась, а за ней, как всегда, дядя Коля.

— Поздравляю,— мама чмокнула Зину в щеку.

— Это надо отметить,— сказал дядя Коля.

Зина повернулась и ушла к себе. Дверь закрыла.

Мама возилась на кухне и у стола. Зина слышала.

Наконец открыла дверь:

— Идем ужинать.

— Я не хочу,— сказала Зина.

— Ты что, поела?

— Да.

— Как хочешь.

Она ушла, прикрыв дверь.

Зина весь вечер просидела одна. Кое-как доделала уроки. Потом смотрела на фотографии.

В столовой смеялись мама и дядя Коля. Потом слышала, как они включили телевизор.

Зина не выходила.

Прошел час и другой.

Телевизор щелкнул. Выключили. Мама на кухне гремела посудой. Наконец и там стало тихо.

Зина продолжала сидеть за папиным столом.

Часы показывали половину двенадцатого.

— Ты что не спишь?— мама появилась в ночной рубашке.

— Не хочу,— сказал Зина.

Мама прикрыла дверь и подошла к ней:

— Почему ты злишься?

— А почему ты замуж не выходишь? — резко спросила она.

— Ах, вот ты о чем? — мама будто удивилась.— А если я не хочу?

Зина молчала.

— У меня с ним все кончено.

У Зины подскочили брови.

— Как?

— А вот так!

И она вышла, даже не сказав «спокойной ночи».

* * *

И раньше Зина ничего не понимала, а теперь запуталась вовсе.

На следующий день дядя Коля действительно не пришел. Пришел другой, молодой, моложе мамы, в очках на горбатом носу. Представился Зине:

— Валерий Алексеевич.

Мама опять восторженно хлопотала, не зная, как угодить Валерию Алексеевичу. А тот стеснялся, молчал и от робости, видимо, называл Зину на «вы».

Валерий Алексеевич был приятнее дяди Коли. Он оставался дома допоздна, Зина уже засыпала, но утром его никогда не оказывалось.

«То ли ночью ушел, то ли рано утром»,— думала Зина.

Так было с полгода. Пропал Валерий Алексеевич так же неожиданно, как и явился.

И буквально следующим вечером на смену ему пришел дядя Жора. Они сменялись, как солдаты на посту. Этот был опять сед и стар, ростом ниже мамы на полголовы, и еще заикался.

Дядя Жора ночевал до утра и утром никуда не торопился, долго сидел в ванной, и Зина не успевала умыться. Мельком слышала, что Валерий Алексеевич был доцентом, а дядя Жора — художником. У него даже своя мастерская.

— Приезжай ко мне, Зинуля, в гости, покажу свои работы.

Дядя Жора опять обращался к ней на «ты» и противно называл ее Зинулей, и руки у него были сухие, шершавые, и сам он напоминал пересохший сухарь.

Летом дядя Жора, а потом и мама предложили Зине поездку по Волге до Астрахани, но Зина наотрез отказалась:

— Нет, нет, нет, я еду в лагерь вожатой!

И уехала на две полуторные смены, и была счастлива, что она не дома, не видит не только дядю Жору, но и маму.

А в конце августа, когда вернулась домой, дяди Жоры уже не было, и никого не было, и мама опять ходила грустная, молчаливая, и все у нее валилось из рук.

По вечерам они уже не ужинали (мама давала деньги: «Перекуси где-нибудь»), и даже чай иногда не пили, и не смотрели телевизор. Зина опять ходила в бассейн, а зимой еще и на каток ЦСКА по соседству, старалась возвращаться попозже.

Много раз собиралась поговорить с мамой. Подходила, прижималась к ней, вот-вот соберется, но так у нее ничего и не получалось. И сама мама ни о чем не заговаривала, и в душе Зина обижалась.

«Ведь уже не маленькая,— думала она.— Чужих ребят мне доверяют, а тут...»

Мерно отстукивали на стене старинные часы, когда-то принесенные папой. Ходил влево-вправо могучий медный маятник, отсчитывая время. Каждые полчаса слышался тихий мелодичный бой.

И может, впервые сейчас Зина подумала о времени. Как медленно и как быстро идет оно! Кажется, еще только вчера ходила в первый класс, а теперь скоро кончать школу. Кажется, еще только вчера дома все было так хорошо, а сейчас вот и папы нет.

И фотографии — свидетели времени. Красноармеец. Старший лейтенант. Майор. Полковник. Мама молодая — и сейчас. И она, Зина,— от крошечной до почти нынешней.

Время идет, идет, идет, а ничего еще не сделано.

И у мамы. Эти дяди Коли, Валерии Алексеевичи, дядя Жоры. На работе маму ценят и любят, Зина знала, а дома — все кувырком, все случайно, как будто и время остановилось. Неужели так можно жить?

* * *

Перемена наступила как раз зимой. Он пришел в один из февральских вечеров вместе с мамой — высокий, обветренный морозом, в военной форме, чем-то очень напоминавший отца. От него пахло морозом и свежим снегом.

Зина сразу поняла, что где-то видела его, но где — никак не могла вспомнить. А он был в меру скромен и вежлив, не лез к Зине в друзья, но вместе с тем разговаривал с ней как с равной. Когда шел умываться, спрашивал у мамы и у Зины, не нужна ли им ванная. Уходя на работу, интересовался, что купить — принести к вечеру. Если курил, то спрашивал разрешения.

Мама рядом с ним была оживленная, но без суеты и нарочитой приподнятости.

Его звали Василием Петровичем. Лет ему было сорок, может чуть побольше.

Приходил Василий Петрович ежедневно, но не вместе с мамой (кроме первого раза), а чуть попозже. И приносил с собой какое-то спокойствие и солидность.

Зине он понравился сразу, и у них установились хорошие, добрые отношения. Василий Петрович даже, пожалуй, с большим вниманием, чем мама, интересовался ее школьными делами и вообще всем — катком, бассейном, книгами, которые она читала. Часто сидели в кабинете и говорили об отце, которого Василий Петрович знал многие годы.

— Ведь я моложе твоего папы ровно на десять лет и многому научился у него. Это мы потом подружились, а сначала я ходил у него в учениках. На войне я не был, по возрасту не попал, и тут опыт Сергея Константиновича мне очень был нужен,— так приблизительно говорил Василий Петрович.

И рассказал о том, как они вместе с отцом объездили за эти годы почти все границы, и как им вообще повезло, что они оказались в погранвойсках, и что вести политическую работу среди пограничников — дело особое и увлекательное.

— На границе мирного времени не бывает,— добавлял он.

От Василия Петровича Зина узнала, что отец ее с отличием окончил после войны военно-политическое пограничное училище, потом служил на далекой Камчатке и только позже попал в Москву в Политуправление погранвойск.

Теперь Зина вспомнила, откуда знает Василия Петровича.

— Я вас на папиных похоронах видела,— сказала она.

— Да, я летал за Сергеем Константиновичем, в Читу, когда все это случилось. И потом вот — с гробом в Москву. Грустное это было путешествие.

Он говорил о папе как о живом.

— Я познакомился с Сергеем Константиновичем как раз на Камчатке,— говорил Василий Петрович.— Служил у него в подчинении. Комсоргом был. А потом не без его участия попал в то же училище, которое и он кончал. Из училища — сразу в политуправление, где работал Сергей Константинович. Так наша дружба и восстановилась.

Мама, накрыв на стол, приглашала их:

— А ну, заговорщики, ужинать!

— Мы не заговорщики,— оправдывалась Зина.

Зине хотелось куда-нибудь пойти с Василием Петровичем или поехать, хотя бы на границу, как они ездили с папой. И обязательно чтобы мама была рядом. Но ее никуда не звали.

Она вспомнила дядю Колю.

Вот с Василием Петровичем она бы с удовольствием сфотографировалась. И с мамой. И пусть бы эта фотография висела в папином кабинете. Ведь папе не было бы обидно. Они с папой были друзьями.

Но Василий Петрович не предлагал...

Прошли зима, весна и лето.

Лето они провели на даче, которую снял Василий Петрович, и Зине было совсем не скучно, поскольку там была дочь Василия Петровича — Маша, Зинина ровесница. Маша была девочкой тихой и замкнутой, но они подружились. Заводная Зина как-то быстро сошлась со спокойной Машей. От Маши Зина узнала, что мать ее очень давно, когда Маше было пять лет, погибла в геологической экспедиции, что папа потом не женился, жили с бабушкой, но и она умерла.

— Я очень хочу, чтобы папа женился на твоей маме,— говорила Маша.— А ты?

Зина вспомнила дядю Колю, Валерия Алексеевича, дядю Жору и осторожно согласилась:

— Пожалуй...

Они уже вернулись с дачи в Москву, когда Зина как-то заикнулась об этом маме. Василий Петрович был в командировке.

Зина так и сослалась на Машу:

— А Маша говорит, что очень хочет, чтобы ты с ее папой поженились.

Мама задумалась. Потом сказала:

— Не знаю, Зинок, не знаю...

Зина молчала.

Ей было немного горько, что мама не советуется с ней.

— Боюсь я после всего,— продолжала мама.— Сейчас все так хорошо и просто, а если официально — как-то будет... Да, ну хватит об этом!

Так опять у них не получилось разговора.

* * *

Это случилось в ноябре.

Зима пришла ранняя и устойчивая. Каждый день шел снег, и транспортеры еле успевали очищать улицы. Дворники вовсе не справлялись со снегопадом. Тротуары сузились, и пешеходы с трудом пробирались по узким тропинкам меж бесконечных сугробов.

Зина не помнит, чтобы мама когда-то болела и обращалась к врачу, а тут она пошла в поликлинику и вернулась удрученной:

— Видимо, придется ложиться в больницу.

Ни Василий Петрович, ни Зина не поняли, что случилось.

— Говорят, какие-то спайки и нужна операция,— сказала мама.

Василий Петрович ходил куда-то с мамой, что-то выяснял.

Через неделю маму положили в больницу.

В больнице был карантин, и Зину не пускали туда.

А Василий Петрович получил специальное разрешение и ежедневно после работы бывал у мамы.

После больницы он, как и прежде, приезжал домой, и Зина с нетерпением ждала его:

— Ну, как?

Василий Петрович рассказывал, как Зине казалось, очень осторожно и передавал ей записки:

«Зинок!.. У меня все хорошо. Как ты? Как в школе? Помогай Василию Петровичу. Целую! Твоя мама».

«Очень скучаю по тебе, Зинок! Очень хочу видеть! Не знаю, когда снимут карантин. Целую! Мама».

«Береги, Зинок, Василия Петровича! Очень он внимательный и хороший. Навести его Машу. У меня все хорошо. Целую! Мама».

Зина расспрашивала Василия Петровича, что делают с мамой, чем лечат, когда операция.

— Операция на следующей неделе,— говорил Василий Петрович.— Видимо, во вторник. А сейчас капельница. Уколы разные. Исследования.

Зине казалось, что Василий Петрович чего-то недоговаривает, скрывает от нее. Но что? Как узнать?

К Маше она заезжала после школы не раз, да и Маша дважды к ней приезжала. Ходили они и на каток, но лед был еще плохим.

В день операции Зина отпросилась из школы и поехала чуть свет в больницу. Дальше гардероба ее не пустили. Вскоре появились Василий Петрович с Машей.

— А как же ты со школой? — спросила Зина у Маши.

— Меня отпустили.

Василий Петрович разделся, набросил халат.

— Посидите, девочки! — сказал он и направился к лифту.

Время тянулось медленно. Они почти не разговаривали. Смотрели на часы: десять, пол-одиннадцатого, одиннадцать, половина двенадцатого.

Василий Петрович появился около двенадцати, тяжело присел рядом на лавку, сказал:

— Только сейчас закончили. Привезли в послеоперационную палату. Она спит. Я через стекло видел.

— И что нашли? — Зине не терпелось узнать подробности.

Василий Петрович словно не расслышал ее.

— Давайте собираться,— сказал он и направился к гардеробу.

Когда вышли, Зина опять спросила:

— Василий Петрович, так что все-таки у мамы?

— Не знаю, Зина, не знаю! Ничего не берусь сказать,— неопределенно ответил он.

У метро они попрощались. Василий Петрович поехал на работу. Маша — в школу. Зина решила в школу уже не идти — пошла домой.

Вечером Василий Петрович сказал:

— Маме, кажется, легче.

— Вы были у нее?

— Был.

Через несколько дней Зина опять стала получать от мамы записки, бодрые и обычные, как будто никакой операции не было. Она ходила на рынок — покупала гранаты и грецкие орехи. Дома выжимала сок и колола орехи. Василий Петрович отвозил это все в больницу вместе с Зиниными записками. Еще доставал крабов и черную икру. Маму уже перевели в прежнюю палату. В конце декабря Василий Петрович достал елку и игрушки, установив ее в маминой палате.

Новый год Зина встретила с Машей. Смотрели по телевизору «Голубой огонек». Василий Петрович был в больнице.

* * *

Январь — снежный и вьюжный.

Город напоминал снежную целину. Крыши, улицы, тротуары — все утопало в снегу. А он продолжал валить и валить.

Вскоре после Нового года Василий Петрович принес радостное известие:

— С завтрашнего дня в больнице снимают карантин. Ты поедешь?

— Конечно, как же! — воскликнула Зина.

— Только приезжай к шести, как и я,— попросил Василий Петрович.— И...

Он не договорил.

Весь день Зина ждала вечера. И на уроках, и после. Ничего не лезло в голову. Сходила на рынок, купила три свежих огурца и одну помидорину. Дорого, но мама любила. Выжала гранатовый сок. Запас гранатов был. Без конца болталась по квартире, смотрела на часы... Четыре, полпятого, пять, половина шестого. Тут собралась, оделась.

В больнице разделась, получила халат, поднялась на четвертый этаж. Больные лежали и в коридоре на раскладушках. Она нашла номер палаты.

В палате стояло четыре койки и раскладушка у окна. И если бы не Василий Петрович, уже сидевший у мамы, она бы не узнала ее.

Мама с желто-синим осунувшимся лицом лежала на высоко поднятых подушках. Вид у нее был измученный, только глаза блестели. Голову держала плохо — голова качалась. Рядом стояла капельница. Резиновая трубка тянулась к руке.

— Вот и Зина,— как-то неестественно бодро сказал Василий Петрович.

Зина чмокнула маму в щеку и не знала, что спросить, что сказать.

Василий Петрович взял у нее сумку, спросил:

— Принесла? Сейчас мы попьем. Ох, и зеленые огурчики, помидор! Прекрасно. Это мы поедим.

Он уверенно хлопотал вокруг мамы, а мама смотрела на него и на Зину какими-то виноватыми глазами.

Зина молчала.

Василий Петрович дал маме несколько ложек гранатового сока. Потом нарезал помидор и огурец, посолил, взял вилку:

— Понемножку.

Мама ела с трудом.

В палату принесли ужин.

Мама посмотрела и сказала:

— Я не буду.

Сказала устало, словно ей было тяжело говорить.

И дышала тяжело, с хрипами.

— Ну хотя бы ложечку каши! — попросил Василий Петрович.

— Нет,— коротко ответила мама.

Обратилась к Зине:

— Ты как?

Зина хотела сказать: «Не волнуйся, все хорошо, мамочка», но осеклась, боясь, что эти слова прозвучат не к месту.

— Ничего,— сказала она.

Еще немного посидели вместе, и мама, кажется, задремала.

— Ты иди,— шепнул Василий Петрович,— и подожди меня внизу.

Зина, совершенно обескураженная, вышла.

Внизу долго ждала Василия Петровича.

Наконец он появился. Сказал:

— Договорился о ночном дежурстве. Целая проблема.

Оказывается, Василия Петровича ждала у подъезда машина. Он открыл Зине дверцу, сел рядом с ней.

— Женя! К Дементьевым! — бросил шоферу.

А Зина даже не поздоровалась с водителем.

В машине она спросила у Василия Петровича:

— Это очень серьезно?

— Очень,— ответил он сразу, не раздумывая.

* * *

Приемные дни в больнице были не каждый день. И назавтра Зина не поехала. Сидела дома, ждала Василия Петровича.

Его не было долго.

В девять зазвонил телефон:

— Зина, это ты?

Зина почувствовала недоброе:

— Я. А что, Василий...

— Немедленно приезжай в больницу!

Зина помчалась. Бегом на метро, потом на троллейбусе, еще с километр пешком.

Василий Петрович ходил по вестибюлю в распахнутом халате. Увидев Зину, подошел к ней, обнял:

— Будь умницей, девочка!

— Что? — не поняла Зина.

— Все,— сказал Василий Петрович.

Зину пробрал озноб, потом бросило в жар. Глаза заволокло. Придя в себя, она спросила:

— А я?.. Мне можно туда?..

— Может, не надо? — неуверенно произнес Василий Петрович.

— Надо! — решительно сказала Зина.

— Ну пойдем,— согласился Василий Петрович.

— Когда? — спросила Зина в лифте. Она еще не могла смириться со страшной мыслью.

— Полчаса назад. В двадцать один ноль пять,— ответил Василий Петрович.

На четвертом этаже они прошли по коридору до знакомой палаты. В палате мамина койка была прикрыта ширмой. Капельницу уже унесли. Василий Петрович приподнял простыню.

Лицо теперь у мамы было не желто-синее, а белое.

Василий Петрович опустил простыню, сказал: .

— Пойдем.

Потом они сидели в ординаторской. Дежурный врач налил им по стакану горячего чая, пододвинул сахар. Они о чем-то говорили с Василием Петровичем, но Зина не понимала. Она пила обжигающий чай и старалась представить себе мамино лицо, только что виденное, но не могла. Видела маму с папой, с дядей Колей, с Валерием Алексеевичем, с дядей Жорой, с Василием Петровичем, а теперешнее не могла. Домой они возвращались на перекладных. Машины уже не было.

— Женю я отпустил,— сказал Василий Петрович.

На улице мела метель, выл ветер, было люто холодно.

— Как все это было? — спросила Зина.

— Когда я приехал, мама меня уже не узнала. Она была на

наркотиках. Только в начале десятого широко открыла глаза, вроде узнала, хотела что-то сказать — и все... Я держал ее голову...

Дома Василий Петрович позвонил Маше. Все сказал.

— Ты ложись, я тут,— добавил он.

Сами они долго не ложились. Зина бесцельно бродила по квартире. Василий Петрович — за ней. Потом вскипятил чайник. Сказал:

— Попей!

— Я не хочу! — ответила Зина, но села тут же на кухне и обхватила руками горячую чашку. Ее трясло.

Словно вспомнив о чем-то, Зина вдруг спросила:

— Может, не к месту, но... Вы знали, Василий Петрович, что было с мамой потом, после папы?

Он подтвердил:

— Знал. Она сама мне все рассказала...

Помолчал и добавил:

— И я не судил ее строго, а сейчас тем более.

Зина не спросила почему.

Она, кажется, понимала, что сказал бы Василий Петрович. Мама чувствовала приближение того, что случилось сегодня, и вот...

Словно угадывая ее мысли, Василий Петрович сказал:

— Единственно, чего не могу простить себе: не уговорил маму оформить наш брак. Пожили бы как люди...

Они шли с кладбища к электричке. Зина, Маша и Василий Петрович. Народу на похоронах было много. Люди с ткацкой фабрики. Несколько военных из политуправления. Даже кто-то из райкома и райсовета. Говорились речи, но Зина их не воспринимала. Она видела мамино лицо и красные подушечки с двумя орденами и тремя медалями. «Как у папы, как у военных»,— думала Зина.

Маму похоронили рядом с папой, в той же ограде. На папиной могиле стоял небольшой гранитный камень. Над маминой — груда венков и цветов.

Было сумеречно, пасмурно. Под ногами скрипел снег.

Подходя к станции, Зина спросила, вспомнив свидетельство, которое видела в эти дни у Василия Петровича:

— А что такое острая сердечная недостаточность?

— Это диагноз,— сказал Василий Петрович и добавил: — Как бы конечный результат.

— А не конечный? — спросила Зина.

— Ты же знаешь,— пояснил Василий Петрович.— Рак...

На следующий день к вечеру Зине позвонил Василий Петрович:

— В школе была?

— Нет.

— Пойдешь завтра. Хорошо?

— Хорошо.

— А сегодня к семи часам собери вещи, самое необходимое, и жди нас с Машей.

— Но я...— хотела сказать Зина.

— Никаких «но»,— решительно произнес Василий Петрович.— Жди! Поедем к нам.

У Зины все валилось из рук. Кое-как она что-то засунула в чемодан и портфель, оставшийся от папы.

В семь приехали Василий Петрович и Маша. Взяли вещи, спустились вниз, сели в машину.

— Женя, домой, к нам,— сказал Василий Петрович шоферу.

ДВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИЛИ ВАРИАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ

После сорока Виктору Петровичу не везло. Одолели болячки. Он зачастил в больницы. То ли война сказалась, то ли несуразный образ жизни. Полиартрит. Тромбофлебит. Хронический гастрит. К этому он уже как-то привык. Но вот к приступам панкреатита — со страшными опоясывающими болями, когда хоть на стенку леаь, рвотой, полным отсутствием аппетита — привыкнуть было невозможно. Причем они начинались, как правило, в самые неподходящие моменты жизни. То в командировке, то во время лекций. Его отвозили на «скорой» в больницу. Там «подкармливали» с помощью уколов и капельницы и отпускали с неизменным советом:

— Строжайшая диета! И ни рюмки в рот!

Пить он давно не пил — «на фронте норму перевыполнил»,— отшучивался на предложения друзей и знакомых,— а вот с диетой было труднее. Какая диета у заядлого холостяка!

В каких только больницах не перебывал за последние годы — и в городских, и в сельских, и в районных... Сейчас его привезли в больницу столичную, знаменитую.

На сей раз приступ оказался не самым тяжелым, и он был даже доволен, что попал к светилам медицины не на носилках, а на своих двоих. Правда, с этой больницей у него были связаны грустные воспоминания. Сюда, в радиологический корпус, он возил на облучение дочь свою Нину. Прошло пять лет, как ее похоронили.

Его положили в отдельную палату — бокс, и все началось, как прежде, с уколов и капельницы: витамин, кровь, плазма, глюкоза, кальций.

— Вас надо подкрепить,— говорила заведующая хирургическим отделением Вера Ивановна, на вид совсем еще молодая женщина, хотя, как он узнал позже, ей было уже за пятьдесят.

Она нравилась ему своей спокойной, без суеты, деловитостью. Начальственное не выпирало из нее. Лицо, круглое, с заметными

паутинками морщин, всегда было ровно приветливо. Только когда она измерила давление, слушала пульс или пальпировала живот, оно становилось несколько отрешенным. Словно говорило: «Мне сейчас не до вас».

— Исследоваться будем чуть позже,— вторила лечащий врач Людмила Аркадьевна, которая являла полную противоположность Вере Ивановне.

Она была массивна и неуклюжа, с глубоко спрятанными глазами и тонкими, длинными, чуть нервными, как у пианистки, пальцами. И одевалась Людмила Аркадьевна несколько небрежно. Она выглядела старше Веры Ивановны, хотя на самом деле была моложе. Ей не исполнилось еще и пятидесяти.

В общем, лечащие дамы ему нравились. Труженицы. Каждый день операции, да еще дежурства не только в больнице, но и в «скорой помощи».

За первую неделю Виктора Петровича посмотрели также терапевт, уролог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог и отоларинголог. Тут у него все было в относительном порядке.

Капельницу ему чаще других сестер ставила Маша — самая милая, как показалось Виктору Петровичу, сестра в отделении.

У Маши чуть продолговатое лицо и серые, глубокие глаза. Волосы расчесаны на пробор, и, когда она улыбается, на щеках и подбородке появляются лукавые ямочки.

Голос у Маши, как у пионервожатых, с приятной хрипотцой.

Работала Маша просто артистически. Моментально находила вену, хотя его прыгающие и скользящие вены всегда искали с трудом, брала кровь на биохимический анализ и без устали хвалила Виктора Петровича за терпение и мужество. А лежать под капельницей иногда приходилось и по пять, и по семь часов.

Виктор Петрович быстро сдружился с Машей. Знал, что живет она в подмосковном поселке Пушкино с двумя мальчишками школьных лет и старой мамой, что лет ей тридцать восемь и что любит она больше всего на свете серьезную музыку, часто бывает в консерватории и Зале Чайковского, вот только возвращаться поздно вечером неудобно, а то бывала бы чаще. Про мужа он тактично не спрашивал, и так было ясно, что его у Маши нет.

По просьбе Маши Виктор Петрович часто рассказывал ей про войну, как дошел от Москвы до Берлина и Праги, и про нынешнюю свою работу — преподавателя ПТУ, очень интересную.

— Ребята пошли цельные, самобытные,— увлекался он.— Не то что раньше в ремесленных. И конкурсы у нас сейчас дай бог, не меньше, чем в университете!

Все шло неплохо, и Виктор Петрович начал потихоньку при-

бавлять в весе — то двести граммов аа неделю, то триста.

С работы приходили не только сослуживцы, но и учащиеся. Он потихоньку натаскивал их, консультировал. А по вечерам садился за учебник для ПТУ, над которым трудился последние два года. Училище его было с художественным уклоном, и Виктор Петрович писал учебник по чеканке, резьбе по дереву и другим видам прикладного искусства.

В Москве стояло лето. Окна в палате весь день держали открытыми. И Виктор Петрович позволял себе курить: и под капельницей, и вечерами, когда сидел над учебником.

Врачи и сестры смотрели на это спокойно, а Вера Ивановна частенько забегала к нему то за спичкой, то за сигаретой. Она сама курила.

В середине августа капельницу убрали. Кровь у Виктора Петровича пришла в норму, хватало и белка, и кальция.

— Завтра рентген! — на утреннем обходе предупредила Людмила Аркадьевна.

Его подготовили как положено, и он спустился с третьего на второй этаж к рентгеновскому кабинету. Когда шел, ааметил, что в их отделении появился новый хирург — относительно молодой, лощеный, с бледными голубыми глазами и тонкими пальцами рук.

В рентгеновском кабинете Виктор Петрович пил барий, а потом его долго крутили перед зкраном. Снимки проявили тотчас же. И снова его почему-то позвали к аппарату.

Врач-рентгенолог пригласил Веру Ивановну и Людмилу Аркадьевну. С ними пришел и новый хирург, которого, как выяснилось, звали Василием Васильевичем.

Легкие и сердце, как понял Виктор Петрович, их не интересовали, а уцепились они за что-то в желудке.

Смотрели долго в восемь глаз. Иногда тихо о чем-то говорили или начинали спорить, употребляя латинские слова, которых он не знал. Потом его отпустили, а сами остались с мокрыми снимками.

Виктор Петрович быстро позавтракал в пустой столовой и вернулся к себе в палату. Время было раннее — около одиннадцати. Он подошел к окну. С улицы бился в прохладу больницы душный, перегретый воздух, шелестя листьями лип и кленов. В тени, на газоне под окном, вяло разлеглось целое стадо разномастных собак. Им было жарко.

В воздухе парило. Небо затянулось белесой знойной дымкой. Сквозь нее расплывчато покачивалось солнце.

Где-то шумели машины и гремел трамвай, а здесь, перед окнами, было сонно и тихо. Изредка покаркивали сытые вороны, да воробьи со взъерошенными перьями изредка купались в пыли. Прополз

автопогрузчик со связкой кислородных баллонов, спугнул воробьев. Но через минуту птицы снова опустились на дорогу.

«Пожалуй, надо немного поработать»,— решил Виктор Петрович и разложил на столе рукопись. По привычке зажег настольную лампу, хотя было светло, но делал он всегда так больше для уюта. Сказывалась привычка работать по ночам.

Только закурил, как в палату забежала Маша. Постояла над Виктором Петровичем, спросила:

— Как вы себя чувствуете?

Он не придал значения ее вопросу, бодро ответил:

— Прекрасно, Машенька, прекрасно!

— Ну, не буду вам мешать,— Маша выскользнула в полуоткрытую дверь.

Потом приходили Вера Ивановна и Людмила Аркадьевна, долго мяли и щупали его живот.

— Рентген придется повторить,— сказала Вера Ивановна.

— Повторить так повторить,— согласился он.

Правда, кто-то говорил ему прежде, что часто рентген делать не следует, но он не верил в это. В конце концов, рентгенологи живут, как все люди, а если и умирают, то не обязательно от рака. Пример тому — его бывшая жена, врач-рентгенолог. И хотя Виктор Петрович не знает, что она делает теперь в Англии, но то, что жива-здорова, ему известно. Недавно в Англию ездила профсоюзная делегация, в составе которой был их председатель месткома. Виктор Петрович шутя попросил его: «Узнай, жива ли там моя изменница?» И что бы вы думали, узнал: жива, процветает.

Через три дня его снова повели на рентген, но уже в другой корпус, девятый. С ним пошла Людмила Аркадьевна.

Там его щупала какая-то профессорша, очень решительная и, как показалось Виктору Петровичу, грубая. Во всяком случае, когда он вышел и стоял, поджидая Людмилу Аркадьевну, слышал, как за дверью профессорша кричала на нее.

Когда Людмила Аркадьевна появилась, лицо ее пылало красными пятнами.

На следующий день он глотал гастроскоп. Ужасная процедура!

А еще через день дверь в его палату распахнулась и на пороге в сопровождении Веры Ивановны и Людмилы Аркадьевны он, к полному удивлению своему, увидел плотного, на крепких коротких ногах, как всегда оживленного профессора Сергея Тимофеевича Западова.

— Вот, братец, и свиделись,— сказал Западов.

«Брюшко появилось»,— отметил Виктор Петрович.

А лицо у Западова было прежнее — широкое, открытое, с загадочным прищуром небольших карих глаз. Они светились, как у младенца.

* * *

Жизнь у Виктора Петровича после возвращения из армии в сорок шестом — он еще год служил в Центральной группе войск в Австрии и Венгрии — пошла наперекосяк.

Он быстро женился на студентке последнего курса медицинского института. Все это было слишком скоропалительно — это он потом понял,— и через год жена родила ему Нину — очаровательную, но чуть болезненную, как многие дети послевоенной поры, девчушку. Нина долго болела диспепсией, и врачи не раз приговаривали ее к худшему, но к трем годам вдруг выровнялась, начала хорошо говорить, и через полгода ее уже приняли, правда, с трудом, в детский сад. Жена, увлеченная работой, почти не занималась дочерью, и он тянул тройную лямку: работа, ученье и дочь. Ее надо было отвести в детский сад утром, вечером привести домой плюс делать необходимые покупки. Все свалилось на него.

В пятидесятом году, а может, это началось уже раньше, жена увлеклась английским офицером, который находился в Москве по делам ленд-лиза[1]. Они разошлись, и жена Виктора Петровича уехала со своим новым благоверным в Лондон.

Они не ссорились, не ругались.

Она складывала вещи в два чемодана, а он стоял рядом, и ему казалось, что делает она это очень неумело, не так. Будто торопится обрубить концы. Впрочем, ее в самом деле на улице ждала машина. Был ли там ее англичанин, Виктор Петрович не знал. Но машину военного образца, «лендровер», английскую, с дипломатическим номером, он видел.

— Тебе не помочь? — наконец не вытерпел он.

— Нет, что ты! — воскликнула она.— Прощай!

Он почему-то запомнил день, в который она уезжала. Был суровый мороз, под тридцать, город обледенел и замер, словно в ожидании опасности.

— Прощай!

Он больше не женился — зарекся! — и один воспитывал Нину. Дочь кончила школу, потом картографический факультет и даже успела побывать в одной экспедиции. Совершенно невзначай, когда она проходила очередную диспансеризацию, у нее обнаружили опухоль в легком. Перепроверили в институте Герцена, подтвердилось самое страшное.

---

[1] Ленд-лиз — план, по которому США и Великобритания поставляли Советскому Союзу вооружение и стратегические материалы в годы минувшей войны. После войны США и Великобритания потребовали от СССР за это компенсацию.

Вызвали Виктора Петровича, и он волей-неволей оказался в заговоре с медициной.

Правдами-неправдами старался он скрыть диагноз от дочери и уж ни в коем случае не класть ее ни в какие онкологические клиники. Боялся, что профиль этих учреждений раскроет тайну.

Пользуясь тем, что сын заместителя министра здравоохранения когда-то учился в его ПТУ, он попал на прием к замминистра.

Тот понял Виктора Петровича и пообещал:

— Я свяжу вас с профессором Сергеем Тимофеевичем Западовым. Он заведует отделением в научно-исследовательском институте. Отделение фактически онкологическое, хотя больным оно известно под другим названием.

И связал.

Виктор Петрович положил Нину к Западову. Тот сделал операцию, удалил правое легкое, и поначалу засветилась надежда.

Когда Нину выписывали на месяц-другой домой, Виктор Петрович возил ее на облучение. Но через восемь месяцев положение ухудшилось: метастаз в левом легком. И тут уж ничего не помогло, ни химиотерапия, ни болгарские кудесники, ни народные средства. Через три месяца Нины не стало. Ей было только двадцать шесть...

С Сергеем Тимофеевичем Западовым они продолжали дружить и видеться и после смерти Нины. Даже ездили раза три на охоту и раз пять на рыбалку. Были под Завидовом, на Брянщине и Рязанщине. Но в последние два года встречи стали реже. Виктор Петрович зачастил в больницы, и ему было уже не до охоты или рыбалки.

* * *

И вот Сергей Тимофеевич перед ним.

— Мы вас оставим вдвоем,— предложила Вера Ивановна.

— Пожалуйста,— согласился Западов.

Спросил:

— Вам курить тут разрешают?

— Вроде разрешают,— сказал Виктор Петрович.

Сергей Тимофеевич достал пачку «Новости».

— А вы свою любимую «Приму»?

Они закурили.

— Что ж, братец,— сказал Западов,— дела ваши сложные. Не хочу скрывать, обманывать вас, что в желудке вашем полипы и все такое прочее. И вы знаете почему. Скажу прямо, у вас опухоль, значительная, и удалять ее надо немедленно. Удалю вам примерно две трети желудка, но это не беда. Желудок растягивается и со временем придет в норму. Будет все хорошо, и даже выпивать разрешу. Как вы на это смотрите?

Ошеломленный Виктор Петрович молчал.

— Так как? Вы же человек мужественный и стойкий. Я вас знаю таким.

— Если надо, так надо,— ответил, преодолев спазматическую сухость в горле наконец, Виктор Петрович.— Вы же сами говорите, что выхода нет...

— Выхода действительно нет. Согласие на операцию будете подписывать,— спросил Западов,— или договоримся устно?

— Все равно. Надо так надо. А когда?

— Лучше всего во вторник. Сегодня у нас четверг. Во вторник мне легче вырваться. Договорились?

— Конечно.

— Какие пожелания?

Виктор Петрович задумался.

— Мне надо бы на работу съездить и домой. За квартиру заплатить и все такое прочее, соседку предупредить,— неуверенно сказал он.

— Это ради бога. Хоть завтра и до понедельника. Разрешаю даже выпить в понедельник, но не перебарщивая.

— Я не пью,— признался Виктор Петрович.

— А когда-то на рыбалке и на охоте вроде мы себе позволяли.

— Панкреатит отучил,— объяснил Виктор Петрович.

— Тогда другое дело. Но в понедельник быть в больнице к завтраку, не позже.

Виктор Петрович согласно кивнул головой.

— И еще одно,— вспомнил Сергей Тимофеевич.— Мы с вами заядлые курильщики. Не вздумайте после операции бросать курить. Начнется отхаркивание, могут разойтись швы.

Виктор Петрович удивленно посмотрел на Сергея Тимофеевича:

— А я и не собирался!

На улице начиналась гроза. Небо почернело. Поднялся ветер, который трепал листву и гнал по асфальту пыль и песок. Где-то далеко громыхало, а в небе над больницей вспыхивала молния.

Больные, сидевшие на лавочках и гулявшие по дорожкам, заторопились в свои корпуса. В огромных, возведенных из бетонных панелей и блоков корпусах начали закрывать окна.

Гроза долго ходила вокруг больницы, и только к вечеру грянул ливень с крупным градом. Газоны и дороги покрылись белым горохом. И всю ночь гремел гром — словно лопались гигантские воздушные шары,— стеной лил дождь. К утру все успокоилось.

Утром Виктор Петрович поехал на работу, заплатил партвзносы за два месяца, положил документы в сейф. Рукопись привез домой. Хотел воспользоваться двумя пустыми днями, поработать, но ничего не получилось.

Пошел погулять, заодно заплатил вперед за квартиру, забрел в кино. Посмотрел «Солдаты свободы» — давно собирался.

Переночевал, а в субботу не вытерпел, вернулся в больницу.

В отделении как раз дежурил Василий Васильевич. Как всегда, отутюженный, отглаженный, с сухим, ничего не выражающим лицом.

Он принял как должное его преждевременное возвращение, присел на койку, разговорился.

Сначала говорили о чем-то постороннем, о тех же «Солдатах свободы», потом Василий Васильевич как бы невзначай поинтересовался:

— Как вам здешние врачи?

— По-моему, хорошие врачи,— ответил Виктор Петрович.— Знающие, внимательные.

— Да, да,— неопределенно пробурчал Василий Васильевич. Его бесцветные глаза совсем поблекли.

Он помолчал, потом произнес:

— Вы тут, как я знаю, второй месяц. А не странно ли, что эти замечательные врачи не удосужились даже сделать вам просвечивание?

Виктор Петрович настороженно смутился:

— Ну, не знаю...

— Признаюсь, порядка тут мало,— Василий Васильевич встал с края кровати.— Я бы на вашем месте написал куда следует...

Виктор Петрович был ошарашен больше, чем после разговора с Западовым.

— Если вам хочется — пишите,— сказал он довольно резко.— А я...

— Ну зачем же так?! — воскликнул Василий Васильевич.— Я же в ваших интересах, в интересах больных...

Так, на полуслове, он вышел из палаты.

* * *

Случилось так, что в понедельник Виктор Петрович около часа проговорил с Верой Ивановной. Но говорили не о предстоящей операции, а совсем о другом.

У каждой кровати в отделении были наушники. Утром Виктор Петрович услышал странную передачу местного радио. В ней извещалось, что, согласно приказу, больным категорически запрещается курить. Родственникам также категорически запрещается передавать больным табачные изделия. Нарушившие приказ будут немедленно выписаны из больницы. Все это, дескать, делается в развитие приказа министра здравоохранения.

— Как это понимать? — спросил Виктор Петрович.

— Это еще не все,— горько усмехнулась Вера Ивановна.— В приказе говорится, что категорически запрещается курить и персоналу больницы. А те врачи, кто нарушит распоряже

ние, будут рассматриваться чуть ли не как аморальные люди...

— Бред какой-то! — произнес Виктор Петрович.

— К слову, приказ министра действительно есть, — объяснила Вера Ивановна. — Вполне разумный приказ. В нем говорится о необходимости усилить борьбу с курением, повысить разъяснительную работу среди больных, медперсонала и прочее. Все правильно! А вот наш Апенченко...

— А кто такой этот Апенченко? — поинтересовался Виктор Петрович.

— Наш новый главный врач. Весьма решительный молодой человек. Начал с того, что устроил проходную в больнице, поставил шлагбаум, повесил кирпич, учредил пропуска для персонала больницы. Потом уволил всех пенсионеров, включая опытнейших профессоров и прекрасных специалистов. Теперь вот курение! Что-то будет дальше?

— А сколько у вас больных в больнице? — спросил Виктор Петрович.

— Три тысячи.

— А персонала?

— Тоже три тысячи.

— Не много ли? — удивился Виктор Петрович.

— Нет, не много. В Японии, в Соединенных Штатах больше. А порядка все равно нет, — призналась Вера Ивановна. — Мы тратим на исследования больного двадцать — двадцать пять дней, когда можно четыре-пять.

— Вот бы чем заниматься вашему Апенченко, — думая о своем, сказал Виктор Петрович. И добавил: — И как же вы теперь курите?

— В рукав, — улыбнулась Вера Ивановна.

Они поговорили еще о чем-то, и наконец Виктор Петрович решился спросить:

— А как вам Василий Васильевич?

— Что ж, по-моему, знающий врач. И руки у него хорошие. Сделал уже несколько операций. Чисто!

Виктор Петрович подошел к окну, облокотился на подоконник. Во дворе было много гуляющих в застиранных пижамах и халатах. Они сидели и ходили группками, обмениваясь больничными новостями.

Ласково и лениво ветер трепал листву кленов, лип и дубов. Ярко зеленели трава и кустарник. Цветников и клумб в больнице не было, но среди травы белели редкие ромашки и лютики. Воздух пах липой и свежей травой.

* * *

Вечером Виктору Петровичу не дали ужина. Анестезиолог Римма Федоровна принесла таблетку:

— Выпейте на ночь. Будете лучше спать.

Он действительно уснул быстро и ни разу не вскакивал ночью покурить, как было прежде, а утром, когда проснулся, у кровати его уже стояла каталка. Спросонья он не сразу понял, что к чему, механически перебрался на каталку, и его повезли в операционную. Около операционной стояла Маша. Она молча улыбнулась своей доброй улыбкой, чуть махнула рукой. В операционной уже были Западов, Вера Ивановна, Людмила Аркадьевна, Римма Федоровна — все в марлевых повязках и в перчатках.

Его переложили на стол под огромный серебристый колпак, Римма Федоровна сделала укол в руку.

И он стал куда-то проваливаться.

— Могу ли я начинать операцию? Спит больной? — спросил Сергей Тимофеевич.

— Спит.

Последовали команды операционной сестре:

— Скальпель!

— Микуличи!

— Ножницы!

— Бильроты!

— Тупфер!

И вдруг у Сергея Тимофеевича вырвалось:

— Боже мой! Смотрите!

Все со спины заглянули в разрезанную полость живота.

Раздались возгласы удивления.

Западов справился с волнением, продолжал:

— Тампон!

— Отсос!

— Метровые салфетки!

— Дренаж!

Но Виктор Петрович всего этого не слышал.

* * *

В ординаторской шел спор.

Вера Ивановна доказывала Василию Васильевичу:

— Поймите, нельзя делать первичный анастомоз. Я же вам рассказала. Восемнадцатилетний мальчик. Гангрена сигмы. Мы наложили анастомоз бок в бок, а швы поползли.

— Надо было лучше шить,— не соглашался Василий Васильевич.

— Не в этом дело, поверьте. Все равно пришлось идти на вторичную операцию, а потом три месяца выхаживали. Две операции — не шутка.

— Так вы считаете, что и на фоне активного кровотече

ния можно делать операцию?— спросил Василий Васильевич.

— А что?— воскликнула Людмила Аркадьевна.— Помнишь, Вера, больную с профузным желудочным кровотечением? Оперировали на фоне кровотечения. Обнаружили язву на дальней стенке желудка. Прободение в селезенку. Язва проела селезеночную артерию. Еще думали тогда, не рак ли. Наложили на ножку селезенки зажим, остановили кровотечение. Потом удалили селезенку и язву. Спасли. Иначе бы...

— Кровотечение кровотечению рознь, конечно. Не забыли голландца? — вспомнила Вера Ивановна и, уже обратившись к Василию Васильевичу, объяснила: — Попал к нам голландский пивовар с кровотечением. Кстати, друг их посла в Москве. Нам жена посла и привезла его. Огромный толстяк. Кровь хлещет, а как пробраться через толщу жира и мяса, неизвестно. А резать вроде надо. Мы его на рентген. Язва в луковице. Стали готовить к операции, а тут кровотечение вдруг прекратилось. Это мы уж потом сообразили. Наелся бария, он и прикрыл язву, вот кровотечение и остановилось. А жена посла не отходит. У нас, говорит, самолет есть, в Амстердам, а там американский хирург-профессор. Я рискнула. Забирайте, говорю, больного. Только с условием. Как долетит, вы мне сообщите. Вечером позвонила: долетел, благополучно прооперирован. Я, конечно, весь день не своя была. Но иногда приходится рисковать.

— Я бы не отпустил,— сказал Василий Васильевич.— И вообще...

— Ну ладно,— перебила Вера Ивановна.— Вернемся к своим баранам. Что будем делать, Василий Васильевич? Вы настаиваете на гастроскопии?

— Настаиваю!

— А выдержит ли больной?

— Не знаю, но...

— У него же дикие боли,— напомнила Вера Ивановна.— Так как?

— Я бы оперировала немедленно,— сказала Людмила Аркадьевна.

— И я,— согласилась Римма Федоровна.— Нельзя тянуть. Больной может ночь не выдержать.

— Смотрите,— махнул рукой Василий Васильевич.— Я...

Случай действительно был тяжелый.

Больного привезли вчера. Молодой. Были в лесу. Собирали грибы, жарили, ели. Начались адовы боли в животе. Рентген показал странное образование в нижней половине легких. При чем тут легкое? И рвоты у больного нет. Значит, не отравление. Вместо легкого спунктировали желудок.

— Готовьте к операции,— Вера Ивановна встала.— И немедленно. Я сама прооперирую.

Василий Васильевич пожал плечами:
— Я предупредил...
Через полчаса больной был на операционном столе.
Наркоз.
— Скальпель!
Вскрыв полость живота, Вера Ивановна не поверила глазам своим. Желудок влез не только в плевральную полость, а прямо в плевру. Там была какая-то дырка. Ранение.
Вера Ивановна вытащила желудок, поставила па место.
Нашла дырку, зашила диафрагму.
— Дренаж!
Когда дренаж был наложен, пошли грибы, куски пищи.
Операция длилась около двух часов.
Изможденные вернулись в ординаторскую.
— Ну как? — поинтересовался Василий Васильевич.
— Все в порядке,— сказала Вера Ивановна.
Разговаривать не было сил.
Через час, когда оперированный проснулся после наркоза, Вера Ивановна узнала, что месяц назад у больного было ножевое ранение. Но рана зажила быстро...
— Да, ничего себе зажила,— улыбнулась Вера Ивановна.

* * *

Может, Виктор Петрович просыпался не раз, но окончательно пришел в себя лишь на третьи сутки. Сообразил, лежит в послеоперационной палате. Рядом Маша. Глаза усталые. Под глазами мешки и складки.
— Вы?
Она кивнула.
Поправила подушку, одеяло.
У него все болело. И лежит, кажется, в крови. Но под одеялом не видно.
— Закурить бы,— вспомнил он совет Западова.
Маша выбежала из палаты, скоро вернулась с сигаретой, мундштуком и спичками.
Сама зажгла спичку.
Он закашлялся.
— Осторожнее! — прошептала Маша.
Курить вроде не хотелось, и он отложил сигарету.
— Какое сегодня число?
Маша назвала.
— Значит, три дня?
— Ага.
— А вы?

— Я не уходила.

Ему было приятно, но выяснять подробности не хотелось.

Маша сказала:

— Я вас поздравляю! Вы вытащили лотерейный билет!

— Какой билет? — не понял он.

— Самый настоящий, лотерейный.

Потом с лотерейным билетом его поздравляли другие. Дежурная сестра (значит, Маша здесь не по графику?), Вера Ивановна, Людмила Аркадьевна, Римма Федоровна. Даже Василий Васильевич что-то пробурчал поздравительное.

Через час была перевязка. Сняли мокрые окровавленные бинты — вот почему ему казалось, что он лежит в крови,— перебинтовали в сухое. Все тело страшно ныло и болело. Казалось невозможным сделать хоть малейшее движение. Он лежал на спине. Под него подложили детский надувной круг.

— Чтобы не было пролежней,— объяснила Маша.

Он докурил сигарету. На сей раз уже с некоторым удовольствием. И опять задремал.

Проснулся вечером. Снова увидел Машу.

— Вы не уехали?

Она покачала головой.

— Да, а о каком лотерейном билете все говорят? — вспомнил он.

— Никакой опухоли у вас нет, даже самой малюсенькой,— радостно сказала Маша.— А была киста поджелудочной железы.

— И что же мне сделали?

— Вскрыли желудок и зашили. А потом вскрыли кисту и выпустили из нее жидкость.

Маша сияла, словно все это было ее рук дело.

— А кисту удалили?

— Нет, ее удалять нельзя. Она же на поджелудочной, а поджелудочную трогать нельзя.

— Понятно,— скааал он, хотя пока ничего не понял.

Спросил:

— Значит, вы так и не ездили домой?

Она покрутила головой.

Потом добавила:

— Звонила. Мама воюет с мальчишками.

Наутро, чуть свет, прибежал Сергей Тимофеевич:

— Ну как, братец, оклемался?

— Ничего,— Виктор Петрович спал хорошо, и боли поутихли.

— Покурим?

— Покурим.

Маша принесла Виктору Петровичу сигарету «Прима», а Сергей Тимофеевич достал неизменную свою «Новость».

Затянулись. Курилось уже легче.

Почему-то сейчас он вспомнил о приказе Апенченко. Рассказал Сергею Тимофеевичу. Тот посмеялся:

— Новатор!

Добавил:

— А я ведь к нему. На конференцию. Докладывать о вашем случае. Совершенно уникальном. На тысячу случаев панкреатита такое в лучшем случае бывает раз.

Они попрощались.

Сквозь затянутое марлей окно в палату проникали свежий воздух и аапахи улицы, деревьев, травы.

Через окно в палату попадал кусочек синего-синего неба и было видно далекое мутноватое солнце.

* * *

На общебольничной конференции, которую вел Апенченко, Сергей Тимофеевич подробно доложил об операции, сделанной Виктору Петровичу.

Апенченко был молод — около сорока, вальяжен, держался несколько снисходительно. В ладно скроенном светлом костюме под расстегнутым халатом, в безукоризненно чистой, накрахмаленной сорочке с широким ярко-красным галстуком в горошек и золотой булавкой на нем, он, чуть наклонив голову набок, казалось, внимательно слушал Западова. Лицо его, по-юношески светлое, розоватое, даже выражало некоторый интерес или, скорее всего, любопытство. И только глаза, немигающие, какие-то стеклянновидные, противоречили выражению лица. Словно это были глаза совсем другого человека.

В конце Западов добавил:

— Случай исключительно редкий. Рентген и гастроскопия показали значительную опухоль в желудке. А ато была киста размером с мою ладонь. Она прикрывала желудок и создавала полную иллюзию опухоли.

Посыпались вопросы:

— Брали ли биопсию?

— Нет, не брали.

— Как дренаж?

— Дренаж мы через несколько дней снимем.

— А швы?

— Швы дней через десять — двенадцать.

— Больше вопросов нет?

Западов откланялся.

Но стоило ему выйти, как Апенченко продолжил, в довольно резких тонах:

— Надо поломать, Вера Ивановна, эту систему приглашения варягов. Тем более что, видите, ваш Занадов способен допускать ошибки...

В голосе его зазвучали железные нотки. И сам он преобразился. Ни тени равнодушия, атакующий напор, даже какая-то злость появилась. Но это длилось минуту-две. Апенченко снова скис, будто устал, и превратился в человека внешне вялого, инертного, скучного.

— Я категорически не согласна с вами, Кирилл Романович,— встала Вера Ивановна.— Во-первых, «мой Западов», как вы говорите, один из крупнейших советских онкологов. Во-вторых, он хорошо знает данного больного. Вы в курсе дела. В-третьих, ошибку допустил не он, а наши рентгенологи и гастрологи. А главное, как вы не понимаете: радоваться надо, а не...

Апенченко, казалось, не слушал ее, а смотрел в окно. Смотрел внимательно, пристально. Что увидел он там? Дерущихся воробьев? Или больных, прохаживающихся по дорожкам? Или дальше, туда, где станция «скорой помощи», во дворе которой то и дело уезжали и приезжали санитарные машины и светлые рафики?

— Не знаю, чему тут радоваться,— повернулся Апенченко.— Надо уметь пользоваться своими силами. Кадры у нас достаточно квалифицированные. Что же касается вашего Западова,— слово «вашего» он произнес с особым нажимом,— то, насколько мне известно, даже не все врачи вашего отделения одобрили ваше решение.

«Кто же это?» — подумала Вера Ивановна и обвела глазами зал. Увидела Василия Васильевича. Он словно заметил и отвел глаза от нее.

«Неужели он?»

Впрочем, об этой конференции Виктор Петрович узнал много позже. Узнал от Маши.

— Вот вы какая популярная личность, Виктор Петрович! — под конец рассказа пошутила Маша.— Даже копья вокруг вас ломают.

* * *

Маша утаила только одно. Приказом по больнице Вере Ивановне был объявлен выговор. Фамилия профессора Западова в выговоре не фигурировала. Но формулировка была многозначительная: «За привлечение специалиста со стороны, что привело к ошибочному диагнозу и усложнило проведение операции...»

* * *

Пятые сутки. Виктор Петрович хорошо выспался, позавтракал, выкурил сигарету. Маша сегодня впервые за эти дни ночевала дома, и ему было чуть грустно. Он понимал, что это эгоизм, и все же...

Но в девять, когда Маша появилась в отделении, настроение у него сразу поднялось.

— Как дома? — поинтересовался он.

Она улыбнулась:

— Содом! Мама-то старенькая, и мальчишки ее совсем оседлали.

Часов до двенадцати все шло хорошо, но вдруг Виктор Петрович почувствовал холодную испарину на лбу. В ногах и руках появилась тягучая вялая слабость, потом они похолодели. Стало не хватать воздуха.

Маша побежала за врачами.

Вера Ивановна щупала пульс, Людмила Аркадьевна измерила давление.

— Кислород! — приказала Вера Ивановна.

Ему всунули в рот трубку, подключили кислородный аппарат.

Прибежал терапевт.

— Не коллапс сердечный? — спросила Людмила Аркадьевна.

Виктор Петрович продолжал тяжело дышать. К ногам его положили грелки.

— Не швы? — спросила Вера Ивановна и сама сняла одеяло.

— Ножницы!

Маша протянула ей ножницы.

Она быстро разрезала повязку:

— Нет, швы целы.

Только тут в палате появился Василий Васильевич.

— Не помочь?

— Нет,— сказала Вера Ивановна.— Прибавьте кислород.

Терапевт сделал какой-то укол.

Кажется, отлегло.

Виктор Петрович попробовал улыбнуться.

Спросил:

— Покурю?

— И я с вами,— согласилась Вера Ивановна.— Я стащу у вас сигаретку.

— В рукав? — пошутил он.

— Пока товарищ Апенченко не видит...

— Смотрите, а то уволит как несоответствующую моральному облику советского врача...— сказала Римма Федоровна.

У всех отлегло от сердца.

— С вами, Виктор Петрович, не соскучишься! — Людмила Аркадьевна с удовольствием затянулась.

— Все правильно,— Вера Ивановна потушила сигарету.— Пятые сутки. Считайте теперь, Виктор Петрович, что вы уже во втором измерении.

— А первое? — поинтересовался он.

— Первое — это все, что было до операции, и сама операция. Теперь дела пойдут на поправку.

Они разошлись.

— А вы в каком измерении? — спросил Виктор Петрович у Маши.

— Я? — Маша задумалась.

Потом, опустив глаза, совсем тихо сказала:

— А я в вашем...

* * *

Апенченко вызвал к себе Веру Ивановну.

«Что еще такое?» — подумала она.

Кирилл Романович имел все основания сердиться на нее. Она писала в горздравотдел, оспорила приказ. Приезжала комиссия. Приказ Апенченко пришлось отменить.

— Присаживайтесь, Вера Ивановна,— пригласил Апенченко.— Я слышал, что вы курите в отделении. Так ли это?

— От кого вы слышали, разрешите узнать? — вопросом на вопрос ответила Вера Ивановна.— По-моему, вы меня с сигаретой не видели.

— Это не имеет значения,— сказал Апенченко.— Вы знаете, что есть приказ.

Он смотрел в открытое окно.

«Что за дурацкая привычка не глядеть на собеседника,— раздражение Веры Ивановны стало расти.— И что он там видит?»

Взгляд Апенченко был пустым, ничего не выражающим.

Они сидели молча.

— Я, между прочим, курю с фронта, с войны,— первая начала Вера Ивановна.— Считайте, тридцать пять лет с хвостиком.

— Вы были на фронте? — Апенченко отвел взгляд от окна.

Она промолчала.

— Кем? — повторил он.

— Свои кадры надо знать,— не очень любезно ответила Вера Ивановна.— Я могу идти?

— Идите, но я все же вас прошу...

— Спасибо!

«Снова Василий Васильевич. Что ему надо?» — подумала она, выходя из кабинета главного.

* * *

Виктор Петрович проснулся рано. Еще не было семи. Свежий воздух приятно дул в открытое окно, пахло мокрой листвой и росой, вовсю гомонили птицы. Не только воробьи и вороны нашли приют в больничном парке, а и овсянки, дрозды и даже клесты, хотя хвойных деревьев здесь было не так уж много. Все они голосили по утрам на полные голоса, как в настоящем лесу. И совсем не боялись людей. А корма им здесь хватало вволю.

Когда пришла Маша, Виктор Петрович узнал, что в отделении ЧП. У Веры Ивановны вчера случился на работе инфаркт, ее отвезли в клинику Чазова.

— Как она сейчас? — спросил Виктор Петрович у Маши.

— Инфаркт правой стенки.

Обстановка в отделении была накалена до предела. С Василием Васильевичем перестали разговаривать.

Он не выдержал, побежал к Апенченко. О чем они там говорили, неизвестно, но вернулся Василий Васильевич успокоенным.

* * *

Виктор Петрович явно шел на поправку. У него вынули дренаж. На десятый день он вернулся в свою палату. Еще через два дня сняли швы.

Лето было в самом разгаре. За кронами деревьев уже почти не виднелись большие корпуса больницы, а на газонах шел сенокос. Траву стригли небольшими, громко тарахтящими ручными косилками и тут же собирали ее в маленькие стога. Свежескошенная трава пахла одурманивающе, и если закрыть глаза, то казалось, что ты находишься не в огромном городе, да ещё в больнице, а где-то в далеком-далеком поле.

Ходить Виктору Петровичу пока не разрешали, в перевязочную возили на каталке. Заставляли без конца надувать детские резиновые игрушки, чтобы не было застойных явлений.

Его навещали сослуживцы. Приходили и директор училища, и председатель месткома. Частенько заглядывали преподаватели и учащиеся старших групп.

Виктору Петровичу пришла в голову одна мысль, но, как подступиться к ее осуществлению, он пока не знал. Очень захотелось ему увидеть Машиных мальчишек. Он передавал им через нее маленькие подарки — яблоки, апельсины, шоколад — то, что ему

приносили сослуживцы (фруктов и сладкого Виктор Петрович не признавал), уже немного познакомился с ними заочно...

Попросить Машу привезти мальчишек в больницу?

Это не то.

И вот, кажется, он придумал.

— Машенька, а ваши мальчишки в Оружейной палате были? — спросил он как-то.

— Да что вы, Виктор Петрович! — воскликнула Маша.— Они у меня и в Кремле-то еще не были.

— А если я раздобуду билеты? На воскресенье?

— Ну, я даже и не знаю! — радостно воскликнула Маша.

Через сослуживцев Виктор Петрович достал три билета на очередное воскресенье.

Передал их Маше, сказал:

— Только с одним условием: после Кремля заедете ко мне. Хорошо?

И вот настало воскресенье. Виктор Петрович ждал его. Приготовил мальчишкам кое-что из своих припасов. Потом стал смотреть на часы: «Сейчас они собираются там, у себя в Пушкине... Вышли из дома на станцию... Сели в поезд... Приехали в Москву. От вокзала метро — на станцию «Проспект Маркса»...».

До обеда он как бы прослеживал их путь.

А в четыре часа они появились в палате. Двое белобрысых, очень похожих друг на друга мальчишек с чуть оттопыренными прозрачными ушами и Маша.

— Дядя Витя, спасибо!

— Спасибо, дядя Витя!

Валера был старше — лет на одиннадцать.

Митя младше — восемь-девять.

Валера молчун.

Митю за язык тянуть не надо.

— Ну садитесь, рассказывайте. Шапку Мономаха видели?

Оказалось, все видели, от всего в восторге — и от оружия, и от украшений, но больше всего им понравились старинные кареты, экипажи и пролетки. Даже серьезный Валера разговорился.

Сам Виктор Петрович уже давно был в Оружейной палате, но вспомнил: действительно, там есть и кареты, и экипажи, и пролетки.

Рассказали мальчишки и о Кремле. Видели Царь-пушку и Царь-колокол, памятник Ленину, а еще старые орудия и ядра к ним. Даже в соборах были, но это так, между прочим...

— Я сама-то с ними увлеклась,— призналась Маша.— Ведь я там тоже была в первый раз.

Митя посмотрел на лежащего Виктора Петровича и поинтересовался:

— Дядя Витя, а вы так и будете всегда лежать?

— Зачем же! — рассмеялся Виктор Петрович.— Вот поправлюсь, плясать буду. В гости к вам приеду! Примете?

— Ой, приезжайте! — сказал Митя.— У нас собака есть Клякса, как у Карандаша!

— Значит, договорились!

* * *

Над городом пронесся ураган с сухой грозой, поломал деревья и ветви, повыбил стекла в некоторых корпусах, сорвал крышу с сарая, где содержались собаки для опытов.

Сломанные деревья быстро убрали, спилили, выкорчевали оставшиеся пни, подмели больничный двор от веток и листьев.

Виктор Петрович каждый день интересовался самочувствием Веры Ивановны.

Судя по всему, дела у нее тоже шли на поправку. Из интенсивной терапии перевели в реабилитацию. Уже встает. Скоро поедет в санаторий, что в Подлипках.

— Теперь с инфарктами быстро расправляются,— сказала Людмила Аркадьевна. Она бывала у Веры Ивановны каждую неделю.

Через нее Виктор Петрович передал Вере Ивановне записочку — смешную и бодрую.

«Й не курите, пожалуйста, в рукав!» — так кончалась эта записочка.

В ответной Вера Ивановна писала:

«Курю в открытую. Правда, тут тоже с нами борются, но Апенченко, слава богу, нет».

Он обратил внимание на почерк Веры Ивановны. Он был какой-то удивительно детский.

Виктор Петрович начал потихоньку вставать. Сначала около постели, держась за спинку кровати. Потом с помощью коляски-манежа для ходьбы.

* * *

В отделении шла трудная операция. Перфоративная язва. Больной тридцать восемь. Язва давно. Но сейчас обострена, и женщину привезли в больницу с резкими болями, «острым» животом, рвотой и высокой температурой. Изменения в крови. Оперировала Людмила Аркадьевна, ассистировали Василий Васильевич и приглашенный

из реанимации Дамир Усманович — черноглазый и чернобровый башкир или татарин, человек веселого нрава и огромной работоспособности.

Римма Федоровна сделала больной укол, вставила интубационную трубку в трахею. Подключили капельницу.

— Больная спит? — спросила Людмила Аркадьевна.

— Спит.

— Скальпель!

Она рассекла кожу и подкожную клетчатку.

— Зажимы!

Ассистенты зажали кровоточащие сосуды.

Сестра-анестезист измеряла пульс и давление.

— Шов!

Операционная сестра подала шелк.

Ассистенты держали зажимы. Людмила Аркадьевна вязала.

— Пульс?

— Сто двадцать.

— Давление?

— Сто пятнадцать на семьдесят.

— Сушить!

Сестра подала тупфер.

Людмила Аркадьевна вскрыла брюшину.

— Крючки!

Сестра — крючки.

— Держать!

Людмила Аркадьевна стала искать место перфорации. Нашла быстро. Прободение из полости желудка в брюшную полость. Язва большая, старая.

— Сушить!

Сестра подала на зажиме салфетки.

Людмила Аркадьевна начала ушивать язву.

— Больная дышит,— заметила она. Это ей мешало.

Римма Федоровна увеличила дозу наркоза.

— Сейчас хорошо!

— Пенициллин!

Ввела в брюшную полость пенициллин.

— Дренаж!

Начала послойное ушивание.

Дренаж пришлось оставить.

Операция закончилась. И, кажется, благополучно.

Но к вечеру у больной резко повысилась температура, усилились боли. Появились явные признаки перитонита. Увеличили дозу антибиотиков. Поставили капельницу. Дежурный врач делал внутривенные вливания. Ночью улучшения не наступило.

Утром Людмила Аркадьевна сразу пошла в послеоперационную палату:

— Как?

Дежурила Маша.

— Все так же.

Попробовала живот. Плохой.

— Температура?

— Сорок один.

Пульс сто сорок. Измерила давление:

— Семьдесят на пятьдесят.

Подумала: «Что-то тут не так».

Решили сделать еще одну операцию. Острый холецистит. Удаление желчного пузыря.

Когда вернулись, Маша развела руками:

— Только что...

Через два часа ее отвезли в морг. Людмила Аркадьевна писала заключение. Все для нее было неясно. И возраст больной — тридцать восемь — не возраст. Если бы не застарелая язва, молодая здоровая женщина.

На следующее утро они пришли на вскрытие. Патологоанатом нашел на задней стенке желудка старую язву, прикрытую сальником.

— Как же я не заметила?— поражалась Людмила Аркадьевна.

— Такую заметить трудно,— сказал патологоанатом.

Настроение было мрачное.

«А тут еще Василий Васильевич мне ассистировал,— думала она.— Снова Апенченко...»

Она вернулась в отделение, рассказала о результатах вскрытия Римме Федоровне.

— А на Апенченко плевать,— Римма Федоровна пыталась утешать.— Да и не будет он, раз его Василий Васильевич...

— Да не это меня волнует,— призналась Людмила Аркадьевна.— А явная моя ошибка.

Она пошла на обход.

— На вас лица нет,— сказал, увидя ее, Виктор Петрович.— Что-нибудь случилось?

О смерти, конечно, в отделении знали все, но Виктор Петрович как-то не связал одно с другим.

Людмила Аркадьевна промолчала.

* * *

Бюро прогнозов предсказывало в августе жару, но погода решила по-своему. Неожиданно похолодало, зачастили дожди и грозы, люди надели плащи, вооружились зонтиками.

Виктора Петровича даже радовала такая погода. Не стало изнуряющей жары и духоты, которая особенно тяжело переносится в четырех стенах больницы.

Все шло хорошо.

И вдруг...

Виктор Петрович уже выходил в коридор, или на Язвуштрассе, как тут называли его больные. Первый и второй этажи, где находилась терапия, наименовали Инфарктштрассе, а третий — Язва.

Вечером Виктор Петрович часто присаживался к телевизору — посмотреть программу «Время».

И в этот вечер он смотрел «Время», когда почувствовал, что с левой стороны у него что-то подтекает. Вернулся в палату, разделся.

Из свища текла какая-то жидкость.

Он вытер ее, лег и стал выжидать. Жидкость продолжала течь, и к ночи кожа вокруг свища покраснела и воспалилась.

Что делать?

Он вызвал сестру, показал.

— Открылся свищ,— сказала она.

Смазала это место пастой Лассара. Сделала наклейку. К утру паста исчезла, а кожа опять воспалилась.

Пришла Людмила Аркадьевна:

— Да, действительно свищ открылся.

— А что это за жидкость течет? — поинтересовался Виктор Петрович.— Ядовитая, страсть!

— Панкреатическая жидкость,— объяснила Людмила Аркадьевна.— Ядовитая, верно. Она помогает организму переваривать пищу.

Снова толстым слоем наложили пасту Лассара. Сделали круговую повязку.

— Придется вызвать профессора Западова,— сказала Людмила Аркадьевна.— Надо посоветоваться.

— А как же ваш Апенченко? — поинтересовался Виктор Петрович.

— А что Апенченко! — махнула рукой Людмила Аркадьевна. В принципиальность Апенченко она теперь окончательно не верила. После смертельного случая с перфоративной язвой, где действительно была допущена врачебная ошибка, на месте Апенченко она отреагировала бы либо взысканием, либо осуждением на общебольничной конференции. А он сделал вид, что ничего не произошло, и, видимо, только потому, что ассистировал при операции Василий Васильевич. Довел Веру Ивановну до инфаркта.

— Будем вызывать Западова! — решительно заключила она.

А Виктору Петровичу теперь приходилось по четыре-пять раз в сутки делать перевязки, накладывать пасту Лассара. Панкреатический сок сжирал ее за три-четыре часа, и снова начиналось адово жжение.

* * *

— Что ж это вы, братец? А ну-ка, покажите! — Сергей Тимофеевич, не вынимая изо рта сигареты, осматривал свищ.— Так, так...

Потом замолчал, задумался.

— Во-первых, придется вставлять дренаж,— сказал он.— А во-вторых, братец, скажу вам, раз свищ не закрылся, придется с этим дренажем пожить годик-другой...

— Но как же! — воскликнул Виктор Петрович.— И почему так долго? Это же...

— Люди живут,— пояснил Сергей Тимофеевич.— Знаменитого Бочкина знаете, строителя электростанций? Семнадцать лет живет с дренажем, трудится. Есть и другие случаи. А сформируются протоки, я сделаю вам операцию пересадки свища. Но для этого нужно время.

Перспектива была кошмарной. Как работа? Как учебник, который он пишет? Как, наконец...

— И это все вне больницы? — спросил он.

— Конечно, братец. Будете трудиться и жить, как все люди. Я говорю, годик-другой. А там сделаю вторую операцию. Да, а когда я поставлю дренаж,— обратился он к Людмиле Аркадьевне,— то надо ежедневно замерять количество сока, который поступает через свищ... А вставить дренаж дело, между прочим, минутное,— сказал он Виктору Петровичу.

— Только, если можно,— попросил Виктор Петрович,— под общим наркозом!

— Почему? Тут и местный вполне годится. Говорю же, минутное дело.

— Я... я боюсь местного наркоза,— признался Виктор Петрович.— Не могу, чтобы видеть все...

— Не ожидал, братец! — воскликнул Сергей Тимофеевич.— Такой мужественный человек, и вдруг «боюсь». Впрочем, ладно! Давайте под общим, раз вы просите. Раушнаркоз. Закись азота. А теперь прикинем, когда...

* * *

Все повторяется. С той лишь разницей, что накануне этой операции ему не промывали желудок и разрешили поужинать. Римма Федоровна принесла таблетку:

— На ночь!

Он спал спокойно. Утром его уже, как и в прошлый раз, ждала каталка. Он перебрался на нее, и его повезли в операционную.

Возле операционной его поджидала Маша. Ободряюще улыбнулась.

Он отвернулся.

Ему сделалось стыдно: «Развалина. А тут еще этот дренаж...»

Сергей Тимофеевич был в операционной.

Виктору Петровичу приложили к лицу большую резиновую маску.

Через минуту-другую Сергей Тимофеевич задал обычный вопрос:

— Больной спит?

— Я не сплю,— сказал Виктор Петрович. У него было ощущение, что он выпил лишку, но сон к нему не приходил.

— Дайте обычный наркоз,— сказал Сергей Тимофеевич.

Римма Федоровна сделала укол в руку.

Он проснулся в своей палате.

Рядом сидела Маша.

— И сколько это длилось, Машенька?

— Ровно двадцать минут.

— А Сергей Тимофеевич уехал?

— Сразу же.

Он ощупал себя под одеялом. Плотная повязка. Слева торчит резиновая трубка, к ней привязан пузырек.

* * *

Первые три дня все было ничего. На четвертый, в ночь, начало что-то подтекать.

Дежурил Дамир Усманович:

— В перевязочную!

Пошли в перевязочную, Виктор Петрович забрался на стол, разрезали бинты.

— Выскочил,— сказал Дамир Усманович.— Что будем делать?

— Вставлять! Надо как-то вставить! — попросил Виктор Петрович.

— Попробуем. Дайте-ка мне вазелиновое масло,— обратился он к сестре. Виктору Петровичу сказал: — Терпите!

Виктор Петрович терпел. Дамир Усманович довольно долго колдовал с дренажем.

— Готово! О'кэй!

— Уже? — удивился Виктор Петрович. Было больно, но не очень.

Смазали вокруг кожу пастой, забинтовали.

Стараясь дышать очень осторожно (вдруг опять выскочит!), Виктор Петрович медленно направился в палату. Посмотрел на часы: четверть четвертого.

С той ночи и началось. То дренаж выскакивал совсем, то панкреатический сок разъедал резину. Дренаж приходилось менять постоянно. Кроме того, без конца падал пузырек. Нашли наконец подходящий — плоский, из-под сувенирного коньяка, но он оказался слишком большим.

Не проходило дня, а то и ночи, чтобы не меняли дренаж. Кожа вокруг была все время воспаленной, и очень жгло.

Кто-то из сослуживцев Виктора Петровича узнал, что на медицинской кафедре Университета имени Патриса Лумумбы есть профессор Александров — крупный специалист в области панкреатитов.

Проконсультировались у него, директор ПТУ подогнал машину к шестнадцати тридцати, когда врачи разошлись по домам, поехали в больницу, где врачевал Александров.

Войдя к профессору, Виктор Петрович прежде всего попросил:

— Только мне хотелось бы, чтобы о моем визите к вам не знал профессор Западов, и я...

— Чепуха! — сказал Александров. — Это не первый случай, когда пациенты Западова попадают ко мне.

От него сильно попахивало спиртным. Он смотрел Виктора Петровича недолго, потом предложил:

— Ложитесь ко мне, я вас прооперирую.

— Но ведь поджелудочную, кажется, не оперируют, — заикнулся Виктор Петрович.

— Другие не оперируют, а я оперирую. У меня уже более восьмидесяти успешных операций.

— Спасибо, я подумаю, — сказал Виктор Петрович и поспешил выйти из кабинета.

Александров ему категорически не понравился. Начиная с разговора о Западове и кончая своей самоуверенностью.

«Восемьдесят успешных, а сколько не успешных?» — подумал Виктор Петрович.

Он ехал к себе в больницу по людным, почти осенним улицам Москвы. Выгорела трава на газонах. Пожелтели листья на деревьях. Тротуары, правда еще не густо, устилала сухая листва. Было прохладно.

Несколько дней спустя Виктор Петрович вспомнил слова Сергея

Тимофеевича о знаменитом гидростроителе Бочкине. Сослуживцы разыскали его по телефону в Иркутске.

Он объяснил, что не пошел на повторную операцию из-за возраста, да еще и потому, что как-то привык к дренажу. А дренаж у него сделан из велосипедного ниппеля...

Как-то зашел Дамир Усманович. Ему уже не раз приходилось вставлять дренаж Виктору Петровичу по ночам.

— Я вот что подумал,— начал Дамир Усманович.— Есть у меня приятель, работает в конструкторском бюро Туполева. Может, посоветуемся? Они там мастера на всякие штуки.

Дамир Усманович привел к Виктору Петровичу своего приятеля.

Маленький забавный человек с непропорционально большой яйцевидной головой и квадратным пенсне, которое без конца сползало на крупный, задранный крючком кверху нос.

Узнав, что к чему, приятель вызвался выполнить необычный заказ. Взял бумагу, стал чертить различные варианты дренажа. Сошлись на одном: надо прикрепить резиновое кольцо. Оно будет плотно прилегать к телу и держать дренаж. С помощью бинтов, конечно.

Попутно Виктор Петрович узнал, что у Дамира Усмановича и его приятеля есть одна общая страсть, хобби, что ли: увлекаются виолончелью. Да, оба любители-виолончелисты. На этой почве и познакомились и подружились.

Они не пропускают ни одного концерта с участием знаменитых и подающих надежды виолончелистов.

— Между прочим,— игриво заметил Дамир Усманович,— мы в концертах часто встречаемся с вашей Машенькой...

Виктор Петрович смутился.

В мастерских КБ сделали дренаж. Сам Дамир Усманович взялся его вставить. Вроде получилось.

Но на пятые сутки опять панкреатический сок разъел и дренаж и само кольцо. Опять все начиналось сначала.

Так прошел сентябрь, октябрь и ноябрь. За окном уже вовсю хозяйничала зима.

А Виктор Петрович продолжал воевать с дренажами.

Все это было мучительно, но почему-то больше всего Виктор Петрович смущался Маши. Развалина, совсем развалина!

Из санатория вернулась. Вера Ивановна, помолодевшая какая-то, посветлевшая.

Вера Ивановна в первый же день осмотрела Виктора Петровича на перевязке. Сказала:

— Это, конечно, все на соплях сделано. Надо что-то придумать!

И придумала:

— А что, если попробовать медицинский бандаж?

Сослуживцы достали ему бандаж самый лучший, чешский. Широкий брезентовый пояс с кармашком для пузырька.

Продырявили дырку для дренажа.

Виктор Петрович надел бандаж.

— Удобно?

— Вроде удобно.

Первые дни все было прекрасно, но потом панкреатический сок съел дренаж. В бандаже вокруг дренажа образовалась дырка...

А время шло. Скоро уже шесть месяцев, как он в больнице. Надо или выписываться, или проситься на пенсию...

* * *

Стоял декабрь. Погода барахлила. То мороз, то оттепели. То капель с крыш, то метель и пурга. К двадцатым числам начались обильные снегопады. Снег валил ночью и днем. Улицы расчищать не успевали. Больничный двор пересекли десятки узеньких тропинок. Машины буксовали.

Однажды утром Виктор Петрович проснулся почему-то в хорошем настроении. Пощупал повязку — не промокла: ни жжения, ни болей.

Пришла Маша, как всегда, первой.

Он похвалился перед ней, спросил:

— А если не делать перевязку, раз все спокойно.

— Конечно,— согласилась она.

Так было и на следующий день. И еще на следующий.

Наконец повязку сняли. Дренаж лежал рядом со свищом. Свищ закрылся.

Не может быть! Нет, точно, закрылся!

Утром примчался Западов.

Осмотрел Виктора Петровича.

— Ну, братец,— сказал,— вы меня удивляете. Вторая ошибка с вами!

— Почаще бы такие ошибки,— сказала Вера Ивановна.

— Закурим? — спросил Сергей Тимофеевич.

И они, довольные, втроем закурили: Сергей Тимофеевич, Вера Ивановна и Виктор Петрович.

Утром Маша робко спросила:

— Виктор Петрович, а Новый год где вы будете встречать?

— Не знаю даже,— признался Виктор Петрович.

— Я почему...— сказала Маша.— А то, может, к нам приедете?

Он не поверил своим ушам.

— К вам? Да я с огромным удовольствием. Вы даже не представляете!

* * *

Его выписали за три дня до Нового года. От машины, которую ему предложил директор училища, он отказался:

— Нет, нет! Хочу сам пешочком!

Он вышел за ворота больницы и направился к Ленинградскому проспекту. Было прохладно, и он с удовольствием глотал свежий зимний воздух. В лицо били хлопья снега. Мимо бежали люди, все куда-то торопились, многие несли елки.

А он шел не спеша, словно впервые попал в этот огромный, суетливый город, и наслаждался всем, что окружало его: домами, машинами, людьми, снегом.

Может, и правда, он был сейчас во втором измерении?

ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА

Наш Девяткин переулок был ничем не знаменит. С одной стороны, на углу Покровки, булочная, где мы получали хлеб по карточкам на сутки вперед. Другим концом Девяткин упирался в более интересный Сверчков переулок. Там находился трест «Арарат», из подвалов которого вкусно пахло вином. Его привозили и увозили в бочках огромные ломовики. Там же стоял сулимовский особняк, названный в честь председателя Совнаркома РСФСР. В саду мы собирали желуди, до войны просто так, а в войну они шли в дело — варили кофе.

Там была и наша школа.

Но именно наше домоуправление в Девяткином переулке отличилось первым. В июле сорок первого, когда начались налеты на Москву, оно объявило набор в добровольную пожарную дружину. В других соседних переулках таких дружин не было.

В Красную Армию нас по возрасту не брали, и потому мы с радостью записались в эту дружину. Все — мальчишки и девчонки в возрасте четырнадцати — шестнадцати лет. Днем мы работали кто где. Я делал, например, петушки для автоматов в некогда мирной мастерской по производству замков, ну а по вечерам мы выходили на дежурство.

Нам выдали противогазы, каски, брезентовые варежки без пальцев и железные щипцы, а к зиме и телогрейки. Командиром нашим был сантехник дядя Костя, которого не взяли в армию по причине одноглазия. Глаз он потерял на финской.

* * *

Ирина. Ира. Ирочка. Она тоже была с нами в дружине, и это главное. Мы с Ирочкой считались женихом и невестой. С далекого детства. По крайней мере, с тех пор как в начале тридцатых переeха-

ли в Девяткин после взрыва храма Христа Спасителя. Мы жили в одной огромной коммунальной квартире, только в разных концах коридора. Ира была старше меня на два года, но это не мешало нам играть вместе. Сначала после школы перестукивались по батареям (мы придумали свою азбуку), а потом собирались в ее или моей комнате. Родители наши находились на работе, и нам никто не мешал. Сначала играли поодиночке — она в куклы, я в машины, позже наши игры как-то соединились. Помню, мы даже играли в пап и мам.

Мы ходили в кино, смотрели «Петер», «Кукарачу» и «Трех поросят», картины с Диной Дурбин, в которую я был тайно влюблен. Ездили на ВСХВ и в Парк культуры, где катались на «чертовом колесе» и прыгали с парашютной вышки. Сначала Ира боялась прыгать, поднималась на вышку и опять спускалась, жалея, что зря пропал билет, но потом однажды решилась. И после этого прыгала уже с удовольствием. Ира была странной девочкой, но этим она еще больше нравилась мне и тайно влекла меня.

Однажды она предложила:

— Давай полежим на постели, как настоящие муж и жена. Только смотри, чтобы ничего не было.

Мне было лет двенадцать, и я не знал, что между нами может быть. И охотно согласился.

Мы залезли одетые на постель Ириных родителей и торжественно замерли.

— Только ничего-ничего,— повторила Ира.

— Конечно, ничего.

Так повторялось много раз.

Мы лежали и мечтали о нашей совместной жизни, и Ира говорила, что у нас будет много-много детей, и все девочки, и мы будем отправлять их на лето в Артек. Мы представляли себе Артек, в котором и сами не были, и нам все это очень нравилось.

Года через два Ира предложила:

— Давай разденемся и ляжем под одеяло. Только смотри, чтобы ничего не было.

Тогда я уже знал приблизительно, что может быть в подобных случаях, и мне этого, честно говоря, хотелось, но я конечно же пообещал Ире:

— Хорошо.

— Я первая, ты потом,— сказала Ира.

Она отвернулась от меня, скинула все до нижней рубашки и нырнула под одеяло:

— Теперь ты.

Я робко разделся до трусиков и тоже полез под одеяло.

— Только, чур, близко не прижиматься! — сказала Ира.

Я не знал, что такое близко — не близко, бросился к Ириному лицу и стал целовать ее.

Она не противилась, но без конца повторяла:

— Только больше ничего!

И вдруг:

— Положи мне руку на грудь.

Это было совсем нестерпимо.

Но я положил руку на ее чуть заметную грудь.

— Хорошо,— вздохнула она.

* * *

Война быстро сделала нас взрослыми. Мы встречались все реже. Ира училась где-то на зубного техника. Я работал сначала учеником слесаря, а потом получил разряд. Работать приходилось по полторы-две смены с шести утра, и освобождался я только вечером. Зато вечер и ночь — наша пора. Мы собирались в домоуправлении, в красном уголке, изучали комплексы ПВХО и ГСО, а главное, силуэты немецких самолетов. Все «мессеры», «хейнкели», «фокке-вульфы» были нами обсосаны до косточек, но видеть их и угадывать в ночном небе нам не доводилось. В июле и августе налетов на Москву было мало, а в сентябре и октябре, когда они усилились, было не до этого. Тут только успевай справляться с немецкими зажигалками да увиливать от града осколков наших зенитных снарядов.

В дружине нашей насчитывалось около тридцати человек. Были и взрослые, но они дежурили, когда имели свободное время.

Вечером жильцы спускались обычно в подвалы — в бомбоубежища, а те, что с детьми, уходили ночевать на станцию метро «Дзержинская». Правда, «Кировская» была глубже и ближе к нам, но она была закрыта: там жил и работал Сталин.

Мы начинали вечер с проверки светомаскировки в четырех подопечных домах (двух двухэтажных, трех- и четырехэтажном), а потом уже забирались на крыши. Чердаки мы вычистили и посыпали песком еще летом, когда налетов было мало.

В мою группу, кроме Иры, входило еще пять человек, среди них мой лучший друг по довоенным временам — Коля Лясковский. У Коли был фотоаппарат, что являлось редкостью в ту пору, и он часто фотографировал меня во дворе и на Чистых прудах (на фоне цыгана с медведем), а однажды даже у знаменитой церкви в конце Маросейки — начале Покровки, история которой была связана с именем Богдана Хмельницкого, но чем и как — я не знал. Я же часто давал Коле свои книги, некоторые без возврата. Я владел довольно приличной библиотекой, оставшейся от дедушки. Признаюсь, что некоторые книжки из нее я тайно от родителей сдавал

до войяы в букинистический, чтобы иметь деньги на мороженое и конфеты для Иры.

Дежурили мы чаще всего яа крыше нашего четырехэтажиого дома. Я не мог наглядеться на Иру. Мне хотелось постояяио видеть ее, быть рядом, я любовался ею, когда ояа, разгоряченная, ловко орудовала с зажигалками. Это было прекрасно! В минуту отбоя мы часто забегали в яашу пустую квартиру, и я пытался поцеловать ее, но она мягко отстраиялась и повторяла:

— Не ядо! Сейчас яе иадо!

* * *

Обычно я не спускался в бомбоубежище и вообще ни разу яе был там, по вот как-то узнал, что нас должны переселить вниз (об этом сказал дядя Костя), и я решил сбегать к маме.

Я спустился в подвал. Там было очень сухо, душно и людно. По стенам тянулись толстые трубы, видимо, от котельной.

Маму я нашел быстро.

— Нас переселять собираются,— выпалил я.— В первые этажи.

Она заволновалась:

— А как же вещи?

— Возьмем самое нужное, а остальное оставим. Ведь войиа все равяо скоро кончится.

Тогда мы верили в быстрый кояец войпы.

Мама у меня была совсем еще молодая, как я понимаю сейчас, но в то время она мне казалась старой или, вернее, очень-очень взрослой. Ояа работала бухгалтером в Наркомтяжпроме на площади Ногииа, и я часто писал по ее просьбе заметки в их стенгазету, а дважды даже в многотиражку «Штаб индустрии».

А однажды (по тем временам это был необыкновенный случай), к Восемнадцатому съезду партии, меня яаградили коробкой трюфелей.

Я отдал конфеты Ире, и оиа никак не могла поиять:

— Откуда такие дорогие?

— Сам заработал,— с гордостью отвечал я.

...В конце октября, когда бомбежки усилились, иас действительно переселили. Мы с Ирой попали в разяые квартиры.

* * *

Какой же она была тогда? Наверяое, ничего особениого. Девчонка как девчонка. Ростом чуть иижe меня, длиняого. Лицо круглое, и, хотя все поотощали тогда на скудных воеяных харчах, ояо у нее оставалось круглым. Нос чуть курносый. Серые, задумчивые глаза,

а движения порывисты. Губы пухлые, большие и очень розовые. Волосы светлые, расчесанные на пробор, но на лбу небольшая челка. И очень сильные, упругие, пружинистые ноги.

Она была первая для меня и самая неповторимая!

Я толком не знал, как делается татуировка, и посоветоваться было не с кем, но я знал, что с Ирой у нас все навечно.

И я взял иголку, синюю тушь и долго мучительно колол себе на запястье, заливая проколотое тушью. Получилась солидная буква «И».

На большее меня не хватило.

* * *

Я никогда не отличался особой наблюдательностью, да и в людях разбирался плохо, за что мне и по сей день достается, но тогда, в октябре, мне показалось, что Ира стала ко мне относиться как-то иначе. Может, и не иначе, но что-то переменилось в ней. Мы уже не забегали во время дежурств в нашу опустелую квартиру, чтобы хоть минуту побыть вдвоем. И, конечно, не целовались. На занятиях в красном уголке и во время дежурств на крыше мы все реже и реже оказывались рядом. Как-то я не выдержал и написал Ире записку. Почему-то писать всегда легче, чем спрашивать, глядя в глаза. «Что случилось? — писал я.— Почему ты на меня не смотришь?» Но она на записку не ответила. Сделала вид, что ее просто не было.

Вот и сегодня.

Тревогу объявили рано, в начале седьмого. Жители дома поползли в бомбоубежище, а мы заняли свои места на крыше. Я с Колей оказался на одной стороне, Ира и еще один парень на другой, а посредине крыши была семиклассница Зина Невзорова, самая крупная среди нас. Бывает же такое: лет меньше всех, а фигурой геркулес.

Как всегда, в начале тревоги было очень тихо. Где-то вдали полыхали зарницы, а над нами висело почти мирное небо, изредка пронизываемое лучами прожекторов. Справа, в районе Чистых прудов, колыхались аэростаты воздушного заграждения — три слонообразные фигуры.

Через час начался отбой, но ненадолго. Мы не успели даже спуститься вниз.

Все вокруг загрохотало. С земли били зенитки, а с крыш трассирующими зенитные пулеметы. На наших крышах пулеметов не было. Самые ближние в Армянском, Потаповском и на улице Кирова.

Три луча прожекторов выхватили в небе силуэтик вражеского самолета, и он, ослепленный, заметался в облаках. Но лучи прочно уцепились в него и повели куда-то за город.

До двенадцати ночи было еще две тревоги, но потом объявили

длительную, наверное до рассвета, хотя вокруг было относительно тихо.

Подошла Ира и, кажется впервые за много дней, обратилась ко мне:

— Ты побудешь?

— А что делать! Побуду! — сказал я.

— Тогда пойдем, Коля, спустимся,— предложила она Лясковскому.

— Пойдем,— согласился он.

— Мы ненадолго,— бросила она уже от чердачного окна.

А у меня на душе скребли кошки.

* * *

Так прошли октябрь, ноябрь и начало декабря. Немцев уже разгромили под Москвой, но налеты продолжались и становились все более мощными. К городу, как правило, прорывались два-три самолета, но чаще это было у нас, в центре. За эти месяцы случались и бомбежки, довольно сильные, но зажигалок хватало. Только на счету нашей пятерки их числилось больше пятидесяти. А по всему Девяткину! А по соседним!

Декабрь стоял лютый, и мы порядком мерзли на крышах. Все чаще бегали греться домой, но и там было не сладко. Отопление не работало, а печка «буржуйка», которую мы поставили с мамой, пожирала последнюю мебель и даже книги. Я согревался только на работе.

На крыше во время дежурства, несмотря на мороз, все время страшно хотелось спать. Спали мы мало, по три-четыре часа, не больше. Часто сразу после дежурства я бежал на работу, а после смены через час-другой в красный уголок на занятия. А после занятий опять дежурство. И признаюсь, если раньше они мне были в радость — повод лишний раз встретиться с Ирой, то сейчас я относился к ним как-то механически. Надо так надо. Если раньше я на дежурство шел с большей радостью, чем на работу, то теперь наоборот. На работе я чувствовал себя нужным (все-таки детали для автоматов делаем), а тут, на дежурстве, ежедневно видеть равнодушную, отдалившуюся от меня Иру. И гадать и думать, что же происходит. Писать записки я ей больше уже не решался, а спрашивать... Что я мог спросить?

Выяснилось все само собой.

Однажды после занятий в красном уголке ко мне подошел Коля Лясковский и предложил:

— Давай пройдемся!

Я даже обрадовался. В последнее время мы мало общались. Я, кстати, не знал, где он работает.

— Давай! — с радостью согласился я.

Мы вышли в переулок и пошли по заснеженному тротуару в сторону Покровки.

— Коль, а где ты работаешь? — спросил я.

— В лаборатории «Вторчермет»,— сказал он.— Пулеметы делаем.

— А мы автоматы. Вернее, детали к ним,— похвалился я.— Мы...

— Я не о том,— перебил меня Коля.— Ты чего это так на Ирку смотришь?

— Как? — не понял я.

— Ну влюбленно, что ли...

Я не знал, что сказать.

— Хотя мы и друзья,— сказал Лясковский,— тем более. Смотри у меня! Если приставать будешь, я...

— А я и не пристаю вовсе,— глупо оправдывался я.

— У нас с Иркой все очень серьезно,— продолжал Коля,— и ты, пожалуйста, в наши отношения не лезь.

— Я и не собираюсь,— опять почему-то начал оправдываться я, а сам думал о страшной женской измене, на которую настоящие мужчины, конечно, никогда не способны. Зачем же тогда все это: «Давай ляжем! Положи мне руку на грудь!»? А теперь...

* * *

В середине декабря морозы усилились, и дежурить стало совсем трудно. Мы все чаще прятались на чердаке, где было не так холодно, да и ветра не чувствовалось. Чердак мы совсем привели в порядок. Все стропила были покрыты огнеупорной краской. Под ногами приятно хрустел свежий песок. Кошками теперь не пахло. То ли от морозов, то ли еще почему, но все московские кошки куда-то исчезли.

Город лежал в завалах снега. Улицы давно не убирались, пешеходов мало, трамваи и троллейбусы ходили редко. Только еще в метро чувствовалась жизнь, да на улицах, когда проходили воинские колонны — грузовики, танки, сани, пешие лыжники в маскхалатах. Перекрестки были перегорожены баррикадами и ежами. Между ними и пробирались колонны военных и по-довоенному мирные, покрытые инеем трамваи и троллейбусы.

В эту ночь тревоги объявлялись одна за другой, и пятая, после двенадцати, оказалась особенно страшной. Поначалу все было относительно тихо, даже зенитки не стреляли и в небе не рыскали прожектора, но вдруг совсем низко в хмуром ночном небе послышался рев самолетов. Чувствовалось, что это тяжелый самолет, не истребитель, хотя его и не было видно. И вдруг вниз полетели зажигалки — так много, как никогда. Многие падали прямо на улицу,

на мостовую, но не меньше уже пыхтело и шипело на крышах — и слева, и справа, и спереди, и сзади.

У нас на крыше горело не меньше десяти, и мы не только щипцами, но и прямо ногами сбрасывали их на землю!

— Сюда! — кричала нерасторопная Зина Невзорова. Она оказалась одна посреди крыши, и вокруг нее горели четыре зажигалки. И щипцы у нее, как назло, заело.

Первым к ней бросился Коля. И, дико браня Зину, ногой выбил из-под нее вовсю горевшую зажигалку.

— Сама сгоришь, дура! — крикнул он.

Подбежал и я, прихватив щипцами и скинув с крыши еще две зажигалки.

— Ой, спасли, мальчики! Ой, спасибочки! — бубнила Зина.

А на соседней крыше двухэтажного дома горели три зажигалки, и там почему-то никого не было.

— Побежали туда! — крикнула Ира, и мы бросились за ней.

Когда поднялись по пожарной лестнице на крышу, под зажигалками уже горела краска железа.

Хорошо, что на чердаке оказалась полузамерзшая вода. Зажигалки затоптали прямо ногами (увы, мои последние ботинки приказали долго жить) и залили водой со льдом.

Вернулись к себе на крышу все, кроме Лясковского. Он пошел с докладом к дяде Косте. До утра было тихо.

* * *

Это случилось под Новый, сорок второй год.

Я пришел с работы, как всегда, усталый и сразу же завалился спать. До семи было еще два часа. Не успел, кажется, уснуть, как чувствую, меня будят, трясут.

— Вставай же скорей, соня!

Открыл глаза и вижу дядю Костю, а рядом с ним Зину Невзорову.

— Слышишь? — говорит дядя Костя.

— Что?

— Тишь-то какая,— поясняет он.— А времени сколько?

— Не знаю.

— В том-то и дело, что четверть девятого, а еще ни одной тревоги не объявляли.

Только тут я сообразил, сколько проспал. И такого действительно еще не было. Пятнадцать минут девятого, а ни одной тревоги.

— Давай вставай — и все по постам.

Я быстро собрался, а когда через черный ход и чердак вылез на крышу, там уже ждали Ира и Коля. Они о чем-то противно ворковали, как два голубка. За мной пришла и Зина.

Минут через двадцать обънвили тревогу. Где-то вдали ухали зенитки да прожектора прорезали мутное небо...

Но вскоре стрельба зениток стала ближе, и, хотя вражеских самолетов не было видно, небо над нами полыхало от выстрелов и трассирующих пуль. На крышу без конца падали осколки зенитных снарндов.

И вдруг оглушительный, страшный вой, совсем рндом с нами, кто-то закричал «ложись!», и мы грохнулись плашмя на мерзлое железо.

Слева что-то ударило, дом вздрогнул, и н увидел, как в небо взвилсн столб дыма с огнем.

И неожиданно все затихло.

Мы медленно поднялись.

— Где Колн? — первой выкрикнула Ира.

Коли действительно рндом не было.

— Может, он на чердаке? — неуверенно произнесла Зина.

Мы облазили чердак, никого не нашли и кубарем скатились вниз по лестнице.

Колн лежал на мостовой.

Он был мертв.

Взрывная волна.

— Глупан смерть! — сказал дндн Костя.

— А что, бывают умные? — зло бросил я.

А за нашим домом полыхало пламн, и в небо вилсн столб дыма, и кто-то кричал, и завывала «скоран помощь».

* * *

Колю похоронили только на девятые сутки. Хоронить тогда было очень трудно: давай хлеб, водку, мыло, соль.

Хоронили Колю в закрытом гробу. Он сильно разбилсн, да еще, говорили, в морге крысы попортили ему лицо.

Похоронили Колю на кладбище Введенские Горы, которое еще называется Немецким.

Всн наша дружина вместе с дядей Костей пришла на похороны и еще какие-то люди, которых я не знал. Отец Коли на фронте, а мама была.

И только Иры не было. Почему — не знаю.

* * *

Однажды на работе мне дали номер газеты «На боевом посту». Я еще не видел такой газеты. Под заголовком было напечатано: «Орган политотделов УМКМ, УПО г. Москвы и Московской области и парткомов УНКВД г. Москвы и Московской области». Значит, милиция и пожарнан охрана.

— Там про вас напечатано,— сказали мне.

Газета живописала дела нашей дружины, о Коле писала как о живом, а под заметкой были стихи:

ЗЕНИТЧИКАМ

В час, когда грохочет канонада
И прожектор, гладя небосвод,
Вместс с огнедышащим снарядом
Схватывает вражий самолет,
Мы, друзья, о вас не забываем
За станком, за партой, у стола.
Мы всегда и всюду ощущаем
Ваши благородные дела.

Сотни раз, срываясь облаками,
Поздней ночью и осенним днем
Враг летел над нашими домами
С грузом смерти под своим крылом.
И тогда в лесах и у опушек,
На просторных наших площадях
Поднимались жерла наших пушек,
Цель ища высоко в облаках.

За покой, нарушенный врагами,
И сирены заунывный вой,
За дома с разбитыми стенами,
За ребячью кровь на мостовой
Вы не раз с врагом сводили счеты,
Приводя свои зенитки в бой.
Сотни чернокрылых самолетов
Гибель находили под Москвой.

И сейчас, когда приходит вечер,
Мы спокойно смотрим в синеву,
Зная: вы всегда готовы к встрече,
Зорко стерегущие Москву.

Николай Лясковский, 16 лет, боец добровольной пожарной дружины при домоуправлении № 10.

А я и не знал, что Коля писал стихи.

Я отдал газету Ире.

* * *

Зима тянулась медленно, и, хотя на фронте дела шли удачно, у меня на душе из-за Иры было по-прежнему горько и неспокойно. С ней мы виделись ежедневно на дежурствах, но говорили мало и больше ни о чем. Какая-то ниточка уже давно оборвалась меж нами, а после гибели Коли это почувствовалось

особенно. Но вот наступил март, а за ним и апрель. Налеты на Москву стали чаще, но пришла и первая радость. Меня, кажется, брали в Красную Армию. Я, конечно, похвалился перед всеми на работе и в дружине, прежде всего перед Ирой. И она сказала:

— Хорошо.

Немного вроде задумалась, а потом спросила:

— А ты ничего не замечаешь?

— А что? — не понял я.

— У меня будет ребенок,— просто сказала Ира.

Я опешил.

— Как?

— А разве не заметно? — сказала она.

— Нет.

— А все замечают.

Наверно, это было глупо, но я молчал, не зная, что сказать, и панически боялся посмотреть на ее живот.

Потом спросил:

— А он кто?

— Кто «он»? — переспросила Ира.

— Ну, папа, что ли, как там? — промямлил я.

— Коля,— сказала Ира.

* * *

Когда я попал на фронт, мы переписывались с Ирой. Не часто, но довольно регулярно. В сорок четвертом и она ушла на фронт, так и не доучившись на зубного техника, но мы были далеко друг от друга и опять только переписывались.

А после войны мы поженились.

Наша старшая дочь ничего не знает о Коле.

И дома мы о нем не говорим.

Но часто, конечно, вспоминаем.

И каждый по-своему.

ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ

Мы залегли на автостраде Бреслау — Берлин. Ребята наши, по большей части выходцы из деревни, не видали таких шикарных дорог и откровенно завидовали: «Умеют, чертяки, строить».

В дни больших наступлений бывают глупые ситуации. Вот и сейчас была одна из таких. Части, которые до нас занимали оборону на автостраде, куда-то перебросили. Считали, видимо, что немцев поблизости нет. А они оказались. Выяснилось, что в противоположном леске расположилась крупная немецкая часть и будто она собирается выйти на автостраду.

Вот нам и приказали занять оборону вдоль автострады, рядом с мостом. Вояки мы не ахти какие — Отдельный разведывательный артдивизион — топографы, фотографы, звукометристы, но бывать в таких ситуациях уже приходилось. Только жаль, что осталось нас мало — из ста двадцати положенных не более шестидесяти. Да кто-то еще оставался в части — офицеры, повара, дежурные, шоферы. Так что на автостраде залегло человек около сорока.

Было тихо. Немцы не появлялись. Лишь за мостом подозрительно тарахтел мотоцикл. Звук этот не давал нам покоя.

Лес на другой стороне автострады был метрах в трехстах. Мы внимательно вглядывались в него — ничего.

Так прошел час и другой, по-весеннему припекало солнышко, и уже чуть-чуть зеленела трава, и стало даже жарко.

И мы расслабились. Хотя шум мотоцикла не давал покоя.

— Может, посмотреть? — спросил я у своего соседа Сережи Шарыгина.

— А что? Только надо у лейтенанта отпроситься.

Нами командовал лейтенант Бурков — командир нашей топографической батареи. Он лежал метрах в двадцати слева.

Я подбежал к нему:

— Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант...

И рассказал про тарахтящий мотоцикл за мостом.

— Я сам слышу,— сказал Бурков,— и сам думал. Валяйте, но осторожно.

— Да мы с Шарыгиным,— сказал я.

Мы с Сережей Шарыгиным не совсем по-пластунски, но все же пригибаясь к земле, нырнули на автостраду и потом под мост. И — о чудо! Почти рядом с мостом в кювете полулежал новенький мотоцикл с заведенным мотором. И рядом никого.

Признаюсь, до войны у меня и велосипеда не было, не только мотоцикла, а тут вот он: только бери, садись и кати.

— Попробовать? — спросил я у Сережи, боясь, что первым это сделать попытается он.

— А что? — сказал он.— Давай я помогу.

Мы приподняли мотоцикл и поставили его на бетонку.

Я залез на седло, и сразу же от прикосновения моих ног мотоцикл поехал.

— Ты куда? — только и успел крикнуть мне в спину Сережа, а я уже не мог остановиться и мчался по автостраде к следующему мосту.

Я чувствовал, что Шарыгин бежит за мной и что-то кричит, но, от восторга и страха одновременно, я ничего не слышал, а только сильнее сжимал руль мотоцикла.

Приближался мост. Вот он уже рядом, вот я под мостом — и вдруг впереди!.. Ничего не понимаю. Вся автострада разбита в шахматном порядке, и в каждом квадрате какие-то ящики.

«Противотанковые мины!» — мелькнуло у меня, когда я уже проскочил мимо двух ящиков, инстинктивно нырнул вправо еще между двумя и...

Когда я пришел в себя, то понял, что лежу в кювете, а мотоцикл, перескочив через меня, ударился в столб и заглох. Только колеса еще вертелись.

— Ты жив? — подскочил Сережа.

— Не знаю,— пробормотал я, стараясь подняться.

Поднялся.

— Ну и шишка у тебя на лбу! — сказал Шарыгин.

— Черт с ней, с шишкой! Хорошо, что...

— Да, кончилось, слава богу! А если б на мину! — хлопотал вокруг меня Сережа.— Пойдем отсюда скорей к ядреной бабушке. А то лейтенант...

Я и сам понимал, чем все это могло кончиться.

Но кончилось все, как ни странно, благополучно, и мне даже не пришлось лейтенанту рассказывать подробности.

— Сосунки! Беда с вами! — Лейтенант устало отвернулся.

Ну, сосунки так сосунки. Лейтенанту двадцать три, а нам по

восемнадцать-девятнадцать. Тоже мне старик! Но, впрочем, он хороший.

Вскоре принесли обед, после обеда стало клонить ко сну, а немцы все не появлялись.

Шел уже восьмой час, когда все вдруг и началось.

* * *

Поначалу немцы выходили из леса группами. Предвечерняя дымка размазывала их. Но чем ближе они подходили к автостраде, тем четче выстраивались в линейку. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни мотоциклов не было, и это вселяло в нас бóльшую уверенность.

— Глядеть в оба! — бросил лейтенант. — И ждать моей команды!

Почти у всех у нас к сорок пятому были трофейные немецкие автоматы. Свои неудобные карабины мы спрятали в машинах. Доставали их только при появлении большого начальства. По уставу нам автоматы не полагались, но местное начальство смотрело на это сквозь пальцы.

Немцы шли в полный рост. То ли не видели нас, то ли чувствовали себя слишком уверенно. Шли без шинелей, хотя на улице было не жарко, шли как-то солидно. Не какой-то фольксштурм.

Мы прижались к откосу автострады. Позиции у нас оказались отличными.

А немцы все ближе и ближе. Их уже можно пересчитать. Человек двести, не меньше. Впереди три офицера.

И тут прозвучала команда Буркова:

— Огонь!

Сам он привстал из укрытия и бросил вперед две гранаты. Немцы залегли. То ли были убиты, то ли из предосторожности. Нет, убитых, пожалуй, не видно. Они поползли.

Мы вели прицельный огонь, хотя патроны можно было не экономить. Чем-чем, а патронами мы запаслись.

И вдруг неожиданно наступила тишина.

Замолчали немцы, и мы перестали стрелять.

Минуты тянулись медленно, и прошло уже минут десять — пятнадцать, а вокруг по-прежнему было тихо.

— Сейчас вновь пойдут,— словно угадывая мысли противника, сказал лейтенант.

И действительно, через какие-то мгновения немцы вскочили и, стреляя, побежали в автостраде, прямо на нас. Их оказалось уже меньше, чем вначале, но было вполне достаточно.

Бурков вскочил на автостраду и выкрикнул:

— За мной! Вперед!

И мы рванули вперед.

* * *

Результаты боя оказались несколько странными. Всех немцев перебили, и только у меня оказался один живой пленный. Из наших ребят лишь троих ранило. Их перевязывали.

А все остальные толпились вокруг моего немца и без конца спрашивали:

— Как ты его? Как? Да расскажи толком.

А рассказывать было нечего. Я бежал, как все, и стрелял, как все. Какие-то немцы падали. Одного я свалил штыком карабина, который лежал в моей противогазной сумке. Сами противогазы мы, как и карабины, спрятали в машине. А потом появился этот немец. И неожиданно поднял руки и сказал «капут». Ну, я снял с него автомат. Вот и все.

Подошел Бурков, тоже поинтересовался.

— К награде представим,— пообещал он.

Потом Бурков остался с частью ребят у автострады. Раненых, еще человек десять и меня с немцем он отправил к своим.

— А что с этим делать? — спросил я комбата.

— Немца отведи к начштаба,— сказал Бурков.

Мы двинулись к своим.

— Ужин пусть пришлют! — крикнул нам кто-то вдогонку.

Да, есть очень хотелось. Время подходило к девяти.

Я нашел начальника штаба майора Веселова и доложил ему про немца.

Начальник штаба посмотрел на пленного:

— Хорош гусь! Холеный!

Только тут я толком всмотрелся в своего немца. Правда, холеный. Даже пальцы на руках отманикюрены. И ростом чуть выше меня. В общем, фриц что надо! Переодень, и за офицера может сойти.

— Только мне он ни к чему,— сказал майор.— Я немецкого не знаю, допрашивать некому, был Самохин, да и того нет теперь.

Мы же все немецкий знали на уровне «хенде хох».

Костя Самохин — единственный человек в нашем дивизионе, хорошо знавший немецкий язык, погиб при форсировании Одера.

— А что же мне с ним делать, товарищ майор? — спросил я.

— Отведи к замполиту,— посоветовал Весёлов и шутя добавил: — Ему все равно делать нечего.

Замполита капитана Стрелько я знал давно, еще со школы в Глухове, под Ногинском, и он ко мне хорошо относился. Поручал делать в свободное время разную наглядную агитацию. Выпускал

«боевые листки». Как-то Стрелько пришла в голову мысль разрисовать наши машины лозунгами. Я напридумывал: «Русские прусских не раз бивали, русские дважды в Берлине бывали», «Как сказал товарищ Сталин, бейте фрица непрестанно», «До победы шаг один, будь настроен на Берлин», «Победу в тяжком куй бою, вперед за Родину свою!», «Нас послала мать-Отчизна, бей основы гитлеризма». Стрелько очень понравились эти лозунги, и он приказал написать их на бортах машин. У нас было как раз пять машин. Все лозунги и сгодились. А однажды ему пришла в голову мысль создать своеобразный гимн нашего ОРАДа, и Стрелько поручил мне написать стихи для гимна и подогнать под него какую-нибудь мелодию.

Я сочинил:

Посмотри на фронт, товарищ!
Сколько ты увидишь бед,
Новых вспыхнувших пожарищ
И врага кровавый след.

Припев: Ты рад, солдат,
Попав в ОРАД?
Я очень рад:
ОРАД мне брат.

Перепаханные нивы
И разбитый милый дом,
Труп ребенка возле ивы
Над дымящимся прудом.

Припев: Ты рад, солдат,
Попав в ОРАД?
Я очень рад:
ОРАД мне брат.

Немец всюду петли вяжет,
Немец хочет всех убить.
Сердце, ум тебе подскажет,
Как сейчас ты должен жить.

Припев: Ты рад, солдат,
Попав в ОРАД?
Я очень рад:
ОРАД мне брат.

Мелодии подходящей не нашлось, и пришлось придумать свою — мажорную, бодрую, строевую. Правда, нашли спачала одну немецкую на пластинке, но Костя Самохин (он тогда еще был жив) сказал, что это фашистский марш Хорста Весселя.

— Жалко, что про товарища Сталина у тебя не получилось,— заметил замполит.

— Не зарифмовалось,— признался я.

— Ну ничего! Зато про ОРАД хорошо,— сказал капитан.

Песня прижилась. Правда, пели мы ее редко: все бои да бои. Но иногда пели. Перед отбоем.

Капитан Стрелько встретил меня ласково и с ходу сказал:

— Слышал! Слышал! А ну-ка давай своего немца. А кто тебе синяк посадил? Он?

— Я сам.

Мы зашли с пленным немцем к капитану в комнату, и Стрелько усадил нас.

— Что делать будем,— проговорил он,— никто не балакает у нас по-немецки. Был Самохин, да сплыл. Ума не приложу!

Он покачал головой, словно пытаясь приложить ее.

Потом обратился к немцу:

— И ты, приятель, по-русски ни бум-бум?

— Них ферштейн,— сказал немец.

— Да, понимаю, понимаю,— с горечью кивнул капитан.— Что с тебя взять! Не учил вас дурак Гитлер русскому, а надо бы! Сейчас сам бы радовался.

Немец молчал, опустив голову.

— Ну ладно, давай спать,— сказал замполит,— а немца твоего мы сейчас пристроим.

Мы подошли к машине фотовзвода, туда же подбежал старший сержант Лямин (у него в подчинении было всего два красноармейца), и мы запихнули фрица в машину и заперли его.

— Смотри, за фрица отвечаешь головой,— сказал капитан Лямину и отдал ему ключи.

Наутро меня вызвал к себе командир дивизиона майор Третьяков. Привели к нему и немца.

Все повторилось.

— Жаль, нет Самохина,— сказал комдив.

И про синяк.

Потом майор достал карту, подозвал меня к столу:

— Отведешь пленного в штаб арткорпуса.

— Десятого?

— Да, десятого, которому мы приданы. Смотри на карту. Это километров около двадцати. Выдержишь?

— Конечно,— бодро сказал я, а сам уставился в карту.

Отлично! Как раз по пути зайду в медсанбат к Вале. Уже две недели не виделись. И хотя ходят всякие слухи, что у Вали появился какой-то старший лейтенант, черт с ним. Правда, немца куда там деть? Да как-нибудь.

У меня с Валей был роман, и давний — с Москвы, с сорок первого.

Мы познакомились с ней в очереди, в распределителе на Сретенке, где отоваривали карточки. Это было девятнадцатого сентября. А потом пошло и пошло. В октябре Валя ушла медсестрой на фронт, а через неделю и я. С самого Сталинграда мы почти не разлучались. Ее медсанбат все время оказывался где-то рядом, и я не раз отпрашивался к Вале на ночь. А в январе меня прихватила тропическая малярия (на фронте, зимой — тропическая малярия!), и я загремел в Валин медсанбат — аж на полтора месяца. Выписался только две недели назад. Уж за эти полтора месяца чего у нас с ней только не было!

— Да, еды не забудьте с собой взять,— сказал майор и приказал своему ординарцу: — Володя, распорядись!

Ординарца иметь майору было не положено. Володя, освобожденный от всех видов службы, выполнял у нас в батарее должность писаря-каптенармуса (она была не нужна), был комсорг ОРАДа, экспедитором (почтальоном), ординарцем у Третьякова и Стрелько да еще завскладом, поскольку бывший зав проворовался и его отправили в штрафбат.

С помощью Володи я получил две буханки хлеба, две банки американской тушенки, три пачки горохового концентрата, соль и махорку. Целое состояние!

— Теперь мы с тобой, фриц, не пропадем,— сказал я своему немцу, пряча продукты в вещевой мешок.

— Найн Фриц, Ганс, Ганс,— словно понял меня немец.

— Ну, Ганс так Ганс,— согласился я.— Потопали!

Мы вышли из расположения дивизиона и направились сначала по автостраде, как было указано на карте. Немец шел впереди, и у меня мелькнула почему-то мысль, что надо было прихватить веревку и связать ему руки. Но, увы, я забыл. Возвращаться же за веревкой было глупо, да и плохая это примета — возвращаться.

У меня не было часов, как и у большинства красноармейцев, и я вспомнил совет Володи:

— Часы-то с него сними!

Мы прошли уже с пяток километров, я остановил Ганса и снял с него часы. Посмотрел: вроде ничего, не штамповка.

Ганс отдал часы просто и даже помог закрепить их на моей руке.

— Данке шейн,— сказал я, вспомнив немецкую фразу со школьной поры.

Немец молчал, а я клял себя, что так несерьезно относился к немецкому в школе. Помнил только какую-то дурацкую песенку «Айн мейлен штейт им вальде...», которая сейчас была ни к чему. А знал бы побольше, можно было поговорить: кто он, что, откуда родом, семья какая.

Вспомнилось еще слово «киндер», и я спросил:

— А киндер у тебя есть?

Немец сначала не понял, но, когда я повторил вопрос, закивал головой:

— Найн киндер, найн!

Сообразительный, подумал я.

А то, что он киндером не обзавелся,— понятно. Лет ему на вид — не больше двадцати. Может, студент какой или просто парень из богатой семьи, которого подмела война. Немцы теперь всех прибирают к службе, а в фольксштурм стариков и детей лет по пятнадцати.

Я снова стал мучительно вспоминать немецкие слова. И наконец вспомнил еще два — «муттер» и «фатер».

— А муттер и фатер у тебя есть?

— Муттер я. Фатер бух-бух. Сталинград,— ответил Ганс.

— Понятно. Вот это понятно,— обрадовался я и вдруг вспомнил еще три слова: Дойч Сталинград зер шлехт.

— Майн готт! Майн готт! — произнес Ганс и добавил: — Дойчен зольдатен, дойчен официрен Сталинград капут.

— Все у вас капут, как в плен попадаете,— со злостью сказал я.— А там из леса смотри как перли.

Мы прошли уже километров пять и строго по карте свернули с автострады влево. Как раз впереди километрах в семи должен быть Валин медсанбат. Дорогу туда я знал хорошо, поскольку две недели назад возвращался из медсанбата в свою часть пешком.

Тут я вспомнил, что мой немец, наверное, голоден. Сам-то я поел, а немца вряд ли покормили.

Пришло на память еще одно слово — «брот», я остановил Ганса и показал ему, чтобы тот сел.

Разводить костер и варить концентрат не хотелось, и я достал из вещмешка хлеб, банку тушенки, а из противогазной сумки штык. Штык на всякий случай протер после вчерашнего (ведь пырнул кого-то!) подолом шинели.

Нарезал хлеб, открыл штыком банку, положил половину содержимого на хлеб и протянул немцу.

У него жадно горели глаза, и он бесконечно заискивающе бормотал:

— Данке! Данке шейн!

Но тут же я заметил, что Ганс подозрительно часто поглядывает по сторонам, и я опять пожалел, что не захватил с собой веревки.

Поест, успокоил я себя, сниму ремень, завяжу ему на всякий случай руки сзади.

Мы сидели у самой дороги, и вдруг по ней пронеслись мотоциклисты, а за ними бронетранспортер. Люк бронетранспортера

неожиданно открылся, и из него появился маршал Конев — командующий нашим Первым Украинским фронтом.

Он подозвал меня к себе, я поднял жующего немца, и мы вместе с ним подошли к бронетранспортеру.

— Где ремень? — первым делом спросил маршал.

Я объяснил, что специально снял ремень, чтобы перевязать руки пленному.

— А почему не бриты? — спросил маршал.

Я только сейчас сообразил, что забыл второпях утром побриться, а вчера тоже не пришлось — весь день провели возле автострады.

— Передайте своему командиру: пять суток ареста,— бросил маршал и закрыл над собой люк. Командная кавалькада тронулась, за бронетранспортером тоже оказались мотоциклисты.

— Сволочь ты! — сказал я Гансу.— И на кой лях ты достался мне! Одни с тобой неприятности!

Немец молчал, дожевывая хлеб с жирной тушенкой. Потом я связал ему руки за спиной, и мы двинулись дальше.

Прошли еще километров десять — двенадцать, а конца пути не видно. Встречались изредка солдаты и офицеры, но, где находилось «хозяйство Семенова», никто не знал. Я не раз смотрел на карту, но по ней получалось, что и до Найдорфа, где был медсанбат, нам еще топать да топать. Немец мой шел ходко, а я порядком устал. После тропической малярии мне таких длинных маршей совершать еще не приходилось.

Солнце припекало. На взгорках и полянках зеленела трава. В лесах и перелесках, а мы старались заходить в них реже, дурманяще пахло прелой листвой и весенней теплой сыростью.

Я старался представить дом Ганса. Мы бывали уже во многих немецких домах. И почти все они поражали нас своей какой-то неуютной чистотой и аккуратностью. Даже на кухнях все расставлено по полочкам, разложено по баночкам с надписями, и в подвалах порядок идеальный — рядами банки-склянки со всякими компотами и консервированными овощами. А уж фотографироваться немцы любили! В каждом доме куча альбомов: дедушки, бабушки, мамы, папы в детстве, сами дети отдельно и с родителями, в комнате и на улице, на фоне дома и на фоне автомобиля. Правда, часто рядом с этими альбомами лежали и другие — неприличные, с разными способами любви. Говорили, что немцы приучают к этим делам своих детей с малолетства.

Цивильных немцев мы почти не встречали. Все бежали. Оставались лишь брошенные немощные старухи да выжившие из ума старики, бодро выкрикивающие: «Капут! Аллес капут!»

Я расстегнул шинель, на солнце жарковато, посмотрел на часы: скоро три. Пожалуй, можно подкрепиться.

Мы миновали полусырую ложбинку с остатками снега и вышли на сухую поляну возле разбитого мостика. Здесь было тихо и тепло.

— Сидайн! — приказал я немцу каким-то странным, неожиданно пришедшим на язык словом, но он понял меня. Остановился и присел, почему-то по-восточному поджав ноги. Только тут я посмотрел на его хромовые сапоги, новые, и в голове мелькнуло: «Не махнуть ли их на мои ботинки с обмотками?»

Но решил: не буду мараться.

Из сидора я достал хлеб, початую банку тушенки и кусок желтого сала.

— Битте! — сказал я немцу.

Немец ответил:

— Данке шейн.

И мы стали есть.

— С чаем возиться не будем,— обратился я к немцу по-свойски.— Хлопотно. Вот дойдем до медсанбата, там...

Но Ганс, конечно, ничего не понял. Опять мне почему-то представился его аккуратный дом под черепицей, его муттер.

А почему вспомнился сейчас?

Да, я же старался представить себе дом Ганса...

А Ганс молча уплетал хлеб с салом, и его холеные щеки еще больше лоснились.

* * *

В Найдорф мы пришли только к вечеру, когда уже смеркалось. Судя по всему, кроме медсанбата, других частей здесь не было, и все же я очень долго искал Валю.

Наконец нашел на кухне.

— Ты? — воскликнула она.— Живой? А я уж чего только не передумала.

— И не один,— сказал я.

— А это кто?

— Да вот, веду пленного в штаб корпуса,— объяснил я.

— Мы сейчас от него избавимся,— пообещала Валя.— Подожди!

И куда-то убежала.

Она была все такая же. Крошечная и взъерошенная, словно воробей. И ресницы большие. И веснушки на лбу. И глаза, которые поразили еще там, в Москве, на Сретенке. Не голубые и не серые, а словно какие-то морские, глубокие.

Валя вскоре вернулась:

— Пойдем!

Возле какого-то полупогреба с большим амбарным замком стоял пожилой, лет за сорок, солдат с большими прокуренными усами. На плече у него была винтовка, а во рту огромная самокрутка.

— Вот тебе фриц, Кирилл Мефодьевич! Прячь его под замок, и чтоб сидел там до утра.

— Есть, Валентина Никаноровна,— весело отозвался часовой и полез за ключами.

Немца сунули в погреб, и часовой запер замок.

— Теперь твой фриц не пропадет,— сказала Валя.

— Он Ганс, а не Фриц,— пояснил я.

— Бог с ним, кто он,— сказала Валя.— А теперь ко мне. Девчонок я на вечер выставила, а ночевать с тобой мы будем на сеновале. Тут прекрасный сеновал!

В уютной, на три койки, квартирке Валя накрыла на стол, даже спирт достала и вдруг спросила:

— А ванну принять не хочешь? Я мигом!

— А что? Пожалуй! — сказал я.— Как от вас ушел, так и не мылся.

— Прекрасно! И я с тобой! — сказала Валя.

— Ты?

— А что ж тут такого? Я все равно сегодня собиралась. А голенького тебя я сколько раз видела? Не сосчитать!

Водопровод, конечно, не работал, и Валя натаскала в ванну воды — горячей и холодной. Налила почти до края. И еще два ведра запасных принесла.

— Ну, кто первый? Все стесняешься?

Я молчал.

— Давай я,— сказала она и быстро скинула сапоги, гимнастерку и юбку и еще что-то и почти нагишом, только в трусиках, нырнула в ванну.

Я раздевался медленно, не веря в свое счастье. Долго разматывал чертовы обмотки, укладывал полусырые портянки. Я слышал, что Валя уже полощется в воде, и мне все это казалось каким-то чудом. И этот немецкий дом в Найдорфе, и Валя, которая вся моя, и то, что мы будем сейчас мыться вместе. Я еще никогда не мылся с женщиной, даже с такой близкой, как Валя. Но делать нечего, я окончательно разделся и влез в ванну.

— Привет! — сказала Валя.— А ты чуток похудел после нас.

А мне безумно хотелось Валю.

— Потерпи до ночи! — говорила она.— Ведь скоро уже. Заберемся на сеновал, и вся ночь наша!

— Не могу, Валюш! — признался я.

Она разрешила.

А потом мы ели, и пили спирт и чай, и разговаривали, разморенные и усталые. И Валя сидела с распущенными мокрыми волосами и была такой прекрасной, как никогда.

— Очень плохо нам, девчонкам, на фронте,— говорила она.— Мужики лезут, проходу не дают. Иная и влюбится, выберет одного, а он сегодня жив, а завтра...

Я долго собирался, но все же решился:

— А как старший лейтенант?

Она вроде задумалась.

— Нет никакого,— сказала.

— Убили?

— Почему убили? Просто отставку дала. У нас ничего и не было.

Меня уже чуть развезло после трех (или уже пяти?) полстаканов, а Валю, казалось, хмель не брал.

— Ну, а к тебе-то пристают? — спросил я.

— Не без этого.

— И как ты?

— Говорю: у меня солдат есть, мне офицеров не надо. Это я про тебя. Хотя знаю: замуж ты меня все равно не возьмешь...

— Почему? Откуда ты взяла? — возмутился я.

— Стара для тебя. И вообще ты очень чистый, а я баба дрянь... Вот оно что!

Язык у меня начал заплетаться.

— Почему стара? Три года каких-то! И почему «дрянь»? Что ты наговариваешь на себя?

— Нет, я правда очень люблю тебя. И потому говорю правду. Ведь ты у меня второй в жизни.

— Второй?

— Второй.

— А первый кто?

— Первого еще в начале сорок второго убили. Я тебе с ним изменяла. Плохо это, знаю, но изменяла. И если бы не убили, может, и сейчас...

Она замолчала. И я молчал.

Валя крутила в руках полупустой стакан, будто гадала, заглядывая на донышко.

— А кто он был? — спросил я. Мне не давал покоя этот, теперь уже не существующий соперник.

— О, это был большой и старый человек.

— А все-таки?

— Генерал... Генерал-полковник... Командующий армией...

— Но ты же девочка!

— Может, потому и влюбилась, что девочка. Если бы он дожил

до конца войны, я знаю, он все равно бы меня бросил. У него семья, дети, наверное уже и внуки, а что я?

— Я тебя люблю и никогда не брошу,— почему-то сказал я.

* * *

Прежде чем пойти на сеновал, мы расстались на минуту. Валя пошла навестить своих раненых («У меня двое тяжелых. А сегодня четвертый день после операции. Самый трудный»), а я — немца.

У погреба стоял уже другой часовой, но он встретил меня как давнего знакомого. Видно, его предупредили.

Открыл замок, посветил фонариком.

Немец приоткрыл глаза. Он сидел сжавшись возле каких-то коробок.

— Не замерзнет он тут у вас? — спросил я.

— Да нет, туточки и не холодно совсем, как на дворе. Мы туточки лекарства всякие храним да продукты.

— Смотри, чтоб он тут у вас не объелся.

— Да нет, он тихонький вроде. Не шебуршит. Я бы услышал.

Валя ждала меня уже возле сеновала.

— Как твои тяжелые?

— Живы. Бог даст, пронесет. Правда, еще седьмой день бывает трудный.

Сеновал был огромный, и запах сена в нем еще не выветрился — вкусно пахло летом.

Мы забрались с Валей под самую крышу, и я прижал ее к себе:

— Разденемся?

— Ага.

Мы долго не спали.

— Вот таким я тебя люблю, как сейчас,— говорила Валя.

— А каким не любишь?

— Как там в доме, в ванне.

— Почему?

— Набросился, как голодный, и даже радости никакой.

— А сейчас?

— А сейчас — да!

— Я тебя никому не отдам! — клялся я.

— А утром все равно уйдешь...

— Война теперь уже скоро кончится. До Берлина-то пустяки...

— Эти пустяки еще столькими смертями обернутся.

— Зачем ты о плохом?

— Не буду! Не буду!

* * *

Утром Валя накормила нас с немцем («Тоже человек!» — сказала), и мы отправились в путь. Когда вышли, снова вспомнил про веревку, можно было попросить Валю, но ничего не поделаешь: пришлось снять ремень и затянуть Гансу за спиной руки.

С час шли хорошо, но вдруг Ганс стал останавливаться, кривить лицо, что-то изображать глазами. Я никак не понимал.

Прошли с полкилометра, и Ганс совсем остановился. Кажется, и сообразил:

— Оправиться захотел? Давай! Давай!

Я развязал ему руки, и Ганс тут же стянул штаны, сел.

— Скотина! — вырвалось у меня.— Отойти не мог. А еще интеллигент.

Правда, об интеллигентности Ганса я мог только догадываться. Ну, студент! Это уже кое-что. У меня семь классов. Неполное среднее.

Между тем пленный справил свои дела, подтянул штаны, я связал ему руки, и мы тронулись.

Если раньше нам еще попадались какие-то люди, военные, то сейчас наступило полное безлюдье. Стояла тишина, и ни души вокруг. Я смотрел на карту, вроде идем правильно, но до «хозяйства Семенова» все оставалось десять — двенадцать километров.

Я уже стал подумывать, хорошо бы мне встретилась любая воинская часть, спихнул бы я этого Ганса под расписку, и дело с концом. Почему, в конце концов, десятый арткорпус? А если он перебазировался куда! Немец осточертел мне. Был бы человек, поговорили о том о сем, а с этим и словом не перемолвишься. Вспомнил еще одно немецкое слово, «кляйн» — «маленький», но про «кляйн» что ему скажешь. Ни к чему сейчас это слово.

Стал думать о Вале, и на душе полегчало. Почему только, она говорит, что «дрянь баба»? Что стоит за этим? А ведь что-то стоит. Но ничего, скоро все кончится, мы снова встретимся, и тогда...

Впереди была небольшая дубовая роща. Я еще подумал — «обойти, не обойти», но дорожка шла через рощу, и мы углубились в нее. Немец мой шел вроде спокойно, хотя и рыскал изредка глазами по сторонам.

Где-то пели невидимые птицы. Солнце упруго пробивалось сквозь голые ветви. На некоторых деревьях уже набухали почки.

«Глубокий тыл»,— подумал я.

— Гут,— улыбчиво сказал немец. Видно, и на него подействовало наступление весны.

— Гут, гут,— повторил я.

Как-то забылась долгая и, в общем, бессмысленная дорога, и на душе стало хорошо. А когда мы вышли из рощи, я от радости глазам своим не поверил.

По шоссе тянулась колонна — газик, а за ним пять или шесть подвод.

— Я подтолкнул вперед Ганса:

— Шнель! Бегом!

Мы побежали и скоро уже оказались возле шоссе.

— Братцы! Кто у вас старшой? — кричал я.

— А тебе што? — спросил один из возниц.— Откуда ты сорвался, да еще с фрицем?

— Кто старшой у вас? — злясь, повторил я.

— Старшой — младший лейтенант, он в машине,— объяснил возница.

Я опять подтолкнул Ганса и бегом к машине.

— Товарищ младший лейтенант! Товарищ младший лейтенант!

Машина остановилась, и из нее вывалился грузный пожилой младший лейтенант.

— Чего тебе?

— Товарищ младший лейтенант,— начал я.— Пожалуйста, возьмите у меня этого пленного. Понимаете ли...

— На кой лях он мне сдался! — не дослушал меня младший лейтенант.— И куда я его повезу? Нет уж, ты веди его куда положено.

— Да далеко,— признался я.— Мы уже вторые сутки...

— Не знаю, какие сутки у вас, а мы вот вторые сутки свой полк догнать не можем. Будь здоров! — И он полез в кабину.— Поехали! — приказал шоферу.

Я с моим Гансом остался ни с чем.

— Давай посидим,— сказал я ему и первым присел у дороги.

Немец сел тоже.

— Если б ты знал, как ты мне опостылел! — в сердцах сказал я.— Гнида ты несчастная, а не человек! Свалился на мою шею!

Посидели, помолчали, потом пошли дальше.

Километра через три показалось небольшое селение. Деревня не деревня, больше похожа на хутор. Ни наших военных, ни цивильных в селении не было.

Я посмотрел на карту — нет такого.

И вообще карты здорово врали, особенно когда мы попали в Польшу, а потом в Германию.

Дома были целы, но никаких признаков жизни.

Тут я то ли загляделся на пустое селение, то ли упустил что-то, но случилось непоправимое.

Я и опомниться не успел, как Ганс сбросил с рук ремень, схватил меня за грудки и начал бить головой о столб.

Когда я чуть пришел в себя и поднялся, немца уже не было.

Я бросился в одну сторону, в другую — нет. Хорошо хоть, автомат мой не забрал. Я выпустил очередь вправо и влево, наугад, но все было бесполезно. Я почувствовал, как у меня разламывается голова. Тронул затылок — кровь.

Я вернулся к месту происшествия, подпял шапку и ремень и, совершенно обессиленный, опустился на землю.

Что было делать?

* * *

— А может, все-таки сказать, что при попытке к бегству?

Валя утешала меня как могла. И голову перевязала. И умыла. И поила спиртом.

— Кто поверит? — отвечал я сам же себе.— Болтался с этим немцем двое суток, и вдруг при попытке к бегству?

Наступил вечер, и мне предстояло опять остаться ночевать у Вали. Только сегодня, как назло, у нее было ночное дежурство.

— Я к тебе буду забегать,— обещала она.

Одно к одному. И тут не повезло.

Но дежурство у нее оказалось спокойное, и мы, по существу, полночи провели вместе.

— Скажи, Валя, почему ты сказала, что «дрянь баба»?

— Так и есть,— говорила она.

— А все же!

— Не надо об этом! — попросила она.— Лучше обними меня покрепче!

Потом она убегала на полчаса и вновь возвращалась, а мне все было ее мало.

* * *

К двадцатому апреля мы уже прошли Госту, Першен, Дрешниц и Шефенберг. Где-то впереди Шпрее. Дороги забиты техникой и войсками. Много пленных. Они идут в тыл сами во главе с офицерами.

История с моим сбежавшим немцем забылась, хотя на первых порах было худо. И издевки, и смешки, и откровенный нагоняй от майора Третьякова. Хорошо, что он как-то пропустил мимо

ушей мой доклад о пяти сутках ареста, полученных от маршала Конева.

В местечке Грос-Мессау на нас налетели немецкие «мессеры», дали несколько пулеметных очередей, но все обошлось благополучно.

Мы остановились в доме немца, у которого было двое русских рабочих: молодая женщина с ребенком из Брянска и средних лет мужчина из Киева. Только они начали рассказывать о своем житье-бытье, как прозвучала команда:

— Привести себя в порядок и через двадцать минут строиться. Не забыть взять карабины.

Через двадцать минут нас выстроили, и незнакомый полковник из штаба корпуса начал вручать награды.

Получил и я медаль за своего сбежавшего Ганса.

— А теперь вперед на Котбус! — закончил подполковник.

Про Котбус ходили всякие слухи. Говорили, что там находится штаб-квартира Власова, офицерское и унтер-офицерское училища. Говорили, что немцы оставили город на власовцев.

Мы, не успев сменить карабины на автоматы, двинулись к городу. По нему уже била наша артиллерия. Котбус горел.

От Грос-Мессау до Котбуса километров десять, которые мы преодолели за полтора часа.

Когда мы оказались на улицах города, там шли бои. Наши вытряхивали из развалин и подвалов немцев и власовцев.

Власовская форма отличалась от немецкой и внешне, и специальным знаком РОА — Русская освободительная армия.

В моем карабине оставался последний патрон, и я только подумал, чтоб перезарядить карабин, когда в предвечерней мгле и вспышках пожара из-за какой-то подворотни на меня выскочил очумелый власовец. Не успел я вскинуть карабин, как он выпустил в меня автоматную очередь. Правую руку обожгло, и я чуть не выронил карабин. А власовец вдруг остановился, тупо посмотрел на меня и, бросив к ногам автомат, поднял руки.

— Братец,— пробормотал он,— не стреляй, братец!

— Сволочь ты, а не братец,— я нажал спусковой крючок.

Он вскинул руки и грохнулся затылком наземь.

Я мельком взглянул на него и пошел искать медицину. Индивидуального пакета у меня не оказалось, весь рукав уже был в крови.

* * *

Так двадцать первого апреля и кончилась для меня война. Лежал я в знакомом медсанбате, и вокруг меня хлопотала Валя, а медсанбат медленно продвигался вперед, вслед за наступающими частями.

Я лежал и вспоминал всех немцев, которых знал живыми и мертвыми. Их было не так уж много за четыре года войны — семь. Но лица их я хорошо помнил. Помнил и упущенного Ганса, на которого у меня уже давно не было злости. Наоборот: «ловкий мужик, перехитрил меня»,— думал я. И только физиономии власовца никак не мог вспомнить, хотя была, она вроде колоритная. Никак не вспоминалась.

СОДЕРЖАНИЕ

Баруздин С. А.

Б24 Само собой: Повести.— М.: Сов. Россия, 1985.— 304 с., 1 л. порт.— (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького).

Книге С. Баруздина присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького 1983 года.

В книгу входят семь повестей, действие которых охватывает более сорока лет — с 30-х годов до наших дней.

Трудные испытания выпадают на долю героев книги. В годы войны и в мирное время проявляются лучшие черты их характера: нравственное превосходство над врагом, пламенный патриотизм, верность идее.

Б $\frac{4702010200-158}{М\text{-}105(03)85}$ инф.—85 Р2

Сергей Алексеевич Баруздин

САМО СОБОЙ

Редактор **Н. И. Нетесина**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технические редакторы **Н. И. Капитонова** и **Т. С. Маринина**
Корректор **З. И. Шехмейстер**

ИБ № 4168
Сдано в набор 14.06.84. Подп. в печать 15.01.85. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага на текст типографская № 1, на вкл.— мелованн. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 16,07 (в т. ч. вкл.— 0,11). Усл. кр.-отт. 16,07. Уч.-изд. л. 19,14 (в т. ч. вкл.—0,02). Тираж 100 000 экз. Заказ № 1254.
Цена 1 р. 50 к. Изд. инд. ЛХ-436.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь, Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.